

Александр Михайлович Покровский

«...Расстрелять»

ОФИЦЕРА МОЖНО

Офицера можно

Офицера можно лишиться очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он лучше служил.

Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок – лучше на неопределённый, – чтоб он всё время чувствовал.

Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы; или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает, – и всё это для того, чтобы он ощутил, чтоб он понял, чтоб дошло до него, что не всё так просто.

Можно запретить ему сход на берег, если, конечно, это корабельный офицер, или объявить ему лично оргпериод, чтоб он организовался; или спускать его такими порциями, чтоб понял он, наконец, что ему нужно лучше себя вести в повседневной жизни.

А можно отослать его в командировку или туда, где ему будут меньше платить, где он лишится северных надбавок; а ещё ему можно продлить на второй срок службу в плавсоставе или продлить её ему на третий срок, или на четвёртый; или можно всё время отправлять его в море, на полигон, на боевое дежурство, в тартарары – или ещё куда-нибудь, а квартиру ему не давать, – и жена его, в конце концов, уедет из гарнизона, потому что кто же ей продлит разрешение на въезд – муж-то очень далеко.

Или можно дать ему квартиру – «Берите, видите, как о вас заботятся», – но не сразу, а лет через пять – восемь, пятнадцать – восемнадцать, – пусть немного ещё послужит, проявит себя.

А ещё можно объявить ему, мерзавцу, взыскание – выговор, или строгий выговор, или там «предупреждение о неполном служебном соответствии» – объявить и посмотреть, как он реагирует. Можно сделать так, что он никуда не переведётся после своих десяти «безупречных лет» и будет вечно гнить, сдавая «на допуск к самостоятельному управлению».

Можно контролировать каждый его шаг: и на корабле, и в быту; можно устраивать ему внезапные «проверки» какого-нибудь «наличия» – или комиссии, учения, предъявления, тревоги.

Можно не дать ему какую-нибудь «характеристику» или «рекомендации» – или дать, но такую, что он очень долго будет отплеиваться.

Можно лишиться его премии, «четырнадцатого оклада» полностью или частично.

Можно не отпускать его в отпуск – или отпустить, но тогда, когда никто

из нормальных в отпуск не ходит, или отпустить его по всем приказам, а отпускной билет его у него же за что-нибудь отобрать и положить его в сейф, а самому уехать куда-нибудь на неделю – пусть побегает.

Или заставить его во время отпуска ходить на службу и проверять его там ежедневно и докладывать о нём ежечасно.

И в конце-то концов, можно посадить его, сукина сына, на цепь! То есть я хотел сказать, на гауптвахту – и с неё отпускать только в море! только в море!

Или можно уволить его в запас, когда он этого не хочет, или, наоборот, не увольнять его, когда он сам того всеми силами души желает, пусть понервничает, пусть у него пена изо рта пойдёт.

Или можно нарезать ему пенсию меньше той, на которую он рассчитывал, или рассчитать ему при увольнении неправильно выслугу лет – пусть пострадает; или рассчитать его за день до полного месяца или до полного года, чтоб ему на полную выслугу не хватило одного дня.

И вообще, с офицером можно сделать столько! Столько с ним можно сделать! Столько с ним можно совершить! Что грудь моя от восторга переполняется, и от этого восторга я просто немею.

На флоте **любое начинание** всегда делится на четыре стадии:

первая – **запугивание**;

вторая – **запутывание**;

третья – **наказание невиновных**;

четвёртая – **награждение неучаствовавших**.

– Что вы видели на флоте?

– Грудь четвёртого человека.

– И чем вы всё время занимались?

– Устранял замечания.

Атомник Иванов

Умер офицер, подводник и атомник Иванов. Да и чёрт бы, как говорится, с ним, сдали бы по рублю и забыли, тем более что родственников и особой мебели у него не обнаружилось, и с женой, пожелавшей ему умереть вдоль забора, он давно разошёлся. Но умер он, во-первых, не оставив посмертной записки, мол, я – умер, вините этих, и, во-вторых, он умер накануне своей пятнадцатой автономки. Так бы он лежал бы и лежал и никому не был бы нужен, а тут подождали для приличия сутки и доложили по команде.

Вот тут-то всё и началось. В квартиру к нему постоянно кто-то стучал, а остальной экипаж в свой трёхдневный отдых искал его по сопкам и подвалам. Приятелей его расспросили – может, он застрял у какой-нибудь бабы. В общем, поискали, поискали, не нашли, выставили у его дверей постоянный пост и успокоились. И никому не приходило в голову, что он лежит в своей собственной квартире и давно не дышит.

Наклеывалось дезертирство, и политотдел затребовал на него характеристики; экипажная жизнь снова оживилась. В запарке характеристики ему дали как уголовнику; отметили в них, что он давно уже не отличник боевой и политической подготовки, что к изучению

идейно-теоретического наследия относится отвратительно, а к последним текущим документам настолько прохладен, что вряд ли имеет хоть какой-нибудь конспект.

Долго думали, писать, что «политику он понимает правильно» и «делу» предан, или не писать, потом решили, что не стоит.

В копию его служебной карточки, для полноты его общественной физиономии, вписали пять снятых и двадцать неснятых дисциплинарных взысканий; срочно слепили две копии суда чести офицерского состава, а заместитель командира, заметив, что у него ещё есть в графе место, пропустил его по всем планам политико-воспитательной работы как участника бесед о правовом воспитании воина.

Сдали все собранные документы в отдел кадров и, срочно прикомандировав вместо него какого-то беднягу прямо из патруля, ушли, от всей души пожелав ему угодить в тюрьму.

Отдел кадров, перепроверив оставленные документы, установил, что последняя аттестация у него положительная.

Аттестацию переделали. Сделали такую, из которой было видно, что он, конечно, может быть подводником, не без этого, но всё-таки лучше уволить его в запас за дискредитацию высокого офицерского звания.

Прошло какое-то время, и кому-то пришло в голову вскрыть его квартиру. Вскрыли и обнаружили бранные останки атомника Иванова – вот он, родной.

Флагманскому врачу работы прибавилось. Нужно было оформить кучу бумаг, а тут ещё вскрытие показало, что на момент смерти он был совершенно здоров. В общем, списать умершего труднее, чем получить живого.

Медкнижку его так и не нашли, она хранилась на корабле и ушла с кораблем в автономку. Сдуру бросились её восстанавливать по записям в журналах, но так как журналы тоже не все отыскались, то все опомнились и решили, что обойдётся и так.

Флагманский врач пристегнул к этому делу двух молодых подающих большие надежды врачей, а сам в тот день, когда пристегнул, вздохнул с облегчением.

С помощью нашей удалой милиции удалось даже отыскать какую-то его двоюродную тётку Марию, которая жила, как выяснилось, в самой середине нашей необъятной карты, в селе Малые Махаловки.

– Только сейчас приехать не могу, – сразу же зателеграфировала тётка, – я одна, старая уже, у меня ещё корова, как её бросить, да и картошка подошла.

Из списанных с плавсостава выбрали надёжного офицера, капитан-лейтенанта, и возложили на него похоронные обязанности.

Такие офицеры, списанные с плавсостава, у нас есть. Они строят подсобные хозяйства, дачи, роют рвы, канавы, собирают картошку в Белоруссии, бывают на целине в Казахстане, назначаются старшими на сене, проводят обваловку, руководят очисткой, раскладкой дёрна, доводят всё это до ума, ремонтируют подъезды и вообще приносят много пользы.

А этого офицера списали даже дважды. В первый раз по какой-то одной статье – то ли с язвой, то ли с какими-то камнями, – а когда он оформил все документы на списание и, сдав их, каждый день ходил и столбился, то через

месяц выяснилось, что документы он сдал не поймёшь где, и сдал он их не поймёшь кому, и в том месте, где он их сдал, его никто не узнал.

– Что же вы так? – сказали ему тогда. Вот тогда-то его и перекосило, и с ним случилось что-то сложное, то ли латинское, то ли латино-американское, и списался он тогда по совершенно другой статье. Словом, человек был надёжный.

«Надёжный» отправился на плавзавод добывать цинк. В этот цинк нужно было одеть гроб, который вместе с несвоевременно усопшим Ивановым именовался бы «ценный груз двести».

Завод насчёт цинка был в курсе, но на заводе его повернули: лимит по цинку был израсходован, а будущий цинк должны были подвезти в течение месяца.

– Вам же звонили! – вяло, как последний спартанец, отбивался «надёжный».

– Времена прошли, – сказали ему на заводе.

– Куда ж его сейчас девать? – не унимался «надёжный», потому что с самого детства привык никому и никогда не сдаваться.

– А где он у вас до сих пор лежал? – спросили увядшими голосами заводские лупоглазые хитрецы.

– Дома, – не понимал «надёжный».

– Вот пусть там и полежит, ничего страшного, сейчас уже холодно. Только окна, конечно, нужно будет открыть, – тут же приступили заводчане ко второму этапу сбережения усопшего, – а с батареей воду слить, и батареи заглушить. В этом поможем. На батареях у нас какое сечение? Ду-20? Ну вот...

– Что «вот», – не понимал «надёжно списанный», – в чём поможете?

– В этом, – удивились его сообразительности заводчане, – батареи заглушим, сварщика дадим.

– Ну нет, так дело не пойдёт, – начал было «списанный».

– Ну, мы тогда не знаем, – сразу закончили с ним заводчане и в ту же минуту про него забыли.

С тем, что «они не знают», списанный капитан тут же решил отправиться к начальству. По дороге он долго рубил воздух и говорил всякие выражения.

– А-а-а, чтоб они подошли! – пожелал он им в заключение.

Капитан впервые столкнулся с цинковой проблемой, и через десять минут ходьбы он окончательно решил идти к начальству, у которого, он был в этом совершенно уверен и неоднократно убеждён, череп толще, а нижняя челюсть увесистей.

– А я-то думал, что его давно похоронили, – оторвалось от бумаг начальство с черепом, за заботами успевшее забыть, что у него когда-то кто-то умер. – Деньги вам собранные отдали? Ну вот! Что же вы?

– А что вы сделали, чтоб этот цинк был? Почему не добились? Почему не настояли? – спрашивало начальство по нарастающей. – Расписываетесь тут, стоите, в собственном бессилии!

– Нужно добиваться! – заорало наконец начальство. – А не демонстрировать здесь свои неспособности и беспомощность полнейшую! Рыть нужно! Рыть! Доросли тут до капитан-лейтенанта! Бог ты мой, какая тупость, какая тупость! Цинк ему ищи! Рот раскрой, положи – он закроет и

проглотит. Так, что ли? Я! Здесь! Поставлен! Не для цинка!!! Понимаешь? Не для цинка!... Идите. И не прикрывайте мелкой суетливостью своего безделья! Цинк чтоб был! Доложите! Всё!!!

Витамины на флот поступают в жестяных банках, а надо бы в ведрах, а может, и в бочках...

Капитан пошёл от начальства. По дороге он всё время говорил три слова, из которых только одно было очень похоже на слово «провались».

Пропадал он двое суток, потом появился мятый, виноватый и принялся с жаром отрабатывать.

А медики тем временем, тихой сапой, по своим каналам справились насчёт цинка, узнали, когда он будет, сказали: «Ладно, мы подождём», – и сразу же договорились насчёт деревянного.

– Деревянный? – ухватились на заводе. – А цинковый уже не надо?

– Надо, – сказали наши всегда спокойные медики, – и цинковый и деревянный. Он у нас пока в морге постоит.

И положили. Когда же наконец появился цинк и из него сделали то, что хотели, впихнуть в него бережно сохраненного Иванова не удалось – чуточку не влез; ни в цинковый, ни в деревянный.

– Он что у вас там, вырос, что ли? – злобно ворчали заводчане, уминая Иванова, который если где и влезал в одном месте, то тут же вылезал в другом. Не хватало всех размеров сантиметров по двадцать.

– А кто снимал мерку? – спросил начальник завода, когда эта неувязочка всем порядком поднадоела. Оказалось, что мерку снимал матрос, который уже уволился в запас.

Начальник завода очень изобретательно облегчил душу и сказал:

– Чтоб в следующий раз мерку снимал офицер, – подумал и добавил: – Капитан-лейтенант, а сейчас чтоб влез! Влез! Хоть всем заводом пихайте. Вы у меня пострадаете... за Отечество. Я вам сделаю соответствующее лицо...

После этого заводчане поделили силы: одни с чувством передали Иванова, чтоб он влез, и начали его запихивать с завидным вдохновением, другие принялись обхаживать медиков – ходили как очарованные и заглядывали им в глаза. Минут через пять они решили, что хватит облизывать, и приступили:

– А может, мы отпилим где-нибудь там у него кусочек, а? Маленький такой, а? – голос их непрерывно зацветал мольбой. – Незаметненький такой, как вы считаете? Мы потом сами похороним. А может, у вас есть что-нибудь такое? Может, можно будет его полить чем-нибудь, растворить там чуть-чуть, а? Ему же всё равно, как вы считаете?

– Не знаем, – сказали медики, покачали головами и уехали, оставив на заводе Иванова до вечера. Вечером он должен был быть отправлен. И билеты были, – в общем, тоска.

– Делай что хочешь, – сказал начальник завода начальнику цеха, – режь, ешь, но чтоб влез! Влез! Хочешь, сам ложись впереди и раздвигай! Хочешь – не ложись! Хочешь – мы тебя вместо него похороним. В общем, как хочешь!

Начальник цеха хотел, он очень хотел; он до того обессилел от того, что хотел, что был готов сам лечь и раздвигать. Но вдруг всё обошлось. На флоте в конце концов всё обходится, всё получается, делается само собой, не надо только суетиться...

В конце концов вышли пять решительных жлобов и, под массу бодрых выражений, в три минуты запихала атомника Иванова в дерево и в цинк, как тесто в банку. Попрыгали сверху и умяли. Заткнули аккуратно гвоздиком те места, которые повылезли, и запаяли. Делов-то...

А в это время в нашем тылу добывалась машина. Списанный капитан метался одинокий и слепой от горя. Он уже выяснил, что в эту минуту из восьмидесяти двух машин – тридцать два «газика», а остальные после целины не на ходу, а на ходу один самосвал, да и тот – мусорный.

Заболевший от такой невезухи капитан был готов везти запаянного в цинк Иванова на мусорном самосвале.

– Да вы что? – сказали в тылу и не дали самосвал. И всё-таки он его довез, на попутках, щедро посыпая дорогу поллитрами. На вокзал приехали за двадцать минут до отхода поезда.

– Куда?! – рявкнула проводница и загородила проход.

– У нас разрешение есть, – задуревшим с дороги голосом прошептал капитан: он всю дорогу, в минус двадцать, ехал сверху.

– Назад! – не унималась проводница. – Я тебе дам «разрешение», а людей я куда дену?!

Она вытолкнула капитана вместе с ящиком назад. Капитан, совершенно обессиленный белым безмолвием, вытащил собранные на Иванова деньги и, стыдно сказать, угостил проводницу четвертным.

– Ну ладно, – сжалилась она, – волоките, сейчас покажу куда.

Гроб заволокли, куда показали. Не успели тронуться с места, как появился бригадир.

– Где тут эти похоронщики? – бригадир смотрел так, будто заранее знал, кто где нагадил.

– Ты, что ли? – ткнул он пальцем в капитана, и у капитана сразу же забился пульс.

– Да?

– Документы давай.

Капитану нельзя было волноваться. Пальцы его наконец достали документы.

– Ну, так и знал, – вздохнул бригадир, – неправильно. На следующей слазь. Не забудь его прихватить. Проверю. Знаю я вас, был уже один такой прохвост, намаялись.

Достался ещё один четвертной. Всё-таки есть хорошие люди, есть; сейчас он на тебя наорал, набрызгал, а сейчас он уже хороший человек и ты его полюбил, испив до дна радость прощенья.

– Ты когда в следующий раз повезёшь кого-нибудь, ты обязательно всё правильно оформи, – обхватил капитана за плечи бригадир, – да, и смотри, он у нас, сам понимаешь, где едет, у нас иногда «Жигули» раздевают, не то что твоего родственника; цинк – это вещь; приедешь, его снимать – а цинка нет, и давно уже один покойник голый едет. Было такое, бесплатно дарю, – бригадир хохотнул. Капитан выбегал на каждой станции. И началась дорога. Многим мы ей обязаны, дороге. Ты едешь, и едут мимо тебя: мясо, масло, «а как у вас», дети, тёщи, подарки, какие-то праздники, каникулы. О чём только люди не говорят, чем только они не живут; а ты как с другой планеты, будто и не жил никогда...

Через двое суток ему стало казаться, что он давно уже живет в вагоне,

что он родился здесь, среди плача детского, мято лежащих тел, бесконечных закусываний, чая и торчащих в проходе ног. Он отдался безразличию и теперь почти всё время сидел у окна смотрящим вперёд. А навстречу ему неслась Россия... Россия... огромная страна...

Капитану предстояла пересадка. Не будем её описывать, а то всё увеличится втрое. Скажем только громко: «Хорошо!». Хорошо, что люди пьют. А может, и не люди, а отдельные граждане, но всё равно – хорошо. Сколько бы дел не было сделано, вот так, с лёту, в один присест, если б они не пили; и наш капитан никогда бы не попал вовремя с оцинкованным Ивановым с вокзала на вокзал. Пускай они пьют. А если б они не пили, то стоило бы, наверное, для пользы дела, её им привить – привычку пить. Наверное, стоило бы...

А вот и станция Малые Махаловки, похожая на тысячи наших пустынных беленьких станций. Не прошло и пяти суток.

Поезд встречали двое – тётка и бородач. Капитан каким-то внутренним чутьём почувствовал тётку Марию и конец своего путешествия и наполнился, в который раз за дорогу, счастьем, подпрыгивающим ликованием.

– Вот! – через каких-нибудь пять минут воскликнул капитан и, израсходовав на улыбку весь имеемый сахар, указал на гроб: – Сам!

Он чуть не добавил: «Красивый сам собой», но вовремя спохватился. Ему опять стало хорошо. Это «хорошо» накатывало на него волнами, и сейчас он был просто рад за себя, за Иванова, за окружающую среду, опять за себя, за тётку Марию, как будто привёз ей не гроб, а кусок золота. И вообще, чем дальше от флота, тем больше он испытывал за него гордость; гордость за нашу боеготовность, ощущал прочные узы родства...

– Что ещё... документы, фотографии – вот!

– Слышь, милоч, – неуверенно засомневалась тётка Авария, – а вроде... это и не Мишка вовсе... Иванов-то... я его маленьким помню, после не видала... позабыла уже, а волосики у него вроде чёрные были, да и курносый он, а этот какой-то... лысый, что ли?

Дитя флота мгновенно приехало на землю. Капитана прошиб крупный пот, всё вокруг промокло и стало гнусным.

– Да ты что, мать! – земля уверенно поехала из-под ног. – КАК НЕ ТОТ?!

– МАТЬ!!! – заорал он, вложив в этот крик все свои раны, отчаянье, цинк, бригадира, дорогу, чёрт-те что. – Мать! Это ж... не мальчик кудрявый, это ж... мужчина, и потом он... эта... под водой, подводник он, мать, подводник, а там не то что на себя, на лошадь не будешь похож!

– Ну тогда ладно... конечно... чего уж там... это я так, – быстро согласилась, испугавшись его, тётка Мария и виновато уставилась под ноги. Бородатый с ходу понял, в чём затор.

– Вылитый Мишка, – он тоже испугался, что поминок не будет и этот сейчас подхватит гроб и поминай как звали, – вылитый. Я его, мерзавца, вот с такого возраста, – (он отмерил сантиметров двадцать), – знаю. Вылитый.

– Ну вот! – вырвалось у капитана. К нему сразу вернулась ушедшая было куча здоровья. – Да-а-а, ну ты, мать, даёшь! Мишку не узнать, а? Да-а-а! – теперь ему опять стало хорошо, даже как-то молодцевато стало, раскудрись оно провались!

– Ну ладно, граждане, – махнул рукой куда-то в сторону капитан, – вам

– туда, а мне – обратно. Извините, если что...

– Ну нет, милый, ты чего эта? – бородач встал рядом. – Привез и давай мотаем? Вам, значить, туда, а нам отсюда, так, что ли? А поминки? А народ? Не пустим! – он вдруг взял капитана под локоток. Рука у деда была деревянная, и капитан понял – точно, не пустят.

– Так... флот же тоже ждёт... боевые корабли-и-и, – замямлил он.

– Подождёт, не обломится, – обрубил бородач, – народ тебя ждёт. А мы тебе справку заделаем... печать... вроде ты у нас приболел, что ли, – борода так захохотал, что какая-то впереди крадущаяся тётка с кошёлкой присела, дёрнула головой, заверещала: «Милиция!» – и мотанула куда-то совсем.

Действительно, всё было готово. С Ивановым разделались в момент. Никто так и не вспомнил, был ли он чёрным или, может, сразу лысым. Праздничный стол раздался в осеннем великолепии. Это был какой-то ведёрный край: в середине стола стояла такая ужасная бутылка самогона, такой величины и прозрачности, что сквозь неё была полностью видна высоко поднятая табуретка.

За столом сидели старики и старушки, празднично убранные. На стариках так горели ордена и медали, что стояло сплошное сияние. У одного векового деда, с серебряной в пояс бородой, кроме всего прочего было ещё четыре Георгиевских креста.

Через двадцать минут за столом все были свои. Старики с интересом рассматривали Мишкины медали за десять и пятнадцать лет безупречной службы. Они передавали их друг другу, и каждый обязательно переворачивал и читал вслух.

– Да-а-а. Нам такие не давали. Они теперь вон какие. Молодца, Мишка, молодца, не посрамил, да-а-а...

Вскоре капитан решил, что ему нужно что-то сказать, а то через пару минут, он так прикинул, сказать он уже ничего не сможет, через пару минут он уже сможет только закивать это дело. Он встал и сначала бессвязно, а потом всё лучше и лучше начал говорить про флот, про море, про Мишку, которого совсем не знал, и чем больше он говорил, тем больше ему казалось, что он говорит не про Мишку, а про себя, про свою жизнь, про службу, про флотское братство, которое, гори оно ясным пламенем, всё равно не сгорит, про Родину, про тех, кто её сейчас защищает и, в случае чего, не пожалеет жизни, про священные рубежи...

– ...Пусть у них всё будет хорошо, – голос капитана звенел в наступившей тишине, – пусть они не горят, не тонут; пусть им всегда хватает воздуха; пусть они всегда всплывают; пусть их ждут на берегу дети, любят жёны, их нельзя не любить, товарищи, их нельзя не любить! – И так у него получалось складно и гладко, и, может быть, в первый раз в жизни его так слушали, может быть в первый раз в жизни он говорил то, что думал; и у людей блестели на глазах слёзы, может быть, в первый раз в жизни с ним такое происходило... У него вдруг перехватило горло, он запнулся, махнул рукой; все задвигались, а какая-то тётка, как и другие, наполовину не понявшая, но видевшая, что человек мается, схватилась ладонью за щёку и забормотала:

– Ох, мамочки, бедные вы мои, бедные...

Пир шёл горой. С капитаном все хотели поцеловаться. Особенно не удавалось вековому деду.

– Гришка! – прорывался он. – Язви ты, ты что, зараза, второй раз лезешь? А ну брысь!

Громадный Гришка, лет шестидесяти, смутился и пропустил старика.

– Ну вот, милай, ну... дай я тебя поцелую!

Потом пели морские песни: «Славное море – священный Байкал», «Варяг»; капитан тут же за столом обучил всех песне «Северный флот не подведёт»...

Вскоре его отнесли на воздух, надели шапку и усадили на лавочке. Он сидел и плакал. Слезы текли по не бритому ещё с вагона лицу, собирались на подбородке и капали в жадный песок. Он говорил что-то и грозил в темноту – видно, что-то привиделось или вспомнилось, что-то своё, известное ему одному.

Горе сменилось, теперь он хрипло смеялся, мотал худой головой и бил себя по колену; потом повторил раз двадцать: «Помереть на флоте – ни в жисть», упал с лавки, улыбнулся и заснул.

Его подобрали и отнесли в дом, чтоб не застудился. Капитана отпустили через неделю. Он всучил-таки тётке Марии оставшиеся деньги, прибавив от себя. Тётка смущалась, махала руками, говорила, что не возьмёт, что бог её за это накажет.

Его долго вспоминали, желали ему через бога здоровья, счастья в личной жизни и много детей. А вскоре после этого случая в дом к тётке Марии ворвался кто-то в огромной, чёрной шинели, схватил её и затискал.

У тётки остановилось дыхание, она узнала Мишку, курносого, чёрноволового, как в детстве...

Она вяло отпихнулась от него, села на случившийся табурет и замерла.

Она не слышала, что Мишка орал. Лицо её как-то заострилось, она впервые почувствовала, как бьётся её сердце – бисерной ниточкой. Губы её разжались, она вздохнула: «Бог наказал», – мягко упала с табурета на пол и умерла.

На деревне говорили: «Срок пришёл», а вскрытие показало, что на момент смерти она была совершенно здорова.

Были поминки. Мишка, которому рассказали, что он вроде бы помер, напился и пел в углу; остальные пели «Варяга», «Славное море – священный Байкал» и «Северный флот не подведёт».

Первая часть мерлезонского балета

Что отличает военного от остальных двуногих? Многое отличает! Но прежде всего, я думаю, – умение петь в любое время и в любом месте.

К примеру, двадцать четыре экипажа наших подводных лодок могут в мирное время, в полном уме и свежем разуме, в минус двадцать собраться на плацу, построиться в каре и морозными глотками спеть Гимн Советского Союза.

А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют, проверяющий из штаба базы, капитан первого ранга.

И прислушивается он потому, что это зачётное происходит пение, то есть – пение на зачёт.

И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться, и, по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют, и чем

дальше – тем затухаистей.

Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте. Это дело у нас называется «мерлезонским балетом».

– На мес-те... ша-го-м... марш!

И пошли. Раз-два-три... Раз-два-три... Раз-два-три...

– Идти не в ногу...

Конечно, не в ногу. А то потолок рухнет. Обязательно рухнет. Это же наш потолок, в нашей казарме... всенепременнейше рухнет... Раз-два-три... Раз-два-три...

Так мы всегда к строевому смотру готовимся: к смотру с песней; маршируем на месте и песню орем. Отрабатываемся. Спрашиваем только:

– Офицеры спереди?

Нам говорят:

– Спереди, спереди, становитесь.

Становимся спереди и начинаем выть:

– Мы службу отслужим, пойдём по домам...

– Отставить петь! Петь только по команде! Раз-два-три...

Правофланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный запевала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил, уцелел каким-то чудом, и на этом основании петь любил.

Как он поёт, это надо видеть. Я видел: лицо горит, – на нём, на лице, полно всякой мимики; эта мимика устремляется вверх и, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз – ать-два, ать-два! Глотка лужёная, в ней – тридцать два зуба, из которых только тринадцать – своих.

– За-пе-ва-й! – подаётся команда, и тут штурман как гаркнет:

– И тогда! Вода нам как земля!

А мы подхватываем:

– И тогда... нам экипаж семья... И тогда любой из нас не против... Хоть всю жизнь... служить в военном флоте...

Песню для смотра мы готовим не одну, а две. В те времена недалекие песни пелись флотом зазорные и удивительные. Вот послушайте, что мы пели в полном уме и свежем разуме:

– Если решатся враги на войну... Мы им устроим прогулку по дну... Северный флот... Северный флот... Северный флот... не подведёт...

И ещё раз...

– Северный флот... плюнь ему в рот, Северный флот... не подведёт... Ну, конечно, «плюнь ему в рот» – это наша отсебятина, но насчёт всего остального – это, извините, к автору.

Правда, положив руку на сердце, надо сказать, что нам, на нашем экипаже, ещё хорошо живется. Грех жаловаться. Мы хоть и в воскресенье уродуемся, но всё же всё это происходит до обеда, и нас действительно домой отпускают, если мы поем прилично, а вот за стенкой у нас живет экипаж Чеботарева – «бешеного Чеботаря», вот там – да-а! Там – кино. Финиш! Перед каждым смотром, каждое воскресенье, они, независимо от качества пения, поют с утра и до 23-х часов. В 23.00 – доклад, и в 23.30 – по домам!

А дома у них в соседней губе. Туда пешком бежать – часа четыре. А в 8

часов утра, будьте любезны, – опять в ствол. Вот где песня была! Вот где жизнь! И койки у нас за стенкой дрожали и с места трогались, когда через переборку звенело:

– Северный флот... Северный флот... Северный флот... не подведёт...

Вторая часть мерлезонского балета

Плац. Воздух льдистый. На плацу – экипажи. Наш экипаж – третий на очереди. Петь сейчас будем. На зачёт.

Мороз с лицами творит что-то невообразимое: вместо лиц – застывшее мясо.

Но план есть план. По плану пение. Плану плевать, что мороз под тридцать.

Над строями стоит пар. Дышим вполгруды: иначе от кашля зайдёшься; как петь – неизвестно.

– Рав-няй-сь! Смир-но! Пря-мо... ша-го-м... ма-рш!

Ну, началось...

Через полчаса все экипажи каким-то чудом песню сдали и – бегом в казарму. А нас третий раз крутят. Не получается у нас. Не идёт песня. В казарме получалась, а здесь – ни в какую.

После третьего захода начштаба машет рукой и говорит командиру:

– Командир! Занимайтесь сами. Предъявите по готовности.

После этого начштаба исчезает.

– Старпом! – говорит командир. – Экипаж уйдёт с плаца тогда, когда споёт нормально! – сказал и тоже исчез.

Остаемся: мы и старпом. Старпом злой как собака. Нет, как сто собак. Лицо у него белое.

– Экипаж! Рав-няй-сь! Одновременный рывок голов! Петров! Я для кого говорю! Отставить. Рав-няй-сь! Смир-но! Ша-го-м! Марш!... Песню... Запе-вай!

– ...Если решатся враги на войну...

От холода мы уже не соображаем. Ног не чувствуется: как на дровах идёшь.

– Отставить песню! Раз-два-три! Раз-два-три... Песню запевай!

И так десять раз. Старпом нас гоняет как проклятых. От мороза в глазах стоят слёзы.

– Песню!... Запе-вай!...

И тут – молчание. Строй молчит, как один человек. Не сговариваясь. Только злое дыхание и – всё.

– Песню!... Запе-вай!...

Молчание и топот ног.

– Эки-паж... стой!... Нале-во! Рав-няй-сь! Смир-но! Воль-но! Почему не поём? Учтите, не споёте как положено, не уйдём с плаца. Всем ясно?! Напра-во! Равня-сь! Смир-но! С места... ша-го-ом... марш! Песню... запе-вай!

И молчание. Теперь оно уже уверенное. Только стук ног – тук, тук, тук, – да дыхание. Какое-то время так и идем. Потом штурман густым голосом затягивает:

– Россия... берёзки... тополя... – он поёт только эти три слова, но зато на все лады.

За штурманом подтягиваемся и мы:

– Россия... берёзки... тополя...

Старпом молчит. Строй сам, без команды, поворачивает и идёт в казарму. Набыченный старпом идёт рядом. Тук-тук, тук-тук – тукают в землю деревянные ноги, и до самых дверей казармы несётся:

– Россия... берёзки... тополя...

На заборе

Ночь. Забор. Вы когда-нибудь сидели ночью на заборе? Нет, вы никогда не сидели ночью на заборе, и вам не узнать, не почувствовать, как хочется по ночам жить, когда рядом в кустах шуршит, стучит, стрекочет сверчок, цикада или кто-то ещё. У ночи густой, пряный запах, звёзды смотрят на вас с высоты, и луна выглядывает из облаков только для того, чтоб облить волшебным светом всю природу; и того, на заборе, – волшебным светом. А вдоль забора трава в пояс, вся в огоньках и искрах, и огромные копны перекасти-поля, колючие, как зараза.

Командир роты, прозванный за свой нос, репообразность и общую деревянность Буратино, даже не подозревал, что ночью на заборе может быть так хорошо. Он сидел минут двадцать, переодетый в форму третьекурсника, в надежде поймать подчиненных, идущих в самоход.

Но ночь, ночь вошла; ночь повернула; ночь мягко приняла его в свои объятия, прижала его, как сына, к своей теплой груди, и он почувствовал себя ребёнком, дитём природы, и незаметно размечтался о жизни в шалаше после демобилизации. Утро. Роса. Трава, тяжёлая, спутанная, как волосы любимой. Туман, живой, как амеба. Удочка. Поплавок. Дальше бедное флотское воображение Буратино, до сих пор способное нарисовать только строевые приёмы на месте и в движении, шло по кругу: опять утро, опять трава, кусты...

В кустах зашевелилось. Муза кончилась. Буратино встрепенулся, как сова на насесте, и закрутил тем, что у других двуногих называется башкой. На забор взбиралось, кряхтело и воняло издалека. В серебряном свете луны мелькнули нашивки пятого курса.

– Товарищ курсант, стойте! – просипел среди общего пейзажа Буратино, облитый лунным светом, похожий там, где его облило, на Алешу Поповича, а где не облило – на американского ковбоя.

Пятикурсник, перекидывая ногу через забор, задержался, как прыгун в стоп-кадре, и вскинул ладонь ко лбу. Теперь в облитых местах он был крупно похож на Илью Муромца, высматривающего монгола.

– Ага, – сказал он, увидев три галочки. И не успело его «ага» растаять в природе, как он хлопнул Буратино по деревянным ушам ладошками с обеих сторон. Хлоп! Так все мы в детстве играли в ладушки.

Природа опрокинулась. Буратино, завизжав зацепившимися штанами, кудахнул, пролетев до дна копну перекасти-поля. А когда он пришёл в себя, среди тишины, в непрерывном колючем кружеве, он увидел луну. Она обливала.

Фрейлина двора

– Лий-ти-нант! Вы у меня будете заглядывать в жерло каждому матросу! Командир – лысоватый, седоватый, с глазами навывате – уставился на только что представившегося ему, «по случаю дальнейшего прохождения», лейтенанта-медика – в парадной тужурке, – только что прибывшего служить из Медицинской академии.

Вокруг – пирс, экипаж, лодка.

От такого приветствия лейтенант онемел. Столбовой интеллигент: прабабка – фрейлина двора; дедушка – академик вместе с Курчатовым; бабушка – академик вместе с Александровым; папа – академик вместе с мамой; тётка – профессор и действительный член, ещё одна тётка – почетный член! И все пожизненно в Британском географическом обществе!

Хорошо, что командир ничего не знал про фрейлину двора, а то б не обошлось без командирских умозаключений относительно средств её существования.

– Вы гов-но, лейтенант! – продекламировал командир. – Повторите!

Лейтенант – как обухом по голове – повторил и...

– Вы говно, лейтенант, повторите! – и лейтенант опять повторил.

– И вы останетесь гов-ном до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению отсеком. Пи-ро-го-вым вы не будете. Мне нужен офицер, а не клистирная труба! Командир отсека – а не давящий клопов медик! Вы научитесь ползать, лейтенант! Ни-каких сходов на берег! Жену отправить в Ленинград. Жить на железе. На же-ле-зе! Всё! А теперь поздравляю вас со срочным погружением в задницу!

– Внимание личного состава! – обратился командир к строю. – В наши стройные ряды вливается ещё один... обманутый на всю оставшуюся жизнь. Пе-ре-д вами наша ме-ди-ци-на!!!

Офицеры, мичмана и матросы изобразили гомерический хохот.

Командир ещё что-то говорил, прерываемый хохотом масс, а лейтенант отключился. Он стоял и пробовал как-то улыбаться.

Под музыку можно грезить. Под музыку командирского голоса, вылетающего, как ни странно, из командирского рта, лейтенанту грезились поля навозные. Молодой лейтенант на флоте беззащитен. Это моллюск, у которого не отросла раковина. Он или погибает, или она у него отрастает.

«Офицерская честь» – павший афоризм, а слова «человеческое достоинство» – вызывают у офицеров дикий хохот, так смеются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви.

Лейтенант-медик, рафинированный интеллигент, – его шесть лет учили, всё это происходило на «вы», интернатура, полный дом академиков, – решил покончить с собой – пошёл и наглотался таблеток. Еле откачали.

Командира вызвали к комдиву и на парткомиссию.

– Ты чего это... старый, облупленный, седоватый, облезлый, лупоглазый козёл, лейтенантов истребляешь? Совсем нюх потерял? – сказал ему комдив.

То же самое, только в несколько более плоской форме, ему сказали на парткомиссии и вlepили выговор. Там же он узнал про чувство собственного достоинства у лейтенанта, про академиков, Британское географическое общество и фрейлину двора. Командир вылетел с парткомиссии бешеный.

– Где этот наш недолизанный лейтенант? У них благородное происхождение! Дайте мне его, я его долижу!

И обстоятельства позволили ему долизать лейтенанта.

– Лий-ти-нант, к такой-то матери, – сказал командир по слогам, – имея бабушку, про-с-ти-ту-т-ку двора Её Величества и британских географических членов со связями в белой эмиграции, нужно быть по-л-ны-м и-ди-о-то-м, чтобы попасть на флот! Флот у нас – рабоче-крестьянский! А подводный – тем более. И служить здесь должны рабоче-крестьяне. Великие дети здесь не служат. Срочные погружения не для элиты! Вас обидели? Запомните, лейтенант! Вам за всё заплачено! Деньгами! Продано, лейтенант, продано. Обманули и продали. И нечего тут девочку изображать. Поздно. Офицер, как ра-бы-ня на помосте, может рыдать на весь базар – никто не услышит. Так что ползать вы у меня будете!

Лейтенант пошёл и повесился. Его успели снять и привести в чувство.

Командира вызвали и вставили ему стержень от земли до неба.

– А-а-а, – заорал командир, – х-х-х, так!!! – и помчался доставать лейтенанта.

– Почему вы не повесились, лейтенант? Я спрашиваю, почему? Вы же должны были повеситься? Я должен был прийти, а вы должны были уже висеть! Ах, мы не умеем, нас не научили, бабушки-академики, сифилитики с кибернетиками. Не умеете вешаться – не мусольте шею! А уж если приспичило, то это надо делать не на моём экипаже, чтоб не портить мне показатели соцсоревнования и атмосферу охватившего нас внезапно всеобщего подъема! ВОН ОТСЮДА!

Лейтенант прослужил на флоте ровно семь дней! Вмешалась прабабушка – фрейлина двора, со связями в белой эмиграции, Британское географическое общество, со всеми своими членами; напряглись академики, – и он улетел в Ленинград... к такой-то матери...

У-тю-тю, маленький

Службу на флоте нельзя воспринимать всерьёз, иначе спятишь. И начальника нельзя воспринимать всерьёз. И орёт он на тебя не потому, что орёт, а потому что начальник – ему по штату положено. Не может он по-другому. Он орёт, а ты стоишь и думаешь:

– Вот летела корова... и, пролетая над тобой, любимый ты мой, наделала та корова тебе прямо... – и тут главное, во время процесса, не улыбнуться, а то начальника кондратий хватит, в горле поперхнет, и умрёт он, и дадут тебе другого начальника.

Но лучше всего во время разноса не думать ни о чём, отключаться: только он прорвался к твоему телу, а ты – хлоп, и вырубился. А ещё можно мечтать: стоишь... и мечтаешь...

– ЦДП!¹

– Есть ЦДП!

Центральный вызывает, вот чёрт!

– Начхим есть?

– Есть.

– Вас в центральный пост.

Вот так всегда: только подумает о начальнике, а он тут как тут. Ну,

¹ ЦДП – центральный дозиметрический пост

теперь расслабьтесь. На лицо – страх и замученный взгляд девочки-полонянки.

– Идите сюда!... Ближе!... Нечего трястись! Вы – кто?! Я вас спрашиваю: вы – кто? Я вам что? Я вам кто?! Кто! Кто?!!

Про себя медленно: «Дед Пихто!».

– Почему не доложили?! Почему? Я вас спрашиваю – почему?!!

Ой! О чём он?

– Очнитесь, вы очарованы! Я спрашиваю: где? Где?!

Под «где» такая масса смешных ответов, просто диву иногда даёшься. Но главное, чтоб на лице читался страх – за взыскание, за перевод, за всё. Пусть читается страх. А внутри мозг себе нужно заблокировать. Сейчас мы этим и займёмся, благо что времени у нас навалом. Прекрасные бывают блоки. У некоторых получается так хорошо и сразу, что трудности только с возвращением в тот верхний, удивительный мир. Например, он к тебе уже приступил, а ты представляешь себе арбуз. Тяжёлый. Попочка должна быть маленькой, это я про арбуз, а маковка – большой. Только тронешь – сразу треснет. И вгрызаемся. И потекло по рукам. Можно теперь немножко посмотреть, что там он делает.

– Когда?! Когда?! Когда это случилось?!

Ой, что тут творится. Ой, сколько слюней.

– ... в приказе! Не сойдёте с корабля! Сдохнете!!! Да! Я вам покажу!...

Интересно, что...

– Я вас научу!

Интересно, чему...

– Выть у меня будете!

Ах, этому...

– Выть!!! И грызть железо! Вот вам сход, вот!

Ой, какие неприличные у нас жесты.

– Вот... вам перевод! Вот... вам... в рот... ручку от зонтика! Обсосётесь!!!

Ну что за выражения. И вообще, Саша, с кем ты служишь? Где мама дала ему высшее образование?

– Запрещаю вам сход навсегда! Сгниете здесь! ВОТ ТАК ВОТ! Чего нос воротите?! Чего нос... каждый день мне доклад! Слышите? Каждый божий день!

У-тю-тю, маленький, ну чего ж ты так орёшь, а?

– ...и зачётный лист... сегодня же! У помощника! Лично мне будете всё сдавать! Вот так... да... а вы думали... Жить начнем по новой! Никуда вы не переведётесь! Сгниете здесь! Вместе сгнием! А вот когда вы приползёте... вот тогда...

Ну, какие дикие у нас мечты.

– Да, да, да! Вот тогда посмотрим! ВОН ОТСЮДА-А!

Ох и пасть! Пропасть. Ну и пасть, чтоб им пропасть. Медленно по трапу – «рождённый ползать, летать не может». А как хотелось. Бабочкой. Махаоном. И по полю. До горизонта. Небо синее. Далеко-далеко. Головенка безмозглая. Ни черта там нет. Совсем ничего. А иначе как бы мы сюда попали, целоваться в клюз... Теперь – увы нам...

Лошадь

– Почему зад зашит?!

Я обернулся и увидел нашего коменданта. Он смотрел на меня.

– Почему у вас зашит зад?!

А-а... это он про шинель. Шинель у меня новая, а складку на спине я ещё не распорол. Это он про складку.

– Разорвите себе зад, или я вам его разорву!!!

– Есть... разорвать себе зад...

Все коменданты отлиты из одной формы. Роба в робу. Одинаковы. Не искажены глубокой внутренней жизнью. Сицилийские братья. А наш уж точно – головной образец. В посёлке его не любят даже собаки, а воины-строители, самые примитивные из приматов, те ненавидят его и днём и ночью; то лом ему вварят вместо батареи, то паркет унесут. Позвонят комендантской жене и скажут:

– Комендант прислал нас паркет перестелить, – (наш комендант большой любитель дешёвой рабочей силы). Соберут паркет в мешок, и привет!

А однажды они привели ему на четвёртый этаж голодную лошадь. Обернули ей тряпками копыта и притащили. Привязали её ноздрями за ручку двери, позвонили и слиняли.

Четыре утра. Комендант в трусах до колена, спросонья:

– Кто?

Лошадь за дверью.

– Уф!

– Что? – комендант посмотрел в глазок.

Кто-то стоит. Рыжий. Щёлкнул замок, комендант потянул дверь, и лошадь, удивляя запятившегося коменданта, вошла в прихожую, заполнив её всю. Вплотную. Справа – вешалка, слева – полка.

– Брысь! – сказал ей комендант. – Эй, кыш.

– Уф! – сказала лошадь и, обратив внимание влево, съела японский календарь.

– Ах ты, зараза с кишками! – сказал шёпотом комендант, чтоб не разбудить домашних.

Дверь открыта, лошадь стоит, по ногам дует. Он отвязал её от двери и стал выталкивать, но она приседала, мотала головой и ни в какую не хотела покидать прихожей.

– Ах ты, дрянь! Дрянь! – комендант встал на четвереньки. – Лявва караванная! – И прополз у лошади между копытами на ту сторону. Там он встал и закрыл дверь. – Пока придумаешь, что с ней делать, ангину схватишь.

– Скотина! – сказал комендант, ничего не придумав, лошади в зад и ткнул в него обеими руками.

Лошадь легко двинулась в комнату, снабдив коменданта запасом свежего навоза. Комендант, резво замелькав, обежал эту кучу и поскакал за ней, за лошадью, держась у стремени, пытаюсь с ходу развернуть её в комнате на выход.

Лошадь по дороге, потянувшись до горшка с традесканцией, лихо – вжик! – её мотнула. И приземлился горшочек коменданту на темечко. Вселенная разлетелась, блеснув!

От грохота проснулась жена. Жена зажгла бра.

– Коля... чего там?

Комендант Коля, сидя на полу, пытался собрать по осколкам череп и впечатления от всей своей жизни.

– Господи, опять чего-то уронил, – прошипела жена и задремала с досады.

Лошадь одним вдохом выпила аквариум, заскользила по паркету передними копытами и въехала в спальню.

Почувствовав над собой нависшее дыхание, жена Коли открыла глаза. Не знаю, как в четыре утра выглядит морда лошади, – с ноздрями, с губами, с зубами, – дожевывающая аквариумных рыбок. Впечатляет, наверное, когда над тобой нависает, а ты ещё спишь и думаешь, что всё это дышит мерзавец Коля. Открываешь глаза и видишь... зубы – клан! клан! – жуть ампирная.

Долгий крик из спальни возвестил об этом посёлку.

Лошадь вытаскивали всем населением.

Уходя, она лягнула сервант.

Кубрик

Кубрик. 14.00. Воскресенье после праздника. Воздух голубой, табачный.

Старпом с утра уснул всех на корабль, не сказав, чем же заниматься после обеда. Стиль работы – раздать работу и слинять.

Помощник командира не может после обеда распустить офицеров по домам вот так сразу и поэтому строит личный состав.

– В две шеренги по подразделениям становись! Равняйся! Смирно! Вольно! Командирам подразделений сделать объявления! Строй зашелестел.

– Разойтись по тумбочкам! – вспоминает помощник. – Бумага, застеленная в тумбочки, уже грязная, бирок нет, чёрт-те что, вопрос вечный, как мир! Командиры подразделений! По готовности предъявлять тумбочки лично мне.

Разошлись по тумбочкам. Из рундучной хрипящий в наклоне голос:

– Это чьи ботинки? В последний раз спрашиваю!

По коридору:

– Савелич! Савелич! Савелич! Где эта падла?

Савелич – матрос. Его вечно теряют и вечно ищут.

Штурман. Высокий, крупный, рыжий. Садится и берёт гитару, мурлычет: «Н-о-чь ко-рот-ка...». Красивый баритон. К нему подлетает помощник:

– Валерий Васильевич! Вы готовы предъявить свои тумбочки?

Штурман смотрит в точку и говорит только после того, как выдержана «годковская пауза» – пауза человека, прослужившего на восемь лет больше помощника:

– Люди работают... Доклада не поступало.

Помощник отлетает. Штурман задумчиво изрекает:

– Рас-пус-ти-те пол-ки! Люди ус-та-ли!

Он читал когда-то «Живые и мёртвые», и ему кажется, что это оттуда.

Офицеры с поминальными лицами собрались в ленкомнате. Некоторые от скуки читают газеты.

– Весь день продавил воображаемых мух. Нарисую в воображении и

давлю. Здорово.

– Вы не знаете, когда это кончится?

– Никогда.

– Военнослужащий выбирает себе одно неприличное слово и постоянно с ним ходит.

– Что вы всё время читаете, коллега?

– «Идиота».

– Настольная книжка офицера. Не занимайтесь ерундой, товарищ офицер, займитесь делом!

– Если офицер слоняется, значит, он работает; сел почитать – занимается ерундой.

– А вот я уже падежей не помню.

– Поздравляю вас.

– Нет, серьёзно... винительный... родительный...

– Ну, серпентарий! Пива бы...

– Вы ещё сегодня дышите вчерашними консервированными кишками.

– Праздник... нельзя...

– Когда же я переvedусь отсюда, господи. Как я буду хохотать.

Влетает помощник.

– А здесь что за отсидка? Все встать и к тумбочкам! Командиры подразделений – в рундучную!

– Бедная рундучная...

Все поднимаются и идут к выходу. Передний в спину помощнику:

– Владимир Федорович! Когда вы говорите так сильно, у меня нарушается равновесие мозга, – оборачивается назад. – Товарищ Попов! Вы готовы предъявить Владимиру Федоровичу себя и тумбочку? Не надо делать акающее движение глазами.

– Не трогай человека, у человека, может, овуляция... наступает.

– Вперёд! Лопаты не должны простаивать!

Последний выходящий – в затылок предпоследнему тоном римского трибуна:

– Обратите внимание! Мирные флотские будни! Тумбочки! Последняя предьядерная картина. С первым же ядерным взрывом всё это улетит далеко-далеко... вместе с койками... захватив с собой наш любимый личный состав...

Ленкомната пустеет. В рундучной скорбные командиры подразделений. Все сгрудились среди гор флотских брюк, сброшенных на пол. Над брюками помощник.

– Где бирки?! Говорят, формы одежды у них нет! На вешалках ни одной бирки! Чёрт знает что!

– На-ча-ть-боль-шу-ю-при-бор-ку!

– Разойтись по объектам! Где ваш объект? Что вы здесь стоите?

Из-под коек выметаются остатки праздника – кожура мандаринов, окурки...

Я закрылся в ленкомнате. Дверь тут же открывается.

– Ты чего здесь?

Только закроешь дверь, её сразу же откроют, чтоб посмотреть, отчего это её закрыли.

Воскресенье затихает вместе с приборкой.

Через открытую дверь ленкомнаты видна рундучная. Я пишу рассказ.
– Чьи это ботинки? – не унимается рундучная. – В последний раз спрашиваю!
– Савелич! Савелич! Саве... вы не видели Савелича? Где эта падла?!
Рассказ называется: «Кубрик».

Я – Зверев!

Те, что долго толкаются на флоте, знают всех. Как собаки с одного района – подбежал, понюхал за ножкой – свой!

Если вам не надо объяснять, почему на флоте нет больных, а есть только живые и мёртвые, значит, вы должны знать Мишу Зверева, старшего помощника начальника штаба дивизии атомоходов, капитана второго ранга.

Когда он получил своего «кап-два», он шлялся по пирсу пьяненький и орал в три часа ночи, весь в розовом закате, нижним слоям атмосферы:

– Звезда! Нашла! Своего! Героя!

У него была молодая жена. Придя с моря, он всегда ей звонил и оповещал: «Гони всех, я начал движение», – и жена встречала его в полном ажуре, как у нас говорят, по стойке «смирно», закусив подол. И он никогда не находил свои в беспорядке брошенные рога. Всегда всё было в полном порядке.

С ним всё время происходили какие-нибудь маленькие истории: то колами побьют на Рижском взморье, потому что рядом увели мотоцикл, а рожа у Миши не внушает доверия, то ещё что-нибудь.

Он обожал их рассказывать. При этом он улыбался, смотрел мечтательно вдаль и рассказывал не торопясь, с паузами для смеха, поджидая отстающих. Обычно это происходило после обеда, когда все уже наковырялись в тарелках. Рассказ начинался с этакого романтического взгляда поверх голов, кают-компания замирала, а Миша вздыхал и начинал с грустной улыбкой:

– Родился я в Нечерноземье... на одном полустанке... едри его мать... М-да-а... Так вот, в отпуске я задумал однажды сходить в баню...

Для того, чтобы сократить количество «едри его мать» до необходимого минимума, расскажем всю историю сами.

Перед баней он оброс недельной щетиной до самых глаз, надел ватничек на голое тело, треух, синие репсовые штаны, наши флотские дырявые сандалии на босую ногу, взял под мышку берёзовый веник и двинулся не спеша.

А вокруг лето; птички чирикают; воздух, цветы, настроение, сво-бо-да!

Давно замечено, что чем дальше от флота, тем лучше твоё настроение, и чем ближе к флоту, тем оно всё пакостней и пакостней, а непосредственно на флоте – оно и вовсе никуда не годится.

Далеко от флота ты хорошо дышишь, шутишь, смеёшься весёлый, говоришь и делаешь всякие глупости, как всё прочее гражданское население.

Для того, чтоб дойти до бани, нужно миновать полустанок. На нём как раз остановился какой-то воинский эшелон. У ближайшего вагона стоял часовой. Ну какой строевик, я вас спрашиваю, пройдёт спокойно мимо солдата и ничего не скажет? Это ж так же тяжело, как псу пройти мимо

столба.

Миша не мог пройти, он почувствовал сопричастность, остановился и подошёл.

– Откуда едете?

Часовой покосился на него и хмуро буркнул;

– Откуда надо, оттуда и едем.

– А куда едете?

– Куда надо... туда и едем...

– А что везёте-то?

– А что надо... то и везём...

– Ну ладно, сынок, служи, охраняй. Родина тебе доверила, так что давай бди! А я пошёл.

– Куда ж ты пошёл, дядя, – скинул часовой с плеча карабин и передёрнул затвор, – стой, стрелять буду...

Капитан, начальник эшелона, с трудом оторвал голову от стола. Вид у него был синюшный (их бин больной).

Перед ним стоял Миша Зверев, и сквозь дремучую щетину на капитана смотрели весёлые глаза.

– Здравствуйте, хе-хе...

– Здравствуйте...

– Вот, взяли... хе-хе.. – некстати захекал Миша.

– Интересовался, – вылез вперёд часовой, – куда едем, что везём.

– Молодец, Петров! – прокашлял капитан. – Документы есть?

– Как-кие документы, отец родной? – сказал Миша. – Я же в баню шёл...

– Значит, так! Особый отдел мы с тобой не возим. Поэтому на станции сдадим.

– Товарищ капитан, я – капитан второго ранга Зверев, старший помощник начальника штаба, я документы могу принести, если надо!

– Не надо, – сказал капитан, застряв взглядом в Мишиной щетине. – Сидоров!

Появился Сидоров, который был на три головы больше того, что себе физически можно представить.

– Так, Сидоров, заверни товарища... м-м... старшего помощника начальника штаба... и в тот, дальний штабной вагон. Писать не выводить, пусть там делает. Ну, и так далее...

Сидоров завернул товарища (старшего помощника начальника штаба) под мышку и отнёс его в тот дальний вагон, бросил ворохом на пол и – со словами: «Ша, Маша» – закрыл дверь.

«В вагоне раньше ехали лошади», – успел подумать Миша. Дёрнуло. От толчка он резко пробежался на четвереньках, остановился, подобрал веник и рассмеялся.

– Надо же, – сказал он, – поехали... Вагон как вагон. Перестук колес располагал к осмыслению, и Миша расположился к осмыслению прямо на соломе.

Скоро остановились. Станция. Зверев вскочил и заволновался. Сейчас за ним придут. «Это что ж за станция? – всё беспокоился и беспокоился он. – Не видно. Чёрт знает что! Чего же они?». За ним не шли.

– Эй! – высунулся он в окошко, перепоясанное колючей проволокой. – Скажите там командиру эшелона! Я – Зверев! Я – старший помощник

начальника штаба! – обращался он ко всем подряд, и все подряд пугались его неожиданной физиономии, а одна бабка так расчувствовалась, от внезапности, что сказала: «О-о, хосподи!» – ослабела и села во что-то, чвакнув.

Миша хохотал над ней, как безумный, пока вагон не дёрнуло. О нём явно забыли. Станции мелькали, и на каждой он орал, подкарауливая у окошка прохожих: «Я – Зверев! Скажите! Я – Зверев!...».

Через трое суток в Ярославле о нём вспомнили («У нас там был этот... как его... начальник штаба») и сдали в КГБ.

За трое суток он превратился в дикое, волосатое, взъерошенное существо, с выпученными глазами и острым кадыком. Пахло от него так, что вокруг носились взволнованные мухи.

– Ну? – спросили его в КГБ.

– Я – Зверев! – заявил он с видом среднего каторжанина. – Я – старший помощник начальника штаба! – добавил он не без гордости и подмигнул. Мигать не хотелось, просто так получилось. Рожа – самая галерная.

– Документы есть?

– Как-ки-е до-ку-мен-ты? – в который раз задохнулся Миша. – Я в баню шёл! Вот! – и в доказательство он сунул им под нос веник, которым иногда подметал в вагоне.

– А чем вы ещё можете доказать?

– Что?

– Ну то, что вы – Зверев.

Миша осмотрел себя и ничего не нашёл. И тут он вспомнил. Вспомнил! Что в Ярославле у него есть дядя! Ы-ы! Родной! Двадцать лет не виделись!

– Дядя у меня есть! – вскричал он. – Ы-ы! Родной! Двадцать лет не виделись! Родной дядя! Едри-его-мать!

К дяде поехали уже к ночи.

– Вы такой-то?

– Я... такой-то...

– Одевайтесь!

И дядя вспомнил то героическое время, когда по ночам выясняли, кто ты такой.

Родного дядю привезли вместе с сандалиями. Когда он вошёл в помещение, к нему из угла, растопырив цепкие руки, метнулось странное существо.

– Дядя! Родной! – верещало оно противно, дышало гнилым пищеводом и наждачило щёку.

– Какой я тебе дядя?!... Преступник!... – освобождался дядя, шлёпая существо по рукам.

Дядю успокоили, и под настольной лампой он признал племянника и прослезился.

– Служба у нас такая, – извинились перед ним, – вы знаете, чёрт его знает, а вдруг...

– Да! Да!... – повторял радостный дядя. – Чёрт его знает! – и пожимал руки КГБ, племяннику и самому себе. Радующегося непрерывно, его увезли домой.

– А вы, товарищ Зверев, если хотите, можете прямо сейчас идти на вокзал. Здесь недалеко. А мы позвоним.

На вокзал он попал в четыре утра. Серо, сыро, и окошко закрыто. Миша постучал, тётка открыла.

– Я – Зверев! – сунул он свою рожу. – Мне билет нужен. Вам звонили.

– Давайте деньги.

– Какие деньги? Я же без денег! Ты что, кукла, – он заскреб щетиной по прилавку, – совсем, что ли, людей не понимаешь?

«Кукла» закрыла форточку.

Нервы, расшатанные вагоном, КГБ и дядей, не выдержали.

– Я – Зверев! – замолотил он в окошко. – Я – от КГБ! Вам звонили! Я – от КГБ! От! Ка! Ге! Бе! – скандировал он.

Тётка взялась за телефон:

– Здесь хулиганят!

Миша молотил и молотил.

– Я – Зверев! Открой! Эй!

За его спиной уже минут пять стоял милиционер. Он дождался, когда Миша устал, и вежливо постучал его по плечу. Миша обернулся.

– Вы – Зверев?

– Да-а... – Миша до того растерялся оттого, что его хоть кто-то сразу признал, что расплакался и дал себя связать. В машине он припадал к милиционерскому плечу и, слюнявя его, твердил, что он – Зверев, что он – в баню, что он – в КГБ...

– Знаем, знаем, – говорили ему мудрые милиционеры.

– А я ещё старший начальник помощника штаба! – останавливался среди соплей Миша и, отстранившись и вперившись, напряжённо искал возражений.

– Видим, видим, – отвечали ему милиционеры. Мудрые милиционеры сдали его немудрым, а те заперли его до понедельника. Миша замолотил опять.

– Я – Зверев! Сообщите в КГБ! Я – Зверев!...

– А почему не в ООН? Пересу де Куэльяру, ему тоже будет интересно, – говорили немудрые и пожимали плечами. – Ну, так нельзя! Не дают работать. Накостылять ему, что ли? Чуточку... – и наkostenяляли...

В конце концов в понедельник все разобрались во всём! (Едри его мать!) КГБ с милицией проводили его на вокзал, вручили ему билет, посадили в поезд, и он начал обратный путь на свой полустанок...

Когда он слез с поезда, от него шарахнулись даже гуси. Миша пробирался домой огородами. Подойдя ближе, он услышал музыку. В его доме творилось веселье. Миша присел в кустах. Жизнь научила его осторожности.

Вскоре на крыльцо вывалился друг детства Вася. Вывалился, встал с кряком и отправился в кусты, гундося и расстегиваясь по дороге. У кустов он остановился, закачался, схватил себя посередине, и из него тут же забил длинненький фонтанчик.

Когда фонтанчик своё почти отметал, навстречу ему из кустов вдруг поднялось странное создание.

– Чего это здесь?... А? Вася? – спросило создание голосом Мишки.

– Вот надо же было так упиться! – сказал Вася. – Привидится же такое...

– и, сунув недоделанный фонтанчик в штаны, повернул к дому.

– Стой! – одним махом настиг его Миша, и Вася засучил ножками,

утаскиваемый.

Оказалось, что Мишу всем полустанком дней десять искали баграми на озере, а потом решили – хорош! – и справили поминки.

Где вы были?

- Где вы были?
- Кто? Я?
- Да, да, вы! Где вы были?
- Где я был?

Комдив-раз – командир первого дивизиона – пытается Колю Митрофанова, командира группы.

- Я был на месте.
- Не было вас на месте. Где вы были?

Лодка только прибыла с контрольного выхода перед автономкой, и Колюня свалил с корабля прямо в ватнике и маркированных ботинках. Ещё вывод ГЭУ² не начался, а его уже след простыл.

- Где вы были?
- Кто? Я?
- Нет, вы на него посмотрите, дитя подзаборное, да, да, именно вы, где вы были?
- Где я был?

Колюша на перекладных был в Мурманске через три часа. Просто повезло юноше бледному. А в аэропорту он был через четыре часа. Сел в самолёт и улетел в Ленинград. Ровно в семь утра он был уже в Ленинграде.

- Где вы были?
- Кто? Я?
- Да, да! Вы, вы, голубь мой, вы – яхонт, где вы были?
- Я был где все.
- А где все были?

Шинель у Коленьки висела в каюте; там же ботинки, фуражка. Его хватились часа через четыре. Все говорили, что он здесь где-то шляется или спит где-то тут.

- Где вы были?!
- Кто? Я?
- ДА! ДА! ВЫ! – сука, где вы были?!
- Ну, Владимир Семёнович, ну что вы в самом деле, ну где я мог быть?
- Где вы были, я вас спрашиваю?!

За десять часов в Ленинграде Коля успел: встретить незнакомую девушку, совершить с ней массу интересных дел и вылететь обратно в Мурманск. Отсутствовал он, в общей сложности, двадцать часов.

- Где вы были, я вас спрашиваю?!!
- КТО? Я?
- Да, сука, вы! Вы, кларнет вам в жопу! Где вы были?
- Я был в отсеке.

Комдив чуть не захлебнулся.

² ГЭУ – главная энергетическая установка.

– В отсеке?! В отсеке?! Где вы были?!!!
Я ушёл из каюты, чтоб не слышать эти вопли венского леса.

«Ботик Петра Первого»

Закончился опрос жалоб и заявлений, но личный состав, разведенный по категориям, остался в строю.

– Приступить к опросу функциональных обязанностей, знаний статей устава, осмотра формы одежды! – прокаркал начальник штаба.

Огромный нос начальника штаба был главным виновником его клички, известной всем – от адмирала до рассыльного, – Долгоносик.

Шёл инспекторский строевой смотр. К нему долго готовились и тренировались: десятки раз разводили экипажи подводных лодок под барабан и строили их по категориям: то есть в одну шеренгу – командиры, в другую – замы со старпомами, потом – старшие офицеры, а затем уже – мелочь россыпью.

В шеренге старших офицеров стоял огромный капитан второго ранга, командир БЧ-5, по кличке «Ботик Петра Первого», старый, как дерьмо мамонта, – на флоте так долго не живут. Он весь растрескался, как такыр, от времени и невзгод. В строю он мирно дремал, нагретый с заливка мазками весеннего солнца; кожа на лице у него задубела, как на ногах у слона. Он видел всё. Он не имел ни жалоб, ни заявлений и не помнил, с какого конца начинаются его функциональные обязанности.

Перед ним остановился проверяющий из Москвы, отглаженный и свежий капитан третьего ранга (два выходных в неделю), служащий центрального аппарата, или, как их ещё зовут на флоте, – «подшкальник».

«Служащий» сделал строевую стойку и...

– Товарищ капитан второго ранга, доложите мне... – проверяющий порылся в узелках своей памяти, нашёл нужный и просветлел ответственностью, – ...текст присяги!

Произошёл толчок, похожий на щелчок выключателя; веки у «Ботика» дрогнули, поползли в разные стороны, открылся один глаз, посмотрел на мир, за ним другой. Изображение проверяющего замутнело, качнулось и начало кристаллизоваться. И он его увидел и услышал. Внутри у «Ботика» что-то вспучилось, лопнуло, возмутилось. Он открыл рот и...

– Пошшшёл ты... – и в нескольких следующих буквах «Ботик» обозначил проверяющему направление движения. Ежесекундно на флоте несколько тысяч глоток произносят это направление.

– Что?! – не понял проверяющий из Москвы (два выходных в неделю).

– Пошёл ты... – специально для него повторил «Ботик Петра Первого» и закрыл глаза. Хорош! На сегодня он решил их больше не открывать.

Младший проверяющий бросился на розыски старшего проверяющего из Москвы.

– А вот там... а вот он... – взбалмошно и жалобно доносилось где-то с краю.

– Кто?! – слышался старший проверяющий. – Где?!

И вот они стоят вдвоём у «Ботика Петра Первого».

Старшему проверяющему достаточно было только взглянуть, чтобы всё понять, он умел ценить вечность. «Ботик» откупорил глаза – в них была

пропасть серой влаги.

– Куда он тебя послал? – хрипло наклонился старший к младшему, не отрываясь от «Ботика». Младший почтительно потянулся к уху начальства.

– М-да-а? – недоверчиво протянул старший и спокойно заметил: – Ну и иди, куда послали. Спрашиваешь всякую... – и тут старший проверяющий позволил себе выражение, несомненно относящееся к животному миру нашей родной планеты.

– Закончить опрос функциональных обязанностей! – протяжно продолгоносил начальник штаба. – Приступить к строевым приёмам на месте и в движении!

Бабочка

Офицер свихнуться не может. Он просто не должен свихнуться. По идее – не должен.

Бывают, правда, отдельные случаи. Помню, был такой офицер, который на эсминце «Грозный» исполнял, кроме трёх должностей одновременно, ещё и должность помощника командира.

Его год не спускали на берег. Сначала он просился, как собака под дверь: всё ходил, скулил всё, а потом затих в углу и сошёл с ума.

Его сняли с борта, поместили в госпиталь, потом ещё куда-то, а потом уволили по-тихому в запас.

Говорят, когда он шёл с корабля, он смеялся, как ребёнок. Бывает, конечно, у нас такое, но чаще всего офицер, если окружающим что-то начинает казаться, всё же дурочку валяет – это ему в запас уйти хочется, офицеру, вот он и лепит горбатого.

Раньше в запас уйти сложно было; раньше нужно было или пить беспробудно, или, как уже говорилось, лепить горбатого.

Но лепить горбатого можно только тогда, когда у тебя способности есть, когда талант имеется и в придачу, соответствующая физиономия, когда есть склонность к импровизации, к театру есть склонность или там – к пантомиме...

Был у нас такой орёл. Когда в магазине появились детские бабочки на колесиках, он купил одну на пробу.

Бабочка приводилась в действие прикрепленной к ней палочкой: нужно было идти и катить перед собой бабочку, держась за палочку; бабочка при этом махала крыльями.

Он водил её на службу. Каждый день. На службу и со службы. Долго водил: бабочка весело бежала рядом.

С того момента, как он бабочку водить стал, он онемел: всё время молчал и улыбался.

С ним пытались говорить, беседовать, его проверяли: таскали по врачам. А он всюду ходил с бабочкой: открывалась дверь, и к врачу сначала впархивала бабочка, а потом уже он.

И к командиру дивизии он пошёл с бабочкой, и к командующему...

Врачи пожимали плечами и говорили, что он здоров... хотя...

– Ну-ка, посмотрите вот сюда... нет... всё вроде... до носа дотроньтесь...

Врачи пожимали плечами и не давали ему годности. Скоро его уволили в запас. На пенсию ему хватило. До вагона его провожал заместитель

командира по политической части: случай был исключительно тяжёлый. Зам даже помог донести кое-что из вещей.

Верная бабочка бежала рядом, порхая под ногами прохожих и уворачиваясь от чемоданов. Перед вагоном она взмахнула крыльями в последний раз: он вошёл в вагон, а её, неразлучную, оставил на перроне. Зам увидел и вспотел.

– Вадим Сергеич! – закричал зам, подхватив бабочку: как бы там в вагоне без бабочки что-нибудь не случилось; выбросится ещё на ходу – не отпишешься потом. – Вадим Сергеич! – зам даже задохнулся. – Бабочку... бабочку забыли... – суетился зам, пытаюсь найти дверь вагона и в неё попасть.

– Не надо, – услышал он голос свыше, поднял голову и увидел его, спокойного, в окне, – не надо, – он смотрел на зама чудесными глазами, – оставь её себе, дорогой, я поводел, теперь ты поводи, теперь твоя очередь... – с тем и уехал, а зам с тем и остался.

Или, вернее, с той: с бабочкой...

Химик

– Где этот моральный урод?!

Слышите? Это меня старпом ищет. Сейчас он меня найдёт и заорёт:

– Куда вы суётесь со своим ампутированным мозгом!?

А теперь разрешите представиться: подводник флота Её Величества России, начальник химической службы атомной подводной лодки, или, проще, – химик.

Одиннадцать лет Северный флот качал меня в своих ладонях и докачал до капитана третьего ранга.

– Доросли тут до капитана третьего ранга!!! – периодически выл и визжал мой старпом, после того как у него включалась вторая сигнальная система и появлялась, извините, речь, и я знал, что если мой старпом забился в злобной пене, значит, всё я сделал правильно – дорос!

Умный на флоте дорастает до капитана первого ранга, мудрый – до третьего, а человек-легенда – только до старшего лейтенанта.

Нужно выбирать между капитаном первого ранга, мудростью и легендой.

«Кто бы ты ни был, радуйся солнцу!» – учили меня древние греки, и я радовался солнцу. Только солнцу и больше ничему.

Химия на флоте всегда помещалась где-то в районе гальюна и ящиков для противогаров.

– Нахимичили тут! – говорило эпизодически мое начальство, и я всегда удивлялся, почему при этом оно не зажимает себе нос.

Химик на флоте – это не профессиональный промысел, не этническая принадлежность и даже не окончательный диагноз.

Химик на флоте – это кличка. Отзывается на кличку «химик».

– Хы-мик! – кричали мне, и я бежал со всех ног, разлаписто мелькая, как цыпленок за ускользящим конвейером с пищей; и мне не надо было подавать дополнительных команд «Беги сюда» или «Беги отсюда». Свою кличку «химик» лично я воспринимал только с низкого старта.

– Наглец! – говорили мне.

– Виноват! – говорил я.
 – Накажите его, – говорили уже не мне – и меня наказывали.
 «НХС» – значилось у меня на карманной бирке и расшифровывалось друзьями как – «нахальный, хамовитый, скандальный».
 – С вашим куриным пониманием всей сущности офицерской службы!!! – кричали мне в края моей ушной раковины, на что я хлопал себя своими собственными крыльями по бедрам и кричал:
 – Ку-ка-ре-ку!!! – и бывал тут же уестествлен.
 «Кластерный метод» – как говорят математики. Берётся «кластер» – и по роже! И по роже!
 На флоте меня проверяли на «вшивость», на «отсутствие», на «проходимость» и «непроходимость», на «яйценокость» и на «укупорку», и везде стояло – «вып.» с оценкой «хорошо».
 – Наклоните сюда свой рукомоиник!!! (Голову, наверное.)
 – Я сделаю вам вливание! Я вас физически накажу!
 Есть, наклонил.
 – Перестаньте являть собой полное отсутствие!!!
 Есть, перестал.
 – И закусите для себя вопрос!!!
 Уже закусил.
 А что вы вообще можете, товарищ капитан третьего ранга, подводник флота Её Величества России? Я могу всё:
 От тамады до дворника,
 От лопаты до космоса,
 От канавы до флота!
 Могу – носить, возить, копать, выливать, вставлять!
 Могу – протереть влажной ветошью!
 Могу – ещё раз!
 А Родину защищать?
 А это и есть – «Родину защищать». Родина начинается с половой тряпки... для подводника флота Её Величества России... и химика, извините за выражение...

Картина навсегда

В глазах застыла картина навсегда: центральный пост атомного ракетноносца; размеренно и тихо; все по углам; лодка у пирса; послеобеденное время; все переваривают; в едином временном измерении; дремотно.

Вдруг в центральный – ни с того ни с сего – влетает старпом и, наклонившись, орёт:

– Суки! Суки! Суки! Все – суки!!! У-у-у, ё-ёлки! – и убегает.

Все застывают. Замирают. Соображают. Думают про себя. Онемело. Остекленело. Минуту, наверное.

Наконец, мимо, внося с собой жизнь, проходит вахтенный: он пришёл из другого отсека, не присутствовал.

Словно подуло. Потихоньку отпускает. Дышится. Движения свободней. Дежурный говорит матросу:

– Ты в трюме был? Давай рысью туда.

Тот в трюм.

Всё оживает, восстанавливается и – потекло; размеренно; чинно; послеобеденное время; хорошо; опять все переваривают...

Дезертир

Командиру в/ч 34567.

Объяснительная

Я, лейтенант Козинцев Сергей Николаевич, настоящим докладываю, что 19-го числа сего месяца я самовольно сошёл с корабля и убыл в город Владивосток. Ушёл я в 15.00, отсутствовал двое суток и прибыл на корабль 21-го сентября в 24. 00.

У меня не было не терпящих отлагательства обстоятельств, ушёл с целью, трудно это передать на бумаге, с целью обратить на себя внимание.

Правильнее было бы сразу поговорить с командованием корабля и доложить ему о своих настроениях. Но мне показалось, что после моей поездки, разговор будет серьёзнее и конкретнее.

Дело в том, что я не хочу служить в Вооружённых Силах СССР. Об этом я думал ещё в училище. Но там я думал: стерпится-слубится. Теперь, после того как я уже месяц прослужил в части, я пришёл к выводу, что нет больше смысла мучиться самому и отвлекать командование от прямых обязанностей. Я допускаю мысль, что через два-три года я могу свыкнуться со службой, но я не хочу так служить. Может быть, я в подсознании где-то испугался, но поймите, так служить не хочу. Вероятно, это будет не нужно ни мне, ни флоту.

На флоте есть свои трудности, свои определённые условия, но вся эта система, система начальника и подчиненного, многое, как мне кажется, в ней не нужно, бессмысленно. Я подчеркиваю – мне кажется. Скорее всего, я не прав, но я имею свой взгляд и хочу его придерживаться, не хочу его ломать.

В заключение могу добавить, что мне не нравится отвратительное слово «дезертир», но ещё хуже прожить всю жизнь, в чем-то каясь. Я не жалею. Я готов отвечать за свои поступки, но мне не хочется идти по службе через пьянки, самовольные отлучки и разыгрывать из себя какого-то падшего человека.

22.09.79.

Лейтенант Козинцев.

ФЛОТ

В выражениях, междометиях, афоризмах.

В вопросах и ответах, в бессвязных выкриках...

- Что это у вас?
- Это усы, товарищ капитан первого ранга!
- Это не усы, это трамплин для мандавошек.

– Сгниёшь на «железе», сгниёшь!... А я говорю, сгниёшь!... Да... а вы думали, здесь что?... Что вы думали?...

– Чего вы тут сявку раз-зъявили?! Что вы тут сидите... молью! Я вам тут что?! Что?! Я вас-с-спрашиваю!!! Мал-чи-те!... Лучше!!! Я вам верну дар речи, когда это нужно будет!!! Если хотите со мной говорить, то молчите!...

Абсолютно новый крик:

– Что вы тут ходите!... Ногами!... С умной рожей!... Па-дай-ди-те сюда... я вам верну человеческий облик!...

– ...по-ротно... на одного линейного дистанции...

– ...Ссс-чёт! – Раз! – Ииии-раз!!!

– ...Поздравляю вас...

– Уууу-ррр-ааа!!!...

– Эй, сколопендра!

– Это вы мне?...

– А кому же! Ползи сюда!...

– Что вы мечетесь, как раненная в жопу рысь! Вы мичман или где?...

– Слушай, что стряслось во вселенной? Умер кто-нибудь из высшего командования или съели твой завтрак?

– Где ваш конспект?

– Сильные не конспектируют...

– Кто вы такой?! Кто вы такой, я вас спрашиваю?! Вот доложите: кто вы такой?!

– Что вы тут разматываете соплю по щекам?! Что вы тут роняете пену на асфальт?! Га-ва-ри-те члена-раздель-на! Члена-раздельна! Каждый свой член в раздельности...

– Где ваш план? Что вы мне подсовываете здесь постоянно?! Это что?! План?! Почему за месяц?! Где за год?! Восстановить немедленно! Жизнь без плана – жизнь впустую!...

– Что вы тут опять написали? Липа должна быть липовой, а не дубовой. Поймите, дело может стоять, но журнал должен идти...

– Что такое флотский смех?

– Это когда по тебе промахнулись.

– И всё-таки, а какова преамбула?

– Чё?...

– Преамбула... говорю, какова?

– Чё?...

– Да-да-да!... Да! Те же яйца, только в профиль! Значить так! Задёрнить! Восстановить методом заливания! Нештатные тропинки уничтожить! Ямы защебенить! Для чего достать щебёнку! Озеро одеть в гранитные берега. Назначу вас старшим над этим безобразием. Горячку пороть не будем. К утру сделаем.

Через три часа, когда ты уже задёрнил:

– Так! Всё! Дрова в исходное! Удалось отбиться: теперь это не наш объект.

– Видишь ли, Шура, замечания и традиции у нас с русско-японской войны. А может быть, с Чингисхана... Не устранены ещё... И грань между замечанием и традицией такая стёртая... что замечание легко переходит в традицию, а традиция... в замечание... Так что потом, когда мне говорят вот это: «славная традиция» или «беречь и умножать традиции... бережно сохранять»... я всё думаю: о чем они говорят... бедные...

– У вас такое лицо, будто вы только что побывали в лапах нашей флотской организации...

– Не организации, а «долбо-ледизма».

– А это как что?

– Дробь БП и долбить лёд... до бетона...

– Личный состав, обалдевший от обилия вводных, действует ли по этим вводным?

– А как же! Аж пиджак заворачивается!...

– ...и осуществили ремонт методом выхода из дверей...

– Боже мой, сколько не сделано... сколько не сделано... а сколько ещё предстоит не сделать...

– Кя-як сейчас размажу... по переборке! Тебя будет легче закрасить, чем отскрести...

– Говорят, подводнику положено десять метров дополнительной жилой площади. Есть постановление...

– Это только после увольнения в запас...

– Чтоб лечь и умереть спокойно...

– Только не квадратной, а кубической...

– Что это за корыто на вас?

– Это фуражка, товарищ капитан первого ранга!

– Бросьте её бакланам, чтоб они её полную насрали...

– Товарищ капитан третьего ранга, а когда нас накормят?

– Вот если б ты питался от моей груди, то был бы всегда сыт...

– Па-че-му не гла-жён?! Почему?! (По кочану, вот почему.) Времени не

хватило?! Я вам найду время? Лучше б ты в море упал. Наберут отовсюду не поймёшь каких трюмных!...

Начальник физической подготовки и спорта – флагманский мускул – доложил: «Слишком много у нас больных!».

Принято решение: впредь больных вместо физзарядки выводить на прогулку с... ломками! И знаете, больные резко сократились.

«Ч-т-о ж т-ы с-п-и-ш-ь, с-о-б-а-к-а, т-ы ж г-е-р-м-а-н-с-к-и-й к-о-н-ь...»

– Между прочим, из германского героического эпоса.

– А из японского можешь?

– Могу: «Ч-т-о ж т-ы с-п-и-ш-ь, с-о-б-а-к-а, т-ы ж я-п-о-н-с-к-и-й к-о-н-ь...»

– ...Великое, старина, – это простое... Простое, старина, – это плоское... Великое – это плоское, старина...

– Ты мешаешь мне правильно реагировать на те порции света и тепла, которые исходят от солнца лично для меня...

– Ты знаешь, какая самая первая самцовская обязанность?

– ?

– Метить территорию. О-собыми выделениями о-собой тер-рриториальной железы... Выходишь... ежедневно и... метишь...

– И последнее, товарищи! Так, с хвостов, встаньте в каре. И последнее. Командующий требует спокойствия и выдержки. В ходе инспекции десять человек симитировали повешение. Трое доимитировались до того, что повесились...

– Ну как ваш новый зам?

– Видишь ли, Шура, в детстве его так сильно напугали «бабайкой», что ещё с колыбели в ответ на «Коза идёт, коза идёт» он научился приставлять ладонь торцом к переносице.

– Наберут трусов на флот, а потом хотят, чтоб они умирали гер-роями...

Цок, цок, цок.

– Доложите в центральный: прибыл гражданский специалист к радистам.

– Цэнтральный. Прышол дэвишка, хочет радыстов.

– Я не девушка, я гражданский специалист. К радистам.

– Цэнтральный... ана нэ дэвишка... ана хочет радыстов.

– В пять утра прибыть в казарму!

– Мда-а...

– Не успели с моря приплыть – на тебе...

– Сейчас почти час, в два – дома, в три – на жене, в пять – в казарме...

- Вот они, пассаты, дующие в лицо...
- Мама моя, лучше б я назад в море ушёл или в говно упал.
- Страна ты моя Дуремария...
- Вы что-то сказали или мне показалось?
- Вам показалось...
- Ночь. Везде темно. И только в Стране Дураков загорался свет...
- А в Абрам-мысе водку по прописке продают...
- Иди ты! А где её берут?
- Кого? Водку?
- Нет, прописку...
- Внимание, товарищи! Командующий флотом объявил оргпериод флоту! С сегодняшнего дня – якорный режим. Сход запрещён. Экипаж на борту. Сходню сбросить!
- Мать моя женщина, опять семья на якорном режиме...
- Жалуйтесь. В лигу защиты сексуальных реформ...
- Никак не пойму, это что – домой сегодня не пустят?
- Плохо быть деревянным...
- Не-ет, флотом управляют двоечники...
- Вы хотите сказать, что командующий флотом – двоечник?
- А разве командующий флотом управляет флотом?...
- А мне ещё двенадцать лет вот так просидеть на оргпериоде – и всё!
- Помрёшь, что ли?
- Пенсия...
- А-а...
- А американцы вообще говорят: «Войну им объявим, но не начнём. Они себя сами задолбают оргпериодами...».

Крыса попала в петлю. Её повесили в боевой рубке с биркой: «Повесилась в результате якорного режима».

- Я вас категорически приветствую. Прошу разрешения подержаться за вашу мужественную руку. Как ваше драгоценное для флота здоровье?
- Безнадёжно здоров. Годен только к службе на подводных лодках. Место службы изменить нельзя. У нас нет оснований для беспокойств и переводов. А списывают с плавсостава теперь по двум статьям: трупные пятна и прободение матки.
- Ну с маткой, я думаю, у нас всё в порядке.
- Слушай, что это за козёл ходил с вами море удобрять?
- Из института. Мы с ним три вахты проговорили. Я думал, он серьёзный мужик, а он кандидатскую пишет...
- «Есть», «так точно», «никак нет» и «ура!» – четыре слова, отпущенных военному служащему. Как из них сделать кандидатскую диссертацию? Не понимаю...

– Мужики, слушайте, что пишут в нашей любимой газете, удивительное рядом, докладываю близко к тексту:

«Крейсер. Ночь. Корабль спит. Устало дышат кубрики. Затихли орудийные стволы. Лёгкий бриз. Лишь одно окно освещено. Это окно замполита. Стук в дверь. На пороге – старшина трюмный, старшина первой статьи Перфильев.

– Разрешите, товарищ капитан третьего ранга?

– Проходи, проходи... Перфильев...

– Вот, задумка есть, товарищ капитан второго ранга, как бы мне вывести свою команду в отличные?... – и ещё долго-долго не тушился свет в каюте замполита».

– Во дают, растудят её в качель... живут же люди... к замполиту тянутся...

– А наш хрючит по ночам, как трофейная лошадь, аж занавески развеваются...

– Почему у вас начштаба зовут Бамбуком?

– Потому что деревянный и растёт быстро.

– Факт, как говорится, на лице; я не хочу, чтоб он был у вас на лице.

– Я сейчас соберу узкий круг ограниченных людей; опираясь на них, разберусь как следует и накажу кого попало.

– Я теперь, порой, иногда даже думаю с ошибками.

– Если нет мозгов, бери блокнот и записывай! Я всегда так делаю.

– Я вчера в первый раз в жизни подумал, осмотрелся, осмотрелся, взглянул на жизнь трезво и ужаснулся.

– Поймите вы, созерцательное отношение к жизни нам чуждо, чуждо... Этим занимались древние греки... и хрен с ними.

– Товарищ командир, прошу разрешения быть свободным.

– Вас освободила Великая Октябрьская революция.

– Товарищ командир, прошу разрешения на сход с корабля.

– А зачем?

– К жене.

– Дети есть?

– Двое.

– Остальное – разврат!

– Пачему бревно плавает?!

Командир дивизии уставился в распорядительного дежурного (вахтенные, собаки, проворонили; чёрт, как он возник, неизвестно).

– Почему бревно плавает?

Распорядительный (в первый раз заступивший самостоятельно испуганный лейтенант с чахоточной грудью) испуганно приподнимается,

вылезая из очков.

- Вы что... онемели?
- Так... (время идёт).
- Я спрашиваю: почему плавают бревно?!!
- Так... удельный вес... этой... воды... он больше...
- Вы что, идиот?!

Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.

- Идиот?!!

Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.

- Почему... бревно... плавают?!!

Лейтенанта сняли, унесли, откачали, отжали. Комдив имел в виду акваторию, захламленную плавником.

Запись в личном деле: «Передан вместе с материальной частью».

В кают-компании на завтраке

- ...и жрёт и жрёт...
- А это психология отличника боевой и политической подготовки...
- ...лежу я, значит, мечтаю о демобилизации и вдруг...
- Крысиные блохи из вентиляции сыплются тебе прямо на рожу.
- Да они на человеке не живут.
- Укусят... и подышают...
- А у меня вчера на подушке крыса ночевала...
- Военнослужащий может испытывать радость от человека напротив. Вот сидит человек напротив, а военнослужащий смотрит на него... и радуется... Так что ты говоришь насчёт крысы?...

...на обеде

– Там город, Саня, город! Театр! Кино! Там женщины, Саня... прямо на асфальте... Идешь... на асфальте – и женщина... идешь – ещё одна...

– Не люблю ночевать с дурами. Никакого интеллектуального удовлетворения...

- Ох и баба на днях попалась...

– Ви-тя (укоризненно)... Пехотный офицер образца 1913 урожайного года сообщил бы офицерскому собранию: «Элегия... эле-гия, а не женщина» или сказал бы: «Её бедра метались, как пойманные форели», а Витенька, интеллект которого неизмеримо выше табурета, говорит «баба». И с этой женщиной он провёл лучшие минуты сегодняшней ночи...

- Да пошёл ты...

– **Что вы ползёте, как беременная мандавошка по мокрому... хууу-ю?!!**

- А-а-а-тдать носовой?
- Есть, отдать носовой!
- Отдать кормовой!
- Есть, отдать кормовой!
- Проверить буй усилием шести человек на отрыв!
- Есть, проверить буй усилием шести человек на отрыв!... Проверен буй усилием шести человек на отрыв!... Буй оторван...

– ПА-ЧЕ-МУ?!! (Пятнадцать восклицательных знаков). Па-че-му не стрижен?!! (Глаза оловянные).

– Так... тащ капитан второго ранга... ведь перешвартовка... а время теперь на подготовку к вахте не предоставляют... я докладывал... а в парикмахерской очередь...

Визг: – Почему не стрижен?!!

– Тык... я же... время же не дают... я отпрашивался... сегодня...

Вой: – **Почему не стрижен?!!**

– Тык... времени... же... а в парикмахерской...

– Хер в парикмахерской, хер! Почему не стрижен?!

Длительное молчание по стойке «смирно», потом:

– Есть...

Что и требовалось...

Состояние естества

«Всё пропьём, но флот не опозорим!»

– Да... был у нас один... непьющий... вообще ничего не пил совершенно... из партии исключили... он думал, что всё тут – как в газетах... ну и от несоответствия совсем... одичал... командир его как вызовет на профилактику... так он выходил от него, и его тошнило... аллергия у него была... на командира... отказался с ним в автономку идти... ну и выгнали его... а что делать...

Твёрдые, как дерево; обветренные, как скалы; пьют всё, что горит, после чего любят бешено всё, что шевелится.

Белая ночь, розовая вода, тишь. По заливу медленно маневрирует тральщик. Гладь. На мостике три вытянувшиеся, остекленевшие рожи (по три стакана в каждой). В глазах – синь. Воздух хрустальный. Баклан пытается сесть на флагшток. Мегафон в его сторону, и с поворота:

– Ты куда-а! Ку-да! Та-кой-то и такой-то рас-куро-чен-ный па-пу-а-с!!!

По рейду: «...ас ...ас ...ас...».

С испугу баклан срывается и, хлопая крыльями, летит. Вслед ему на весь залив:

– Вот так и лети... ле-ти... к та-кой-то ма-те-ри!!!

Комбриг перед строем, в подпитии, фуражка на глаза, чтоб никто не заметил. Из него факел метра на полтора. Покачиваясь, сложив губы дудочкой, примеряясь?

– Ну-у... Кто у на-с за-ле-тел?... се... дня...

– Да вот, Плоскостопов...

– Плос-кос-то-пов! (Тыча пальцем). Обрубок вы... а не офицер...

– Товарищ командир, тут вот телефонограмма для вас.

Командир слегка не в себе, старательно не дыша:

– А выбрось её... сь... сь...

– А? Что вы сказали, товарищ командир, куда? – дежурный склоняется от усердия.

– Выб-рось её к-к-к... х-хе-рам...

На офицерском собрании:

– ...И далее. Лейтенант Кузин привёл себя в состояние полной непотребности и в этом состоянии вошёл сквозь витрину прилавка магазина готового платья и всем стоячим манекенам задрал платья, после чего он вытащил свой...

Комдив, прерывая докладчика:

– Лейтенант...

Лейтенант встал.

– Вы что, не можете себе бабу найти?!

– Что?! Опять?! И уписался?! Где он лежит?! Так... ясно... струя кардинала, почерк австрийский...

– Пол-ный впе-рёд!

– Так... товарищ командир, пирс же...

– Я те что?! Я те что, клозет тя поглотит?! Полный...

Т-та-х!!!

– На-зад... Отдать носовой...

На пирсе строй полупьяных со вчерашнего матросов. Отмечали приказ. Перед ними замполит: два метра и кулаки слава Богу, с голову шахматиста. Зам проводит индивидуальную беседу со всем строем одновременно:

– Я уже задрался идти вам навстречу!!! Облупился... весь! Ноги отстегиваются! Куда ни поцелуй моряка, везде жопа! Ублюдки! Рокло! Салаги! Карасьва! (Волосатый кулак под нос). Вот вам, суки, и вся политработа! Всем понюхать! – Все понюхали. Пожалуй, все... – а теперь на горшок и спать.

Такая армия непобедима...

Белиберда (но флотская)

Будущее

«...И осталась от человека только дымящаяся дырка... и пепел... пепел... пепел... и ногти из пепла... с траурной каймой».

Пропел, прокричал, проорал, прорычал, проскулил, провыл, залопотал... пискнул, чикнул, чирикнул... прососал... – и всё это на флоте синонимы слова «сказал».

– Смотрю я на своего начальника и думаю: «Какое славное специфически мужицкое лицо».

А он разговаривает со мной, отрывая себе зубами заусеницу...

– Смотреть нужно только взад... исторически, разумеется... только так и можно двигаться вперёд...

– Прошу разрешения чего-то не знать... Прошу разрешения видеть, но не всё... Прошу разрешения различать, но только частности... Прошу разрешения чувствовать, но не до конца... Прошу разрешения страдать, но не тем местом...

Надо же что-то оставить и для начальства...

– А я ему скажу! Я скажу ему такое, что он икнет, в конечном итоге. Я скажу ему: «Я вижу вас только в очень крупную лупу!».

– Это когда предмет наблюдается непосредственно за... лупой....

– Где эта мыльная принадлежность?! А-а... вот вы где! Ну-ка, идите сюда, встаньте тут, я буду на вас смотреть...

– Куквин! Вы способны меня потрясти. Вы потрясете меня когда-нибудь... Куквин. У вас нет случайно консерваторского образования? Но вы же скатываете шланги, как композитор...

– Хочется гладить вашу голову веками. Гладить её, гладить... Когда гладишь вашу голову, возникает чувство сопричастности к чему-то бесконечно круглому...

– Агаты... агаты... агаты... Хочется агатов... Хочется нащупать агаты... Тянешь руку, а попадаются всё не агаты...

О ней

«...Загадочная, очаровательная, нежная, изумительная тысячу раз. Пытка моя. Сейчас 21 час. У вас там по телевизору идёт телепрограмма «Время». Передают дыхание страны. А у тебя в ванне шумит вода. Ты моешься. Атласная. Думаешь ли ты обо мне? Я о тебе думаю. За тысячи километров от берега. Передо мной твоя карточка. Она стоит, опираясь на стол. Твоё изображение. Оно вырывает из меня чувствительный стон. Мучительная. Он выходит, оставляя осадок на хрустале моей души...»

«...они лежали на персидских коврах. К их голым спинам липли окурки...»

– Яйца, яйца, яйца и много одинокого пейзажа. Что это?

– А чёрт его знает...

– Это яйцепровод в Тюмени.

Музыкальная тема

«...музыка лизала ему уши...»

Морская тема

«...море лизало ему ноги...»

Тема золотой середины

«...в середине его никто не лизал...»

Кумжа

Кумжа – это учение, на котором генералы академии Генштаба знакомятся с подводными лодками. В определённой базе для них выстраивают все проекты лодочек. Корабли покрашены, сияют кузбаслаком, внутри, после недельной повальной приборки, – тишина, крыс нет, по отсекам расставлены командиры отсеков в новом белье, перепоясаны со всех сторон ПДУ, в свежих тапочках, все стрижены, остальной личный состав увезён в доф, где им показывают кино.

Генералы гурьбой, переговариваясь, появляются у входной шахты люка. Первый из них начинает спускаться внутрь. Вместо того чтобы повернуться к поручням лицом, он поворачивается задом. Полез. Локти во что-то по дороге втыкаются, и генерал застывает с вывернутыми руками.

– Васька! – веселятся стоящие над ним генералы. – Это тебе не танк, едремьть, тут соображать надо! В центральном посту трап, ведущий вниз, пологий, и по нему сходят, что называется, «лицом вперёд». Потоптавшись перед трапом, генерал Васька поворачивается (он уже научен) и сползает по нему спиной, отмечая генеральской ногой каждую ступеньку.

– Васька! – кричат ему опять генералы, которым после «Васьки» успевают объяснить, как нужно сходить по трапу. – Это ж не танк, едремьть, тут думать надо!

Генералам дают провожатого, но внутри лодки они всё равно умудряются расползтись по отсекам и потеряться.

– Простите... а где у вас тут выход?

– По трапу вниз и дальше прямо.

– Спасибо, – говорит генерал, делает всё, как сказали, и попадает в безлюдный трюм.

– Эй! – доносится оттуда. – Товарищи!

В первом отсеке генералы проходят мимо торпедиста – командира отсека. Последний генерал задерживается и голодно смотрит на ПДУ командира отсека.

– Какая интересная фляжка.

– Это ПДУ – портативное дыхательное устройство, предназначенное для экстренной изоляции органов дыхания от вредного влияния внешней среды при пожарах! – резво старается командир отсека.

– А-а-а... – говорит генерал. – Ты смотри... – И видит сандали: на сандалях аккуратные дырочки: – Дырки сами делаете?

Торпедист сначала не понимает, но потом до него доходит:

– Дырки?... ах, это... нет, так выдают.

В следующей группе проходящих генералов каждый генерал с любопытством смотрит на «фляжку» – у генералов все мысли одинаковые, последний задерживается и спрашивает:

– Это – фляжка?

Резво:

– Это портативное дыхательное устройство! – произнесено так быстро, почти истерично, что генерал половину не усваивает, но кивает он понимающе – «А-а-а...» – взгляд на сандали:

– Дырки сами делаете?

Лихо и молодцевато:

– Так выдают!

До следующей группы торпедист успевает перемигнуться с командиром второго отсека: «Вот козлы, а?!». Подходит третья группа, последний в группе генерал обращается к торпедисту:

– Какая интересная фляжка.

На торпедиста нападает смехунчик, то есть с полным ртом смеха, дрожа веками, пузырясь ртом, он пытается сдержаться, у него выкатываются глаза, из него вываливаются какие-то звуки, всё это, скорее всего, от нервов. Генерал изумлён, он приглядывается к торпедисту. Тот:

– Эт-т-а-ды-ха-те-ль-но-я-ус-тр-ой-ст-во!

– Ты смотри, – генерал с опаской внимательно смотрит, и тут взгляд его случайно попадает на сандали, генерал оживляется:

– Дырки сами делаете?

Ти-та-ни-чес-кие усилия по приведению рожи в порядок (ведь сейчас впердолят так, что шею не повернёшь), в глазах слёзы:

– Т-та-ак в-вы-вы-да-ют!

Генерал сочувственно:

– Вы заикаетесь?

Быстрый кивок, пока не выпало.

В ракетный отсек попадают не все, а только самые любопытные. Командир отсека, капитан третьего ранга Сова (пятнадцать лет в должности), застегнут по гортань (от старости у него шеи нет), объясняет генералу, что у него в заведовании шестнадцать баллистических ракет.

Генерал с уважением:

– О вас, наверное, генеральный секретарь знает? (У генерала на позиции только три ракеты, а тут – шестнадцать).

– Что вы! – говорит Сова. – Меня даже флагманский путает.

Скоро генералы Сове надоели – утомили вконец, – и перед очередным генералом он ни с того ни с сего сгибается пополам.

– Что с вами? – отпрыгивает генерал.

– Радикулит... зараза... товарищ генерал...

– Что вы! – суетится генерал. – Присядьте!

У Сова всё натурально – слёзы, хрипы; он входит в роль, стонет, перекашивается, его уводят, осторожно сажают, оставляют одного. Когда никого не остается рядом, Сова кротко вздыхает, рывком расстегивает ворот и, прислонившись к стене, закатив глаза, говорит с чувством: «Ну, задолбали!» – после чего он мгновенно засыпает.

В центральном в это время один из генералов от инфантерии видит «каштан» и говорит с кавалерийским акцентом:

– А это что?

Старпом – отглажен, с биркой на кармане, стройный от напряжения:

– Это «каштан» – наша боевая трансляция.

– Да? Интересно, а как это действует?

– А вот, – старпом, как фокусник, щёлкает тумблером. – Восьмой!

– Есть, восьмой! – доносится из «каштана».

– Вот так, – говорит старпом, приводя всё в исходное, – можно говорить с любым отсеком.

– Да? Интересно, – генерал тянется к «каштану». – А можно мне?

– Пожалуйста.

Генерал включает и – неожиданно тонко, нежно, по-стариковски, с дрожью козлиной:

– Во-сь-мой... во-сь-мой...

– Есть, восьмой!

– А можно с вами поговорить?

Молчание. Потом голос командира восьмого отсека:

– Ну, говори... родимый... если тебе делать нех... уя...

– Что это у вас? – генерал оторопел, он неумело вертит головой и таращится.

Старпом сконфужен и мечтает добраться до восьмого; поборов в себе это желание, он мямлит:

– Вы понимаете, товарищ генерал... боевая трансляция... командные слова... словом, он вас не понял. Надо вот так, – старпом резко наклоняется к «каштану», по дороге открывает рот – сейчас загрызёт:

– Вась-мой!!! Вась-мой!!!

– Есть, восьмой!

– Ближе к «каштану»!

– Есть, ближе к «каштану», есть, восьмой!

– Вот так, товарищ генерал!

Генералы исчезают, время обедать, по отсекам расслабление, смех; командиры отсеков собраны в четвёртом на разбор, все уже знают – толкают командира восьмого: «Он ему говорит: разрешите с вами поговорить, а этот ему: ну, говори, родимый... у старпома аж матка чуть не вывалилась, готовься, крови будет целое ведро, яйцекладку вывернет наизнанку».

– А я чо? Я ничо, «есть, так точно», дурак!

РБН

Город С. – город встреч. Подводная лодка в створе.

– Взят пеленг на РБН столько-то градусов, – штурман потирает руки и сосёт воздух.

Офицеры в приподнятом настроении. РБН – это ресторан «Белые ночи». Офицерский ресторан. Там всё расписано: и столы, и женщины.

Рядом с РБН-ом двумя красными огнями горит вешка. При заходе в порт на неё берут пеленг.

РБН – это флотская отдушина. В нём тот маленький винтик, которым крепится весь флотский механизм, сам собой развинчивается и, упав, теряется среди стульев и тел.

В РБНе есть и свои «путеводители» – старожилы, знающие каждый уголок. У них сосущие лица.

– Кто это?

– Чёрненькая? Это Надежда. Двадцать шесть лет, разведена, ребёнок, квартира.

– А эта?

– Танечка. Хорошая девочка. Двадцать восемь, свободна, и квартира есть. Здесь бывает каждый четверг.

– Почему?

– Рыбный день. Ловит рыбу.

...Лодка ошвартована. Первыми в город сойдут: комдив – он был старшим на борту, и его верный оруженосец – флагманский по живучести. Они пойдут в РБН.

Фонари, светофоры, деревья, автобусы, женщины – всё это обрушивается на подводника, привыкшего к безмолвию, пирсу и железному хвосту своей старушки. На него падают звуки и голоса. Он, как бывший слепой, видит то, что другие уже давно не видят. Он идёт среди людей, улыбаясь улыбкой блаженного. Он придёт в РБН. Его тут давно ждут.

– Проходите, – швейцар расталкивает «шушеру» у входа и втягивает офицера, – ваш столик заказан.

– А ну, назад! – пихает швейцар «шушеру» в грудь. Офицер – самый стойкий любовник. В ресторане до 23 часов, обалдев от свободы, он пьёт и пляшет, демонстрируя здоровье. Потом он берёт вино и женщину и идёт к ней, где тоже пьёт и пляшет до четырёх утра, демонстрируя здоровье. С четырёх до пяти он охмуряет девушку. В пять с четвертью она его спрашивает: «Ты за этим пришёл?» – после чего его берёт оторопь, и она ему отдаётся, а в шесть тридцать он уже едет в автобусе на службу и чертит по дороге треки лбом по стеклу.

– Раз-бу-ди... ме-ня... – говорит он собрату, совсем издыхая, – я поплю только... двадцать минут... а потом... мы пойдём... в РБН... – и затих. Он лежит, как мёртвый, с мраморным лицом и полуоткрытыми глазами. И собрат будит его. Раздаются ужасные стоны. Стоя на четвереньках, он пытается встать. Встал. Пошёл. Сам пошёл. Под душ. После душа он готов в РБН...

Я бы поставил им памятник: огромную трёхгранную стелу, уходящую ввысь. К ней не скончался бы женский поток города С.

Флагман и комдив уже сидят в РБНе. Они уже выпили столько, сколько не способен выпить обычный человек. Когда оркестр уходит на перерыв, флагман выползает на сцену, берёт гитару и поёт:

– О-ч-и ч-ё-р-н-ы-е...

– Bravo! – кричит комдив. – Снимаю ранее наложенное взыскание! – Он уже видит только тот предмет, который движется. Рядом с ним оказывается женщина в декольте. В декольте аккуратно упакован устрашающий бюст. Бюст движется, и комдив его видит. Бюст зачаровывает.

– Маша, – женщина поняла, что пора знакомиться.

– Ви-тя, – тянет комдив, уставившись в бюст, – ой, какие документы, – говорит он бюсту, падает в него носом и, присосавшись, протяжно целует со звуком.

Учение

Мороз дул.³ Чахлое солнце, размером с копейку, мутно что-то делало сквозь небесную серь. Под серью сидел диверсант. Он сидел на сопке. На нём были непроницаемый комбинезон, мехом внутрь, с башлыком и электроподогревом. И ботинки на нём тоже были. Высокие. Непромокаемые, наши. И диверсант тоже был наш, но привлеченный со стороны – из диверсантского отряда. Ночевал он здесь же. В нашем снегу. А теперь он ел.

³ Те, кто испытал на себе мороз, знают, что так сказать можно.

Тупо. Из нашей банки консервной. Он что-то в ней отвернул-повернул-откупорил и стал есть, потому что банка сама сразу же и разогрелась.

Широко и мерно двигая лошадиной челюстью, диверсант в то же время смотрел в подножье. Сопки, конечно. Он ждал, когда его оттуда возьмут.

Шёл третий день учения. Неумолимо шёл. Наши учились отражать нападение – таких вот электро-рыбо-лошадей – на нашу военно-морскую базу.

Был создан штаб обороны. Была создана оперативная часть, которая и ловила этих приглашенных лошадей с помощью сводного взвода восточных волкодавов.

Справка: восточный волкодав – мелок, поджарист, вынослив, отважен. Красив. По-своему. Один метр с четвертью. В холке. А главное – не думает. Вцепился – и намертво. И главное – много его. Сколько хочешь, столько бери, и ещё останется.

Волкодавов взяли из разных мест в шинелях с ремнем, в сапогах с фланелевыми портянками на обычную ногу, накормили на береговом камбузе обычной едой, которую можно есть только с идейной убеждённой, и пустили их на диверсантов. Только рукавицы им забыли выдать. Но это детали. И потом, у матроса из страны Волкодавии руки мёрзнут только первые полгода. А если вы имеете что сказать насчёт еды, так мы вам на это ответим: если армию хорошо кормить, то зачем её держать!

Шёл третий день учения. В первый день группа не нашего захвата, одетая во всё наше, прорвалась в штаб. Прорвалась она так: она поделилась пополам, после чего одна половина взяла другую в плен и повела прямо мимо штаба. А замкомандующего увидел через окно, как кого-то ведут, и крикнул:

– Бойцы! Кого ведёте?!

– Диверсантов поймали!

– Молодцы! Всем объявляю благодарность! Ведите их прямо ко мне!

И они привели. Прямо к нему. По пути захватили штаб.

Во второй день учения «рыбы» подплыли со стороны полярной ночи и слюдяной воды и «заминировали» все наши корабли. Последняя «рыба» вышла на берег, переодетая в форму капитана первого ранга, проверяющего, по документам, и, пройдя на ПКЗ, нарезала верхнему вахтенному... нет-нет-нет – только сектор наблюдения за водной гладью. А то он не туда смотрел. Только сектор и больше ничего. И чтоб всё время! Как припаянный! Не моргая. Наблюдал чтоб. Неотрывно. Во-он в ту сторону.

И вахтенный наблюдал, а «товарищ капитан первого ранга, проверяющий» зашёл по ходу дела к командиру дивизии, штаб которого размещался тут же на ПКЗ. (По дороге он спросил у службы: «Бдите?!» Те оказали: «Бдим!» – «Ну-ну, – сказал он, – так держать!» – и поднялся наверх). И арестовал командира дивизии, вытащил его через окно, спустил с противоположного сектора и увез на надувной лодке. Причём лодку, говорят, надувал сам командир дивизии под наблюдением «проверяющего». Врут. Лодка уже была надута и стояла вместе с гребцами у специально сброшенного шторм-трапика. Шёлкового такого. Очень удобного. Хорошая лодка. Мечта, а не лодка.

Вахтенный видел, конечно, что не в его секторе движется какая-то

лодка, но отвечал он только за свой сектор и поэтому не доложил. Так закончился второй день.

На третий день надо было взять диверсанта. Живьём. На сопке. Вот он сидел и ждал, когда же это случится. А наши стояли у подножья, указывали на него и совещались возбуждённо. Наших было человек двадцать, и они поражали своей решительностью. Вместе со старшим. Он тоже поражал.

– Окружить сопку! Касымбеков! Заходи! – наконец скомандовал старший, и они начали окружать и заходить.

Волкодавы пахали снег, по грудь в него уходя, плыли в нём и неумолимо окружали. Во главе с Касымбековым. Не прошло и сорока минут, как первый из них подплыл к диверсantu. Первый радостно улыбался и задышался.

– Стой! – оказал он. – Руки вверх! После чего силы у него иссякли, а улыбка осталась. Диверсант кончил есть, встал и лягнул первого. В следующие пятнадцать минут к тому месту, где раньше стоял первый, сошлись остальные. Ещё десять минут были посвящены тому, что волкодавы, входя в соприкосновение с диверсantом, не переставая улыбаться и азартно, по-восточному, кричать, взлетали в воздух, сверкая портянками, а затем они сминали кусты и летели, летели, вращаясь, вниз, и портянки наматывались им вокруг шеи. Это было здорово! Потом диверсант сдался. Он сказал: «Я сдаюсь».

И его взяли. Живьём. Упаковали и понесли на руках.

Так закончился третий день. С этого дня мы начали побеждать.

Давай!

Утро начинается с построения. И не просто утро – организация начинается с построения. И не просто организация – вся жизнь начинается с построения. Лично моя жизнь началась с построения. Жизнь – это построение.

Конечно, могут быть и перестроения, но начальное, первичное построение является основой всей жизни и всех последующих перестроений.

Можно построиться по боевым частям, можно – по ранжиру, то есть, говоря по-человечески, по росту, можно – в колонну по четыре, можно – по шесть, можно, чтоб офицеры были впереди, можно, чтоб не были, можно – три раза в день.

На флоте столько всего можно, что просто уши закладывает.

Есть мнение, что построение – это то место, где каждый думает, что за него думает стоящий рядом.

Это ошибочное мнение. На построении хорошо думается вообще. Так иногда задумаешься на построении, а мысли уже кипят, теснятся, обгоняют, мясят друг друга, несутся куда-то... Хорошо!

Я, например, думаю только на построении. И если оно утром, в обед и вечером, то я думаю утром, в обед и вечером.

Опоздание на построение – смертельный грех. Нет, ну конечно же, опаздывать можно и, может быть, даже нужно, но в разумных же пределах!

А где они, эти разумные пределы? Где вообще грань разумного и его плавное сползание в неразумное? Вот стоит на построении разумное, смотришь на него, а оно – хлоп! – и уже неразумное.

– ...опять тянутся по построению. Что вы на меня смотрите? Ваши! Ваши тянутся!

Это у нас старпом. Наши всегда тянутся. Можно потом целый день ни черта не делать, но главное – на построение не опаздывать и не тянуться по построению. Старпом на корабле – цепной страж всякого построения. Новый старпом – это новый страж, собственная цепь которого ещё не оборвала все внутренние, такие маленькие связи и цепочки.

Старпом – лицо ответственное, и отвечает оно за всё, кроме матчасти.

Приятно иногда увидеть лицо, ответственное за всё на фоне нашей с вами ежедневной, буйной, как свалка, безответственности. Хотел бы я быть вот таким «ответственным за всё» – всем всё раздать, а себе оставить только страдание.

– Где Иванов?

Между прочим, старпом к нам обращается, и надо как-то реагировать.

– Иванов? Какой Иванов?

– Ну ваш Иванов, ваш. И не делайте такие глаза. Где он? Почему его нет на построении?

– Ах, Иванов наш!

– Да, ваш Иванов. Где он?

– На подходе... наверное...

– Ну и начальнички! «На подходе». Стоите тут, мечтаете о чём-то, а личный состав не сосчитан. Первая заповедь: встал в строй – проверь личный состав. Ну, а Петров где?

– ???

– А где Сидоров ваш? Почему он отсутствует на построении?

– Си-до-ров?...

– Да, да, Сидоров, Сидоров. Где он? Что вы на меня так смотрите?

Кость лобковая! Действительно, где Сидоров? Ну, эти два придурка – понятно, но Сидоров! Не понятно. Ну, появится – я ему...

– Всё!... – Ладонь старпома шлёпнула по столу в кают-компании второго отсека атомной подводной лодки на докладе командиров боевых частей и служб, и командиры боевых частей и служб, собранные на доклад, внутренне приподнялись и посмотрели на ладонь старпома.

Вот такое хлопанье ладонью старпома по столу означает переход в новую эру служебных отношений. Этот переход может осуществляться по пять раз в день. Правда, может наблюдаться несколько эр.

– Всё! Завтра начинается новая жизнь!

Новая жизнь, слава Богу, всегда начинается завтра, а не просто сейчас. Есть ещё время решиться и застрелиться или, наоборот, возликовать и, обливаясь слюнями, воскликнуть: «Прав ты был, Господи!».

– Если завтра кто-нибудь... какая-нибудь... слышите? Независимо от ранга. Если завтра хоть кто-нибудь опоздает на построение... невзирая на лица... тогда...

Что тогда? Все напряглись. Всем хотелось знать, «тады что?».

– Тогда узнаете, что я сделаю... узнаете... увидите...

Значит, надо опоздать, прийти и увидеть.

– Не понимаете по-человечески. Будем наводить драконовские методы.

О-о-о, этот сказочный персонаж на флоте не любят. Всех остальных любят, а этот – нет. И не потому ли, что не любят, после доклада и

подведения итогов за день в каюте собрались и шептались Иванов, Петров и Сидоров?! Ну, эти два придурка – понятно, а вот Сидоров, Сидоров – не понятно.

Как вы думаете, что будет с входной дверью в квартире старпома, если в замочную скважину со стороны подъезда ей, или, может быть, ему, залить эпоксидную смолу? Наверное, ничего не будет.

Утром дверь у старпома не открылась – замок почему-то не вращался. Собака заскулила, ибо она почувствовала, что останется гадить в комнате. Он тоже почувствовал.

Сначала старпом хотел кричать в форточку, но потом ему вспомнилось, что существует такое бесценное чудо на флоте, как телефон.

Старпом позвонил распорядительному дежурному:

– Это говорит старпом Попова Павлов.

Распорядительный подумал: «Я счастлив» – и ответил:

– Есть.

– Сообщите на корабль, что я задерживаюсь, что-то с замком, дверь не открывается. Пусть наш дежурный пришлет кого-нибудь посообразительней.

Распорядительный позвонил на корабль. Дежурный по кораблю ответил: «Есть. Сейчас пришлем» – и оглянулся.

Сообразительный на флоте находится в момент, потому что он всегда рядом.

– Слышь, ты сейчас что делаешь? Так, ладно, всё бросай. К старпому пойдёшь, у него там что-то с дверью. На месте разберёшься. Так, не переодевайся, в ватнике можно; наверное, сопкой пойдёшь. Топор захвати. Ну и сообразишь там, как и что. Ты у нас, по-моему, сообразительный.

Сообразительный был телом крупен. Такие берут в руки топор и приходят.

– Здравия желаю! – сказал он старпому через дверь.

– Ну, здравствуй, – сказал ему старпом, ощутив вдруг желание надеть на себя ещё что-нибудь кроме трусов, что-нибудь с погонами.

– А зачем я взял топор? – соображал в тот момент сообразительный. – И без топора же можно. Только руки все оттянул.

Он даже посмотрел на руки и тяжело вздохнул – точно, оттянул.

– Ну чего там, – услышал он голос старпома, который уже успел одеться и застегнуть китель, – чего затих? Умер, что ли? Давай!

А вот это неосторожно. Нельзя так кричать «Давай!» личному составу, нельзя пугать личный состав, когда он думает. Личный состав может так дать – в тот момент, когда он думает, – костей не соберёшь!

– Щас! – Наш сообразительный больше не думал. Он застегнул ватник на все пуговицы, натянул зачем-то на уши шапку, засосал через губы, сложенные дудочкой, немножко воздуха, изготовился, как борец, – и-и-и-ех! – и как дал! Вышла дверь, и вышел он. Неужели всё вышло? Не-ет! Что-то осталось. А что осталось? А такой небольшой кусочек двери вместе с замочной скважиной. Мда-а, мда-а...

Росписи

На флоте не умеют ни читать, ни писать.

– Где? Здесь? – спрашивает старпом и, размахнувшись, шлёпает печать совсем не туда, где скребет бумагу палец командира подразделения.

– Да не там же! – хватается за уши и ноет командир подразделения. – Вот же где нужно было! Здесь же написано! Теперь всё переделывать!

– Раньше надо было говорить, – делает себе ответственное лицо старпом и завинчивает печать.

Нет, на флоте не умеют ни читать, ни писать. Но зато на флоте умеют расписываться. В любом аморфном состоянии, и даже безо всякого состояния, военнослужащий на флоте не теряет способности рисовать те каракули, в которых даже его родсвенники никогда не узнают представителя их чудесной фамилии.

Флот силен своими росписями. Где он их только не ставит. На каких только бумажках он не расписывается. Особенно в журналах инструктажа по технике безопасности. Сколько у нас этих журналов инструктажа – этого никто не знает, и расписываемся мы за этот инструктаж когда угодно. Поднесут журнал в любое время дня и ночи – и расписываемся. Скажут:

– Вот здесь чиркани, – и чирканешь, никуда не денешься.

На огромном подводном крейсере шёл приём боезапаса: машинка торпедо-погрузочного устройства визжала, как поросёнок, в тумане, и торпеда ленивым чудовищем сползала в корпус.

Среди общего безобразия и суетни взгляд проверяющего непременно нащупал бы Котьку Брюллова, по кличке Летало. Лейтенант и минёр Котька был награждён от природы мечтательностью – редкое качество среди славного стада отечественных мино-торпедёров.

– Очнитесь! Вы очарованы! – периодически орал ему в ухо командир.

Котька пугался, начинал командовать, и всё шло наперекосяк. А потом он опять забывался и в мечтах далеко улетал.

И вдруг он испугался самостоятельно, без командира: ему показалось, что тот крадёт к его уху. Котька ошалело взмахнул руками, как дирижер, которого нашло в брюках шило, и одна рука его, вместе с рукавицей, попала туда, куда она никак не должна была попасть: в работающую машинку.

Рукавицу затянуло, и Котька заорал. Орал он хорошо, звучно и непрерывно. Он орал и тогда, когда всё остановили, а руку выдернули и осмотрели.

На звуки Котьки из люка неторопливо выполз толстый помощник командира с журналом инструктажа по технике безопасности под мышкой. Он был похож на старую, жирную, мудрую крысу, бредущую забрать приманку из лап только что прихлопнутой мышеловкой товарки.

– Не ори! – оказал он негромко и мудро, подходя непосредственно к Котьке. – Чего орёшь? Сначала распишись, а потом ори.

После этих слов Котька, ошавевший от боли, почему-то перестал орать и расписался там, где была приготовлена галочка.

– Вот теперь, – сказал помощник, убедившись в наличии росписи, – ори, разрешаю, – и так же неторопливо исчез в люке.

Перенесёмся через десять лет в ту же лодку, в тот же первый отсек. Что мы видим? Ну, прежде всего, командира первого отсека мино-торпедёра Котьку, растерявшего мечты и волосы, награждённого болью в душе и в желудке, мирно дремлющего в ожидании перевода к новому месту службы, и

его отличного мичмана, втягивающего специальной рукояткой торпеду в аппарат.

Все торпедисты знают, как коварна рукоятка. Она обладает обратным ходом. Обратный ход бывает только в лоб.

Мичман для чего-то отпустил рукоятку – то ли пот стирал, то ли чесался. Сейчас это уже трудно установить. Рукоятка сделала «бум!» – обратно и в лоб.

Посыпались искры, от которых мичман на время ослеп; лицо его с криком превратилось в одну большую шишку.

И что же сделал наш славный командир Котья? Он бросился к... журналу инструктажа. Он лихорадочно нашёл нужную графу и увидел, что там нет росписи. Он вспотел от предчувствия. Он подсунул слепому от всё ещё сыплющихся искр подчиненному журнал, вложил в руки ручку и сказал:

– Не вой! Вот здесь... распишись.

Мичман перестал выть и расписался наощупь, после этого он был спасен. После росписи его перевязали.

Дерево

– Дерево тянется к дереву...

– Деревянность спасает от многого...

Эти фразы были брошены в кают-компанию второго отсека в самой середине той небольшой истории, которую мы хотим вам рассказать.

Итак... В шестом отсеке, приткнувшись за каким-то железным ящиком, новый заместитель командира по политической части следил за вахтенным. Новый заместитель командира лишь недавно прибыл на борт, а уже следил за вахтенным.

Человек следит за человеком по многим причинам. Одна из причин: проверять отношение наблюдаемого к несению ходовой вахты. Для этого и приходится прятаться. Иначе не проверишь. А тут как в кино: дикий охотник с поймы Амазонки.

Из-за ящика хрипло дышало луком; повозившись, оттуда далеко выглядывал соколиный замовский глаз и клочок волос.

Лодка куда-то неторопливо перемещалась, и вахтенный реакторного отсека видел, что его наблюдают. Он давно заметил зама в ветвях и теперь вёл себя, как кинозвезда перед камерой: позировал во все стороны света, втыкал свой взгляд в приборы, доставал то то, то это и удивлял пульт главной энергетической установки обилием и разнообразием докладов.

– Он что, там с ума сошёл, что ли?

– Пульт, шестьдесят пятый...

– Есть...

– Прошу разрешения осмотреть механизмы реакторного отсека.

– Ну вот опять... – вахтенный пульта повертел у виска, но разрешил. – Осмотреть все механизмы реакторного отсека.

– Есть, осмотреть все механизмы реакторного отсека, – отрепетовал команду вахтенный.

– Даже репетует, – пожалуй плечами на пульте. – И это Попов. Удивительно. Он, наверное, перегрелся. С каждым днём плаванья растёт общая долбанутость нашего любимого личного состава. Сказывается его

усталость.

Вахтенный тем временем вернул «банан» переговорного устройства на место, как артист. Потом он вытащил откуда-то две аварийные доски и, засунув это дерево себе в штаны, кое-как заседлал себя им спереди и сзади, отчего стало казаться, что он сидит в ящике.

Засеменя, как японская гейша, он двинулся в реакторный отсек, непрерывно придерживая и поправляя сползающую деревянную сбрую.

Ровно через десять минут его мучения были вознаграждены по-царски: у переборки реакторного его дожидался горящий от любопытства зам.

– Реакторный осмотрен, замечаний нет, – оказал заму вахтенный.

– Хорошо, хорошо... а вот это зачем? – ткнул зам в доски, выглядывавшие из штанов вахтенного.

– Нейтроны там летают. Попадают даже нейтрино. Дерево – лучший замедлитель. Так и спасаемся.

– Да-а-а... и другой защиты нет?

– Нет, – наглости вахтенного не было предела.

– И мне бы тоже... – помялся зам, – нужно проверить несение вахты в корме.

Дело в том, что за неделю плавания зам пока что никак не мог добраться до кормы, а тут ему представлялась такая великолепная возможность.

Через минуту зам был одет в дерево и зашнурован. А когда он свежekaстрированным чудовищем исчез за переборкой, восхищенный вахтенный весело бросился к «каштану».

– Восьмой!

– Есть, восьмой...

– Деревянный к тебе пополз... по полной схеме...

– Есть...

Медленно, толчками ползущего по восьмому отсеку деревянного зама встретил такой же медленно ползущий деревянный вахтенный:

– В восьмом замечаний нет!

На следующий день мимо зама все пытались быстро проскользнуть, чтоб вдоволь нарадоваться подальше.

Каждый день его теперь ждали аварийные доски, и каждый день вахтенные кормы прикрывали свой срам аварийно-спасательным имуществом. Его ежедневные одевания демонстрировались притаившимся за умеренную плату. Через неделю доски кончились.

– Как это кончились?! – зам строго глянул в бесстыжие глаза вахтенного.

– А-а-а... вот эта... – рот вахтенного, видимо, хотел что-то сказать, а вот мозг ещё не сообразил. Глаза его, от такого неожиданного затмения, наполнились невольными слезами, наконец он всхлипнул, махнул рукой и выдавил:

– Ук-рали...

– Безобразии! И это при непрерывно стоящей вахте! Возмутительно! Какая безответственность! Просто вопиющая безответственность! Как же я осмотрю корму?...

Зам, помявшись, двинулся назад. В тот день он не осматривал корму. Вечером на докладе от него все чего-то ждали. Всем, кроме командира, было известно, что у зама кончились доски.

– Александр Николаич, – сказал командир заму в конце доклада, – у вас есть что-нибудь?

И зам встал. У него было что сказать.

– Товарищи! – сказал зам. – Я сегодня наблюдал вопиющую безответственность! Причём всё делается при непрерывно несущейся вахте. И все проходят мимо. Товарищи! В корме пропали все доски. Личный состав в настоящее время несёт вахту без досок, ничем не защищенный. Я сегодня пытался проверить несение вахты в корме и так и не сумел это сделать...

– Погоди, – опешил командир (как всякий командир, он всё узнавал последним), – какие доски?

И зам объяснил. Кают-компания взорвалась: сил терпеть всё это не было. На столах так рыдали, что, казалось, они все сейчас умрут от разрыва сердца: некоторые так открывали-закрывали рты, словно хотели зажевать на столах все свои бумажки.

Речь

Речь готовили долго. Считалось, что во время дружеского визита наших кораблей во французский город Марсель каждому придётся сказать речь. Приказали всем заранее её написать, и все написали. Потом всех вызвали куда надо и прочитали, что же они там написали. Потом каждому сказали, что это не речь, а откровение опившейся сивой кобылы и галиматья собачья. Всем приказали переписать этот бред, и каждый обложился журналами, газетами, обзорами и переписал. Опять прочитали и сказали: «Товарищи! Ну так же нельзя!». После чего всех усадили за общий стол и продиктовали им то, что им надо говорить. Затем подсказали, как нужно говорить и когда нужно говорить. Сказали, что лучше не говорить, если за язык не тянут. Затем каждому внесли в речь индивидуальность на тот случай, если придётся говорить всем одновременно. Затем ещё раз всё проверили, окончательно всё, что надо, причесали, где надо подточили и заострили. Вспомнили и припустили красной нитью. Каждому сказали, чтоб он выучил свою речь наизусть. Предупредили, что проверят. Установили срок. Проверили. Сказали, что надо бы по-чётче. Установили новый срок. Снова проверили и удостоверились, что всё идёт нормально. Потом каждому вложили речь в рот, то есть в карман, я хотел сказать, и поехали в город Марсель.

В городе Марселе оказалось, что все наши являются дорогими гостями мэра города Марсея, поэтому всех повезли в мэрию. Там был накрыт стол и на столе стояло всё, что положено: бутылки, бутылки, бутылки и закуска.

Слово взял мэр города Марсея. Он сказал, что он безмерно рад приветствовать на французской земле посланцев великого народа. После этого было предложено выпить. Все выпили.

Прошло два часа. Пили не переставая, потому что всё время вставал какой-нибудь француз и говорил, что он рад безмерно. Потом все французы, как по команде, упали на стол и заснули. Во главе стола спал мэр города Марсея. За столом остались только наши. Они продолжали: собирались группами, поднимали бокалы, о чём-то говорили, спорили...

В конце стола сидел седой капитан второго ранга из механиков. Красный, распаренный, он пил и ни с кем не спорил. Он смотрел перед собой

и только рюмку к губам подносил. Как-то незаметно для самого себя он залез во внутренний карман и выудил оттуда какую-то бумажку. Это была речь. Механик удивился. Какое-то время он смотрел в неё и ничего не понимал.

– ...В то время, – начал читать он хорошо поставленным голосом, отчего все за столом притихли, – когда оба наши наро-да-а...

Механик выпучил глаза, он ничего не понимал, но читал:

– Оба... ну ладно... и-дут, идут... и-ик...

У него началась икота, которую он мужественно преодолевал:

– Идут они... родимые... и-ккк!... в ис-сстори-ческий момент... и-к....

Его икание становилось все более глубоким, наши за столами улыбались все шире:

– В этот момент... ик... всем нам хочется... ик... хочется нам, понимаешь...

– Ики следовали уже сплошной чередой, улыбки за столом превратились в смех, смех – в хохот.

Мех остановился, улыбнулся, запил икоту из фужера и, глядя в бумажку, сказал мечтательно: «От сука, а?...».

Оригинальное решение

Вы знаете, когда оно ищется на подводной лодке?

При приёме командирского решения? – Нет.

При выборе режима перехода морем? – Нет.

При прорыве противолодочного рубежа? – Нет.

Не мучайтесь. Никогда не угадаете. Это нужно пережить!

...Ночью подводная лодка висит в бездонных просторах, как заброшенный космический корабль... Железная пустыня... Можно пройти с носа в корму – ни одного человека, только ровный шум вентиляторов, и ты стараешься идти тихо, крадёшься, чтоб не спугнуть общую космичность: инопланетянин на чужом корабле...

Что это? Непонятное, огромное, бесшумное, нависшее над горловиной люка, налитое, дышащее через раз? Фу ты, Господи, да это же наш зам! За-му-ля! Вот сука, да он же подсматривает за нижним вахтенным: голова опущена в люк, а остальное, стоящее на коленях – сверху. Вот чучело, а! Фотоохотник. Экран соцсоревнования. Выслеживает. Бдительный наш. Самый наш беспокойный. Самый ответственный. Не спится собаке. Бродит. А что если... нога сама зачесалась в тапочке – ы-ы-ы-ы, аж пальцы на ногах свернулись трубочкой, как у шимпанзе на прогулке, – а что если... легонько так дать, чтоб только клюнул вниз, а пока выбирается – слинять через переборку. Пусть потом ищет. Нет, так не интересно...

Моторист Миша, большой оригинал, невольный свидетель того, как зам смотрит вниз, присел на корточки и с удовольствием уставился в раскоряченные над люком, стоящие на коленях два военно-морских копыта, соединенные одной огромной тяжёлой перемычкой.

На флоте принято пугать друг друга. Напугал – полдела сделал.

Оригинал Миша улыбнулся: он знал, что ему делать. Он пододвинулся поближе, мечтательно закатил глаза и, осторожненько просунув руку, схватился там и дёрнул вниз тот самый мешочек, который у любого мужчины полностью отрастает к шестнадцати годам. Произошёл звук – иии-э-х! Смотрящий вниз зам как подпружиненный разогнулся, схватился обеими

руками за отрываемый мешочек и, выпучив глаза, как ночной лемур, улетел – как захлопнулся – в прорубь люка ведьмой на помеле, хватая воздух открытым ртом.

Внизу он выбил себе зубы и на две недели свернул шею.

Оригинала Мишу вычислили через сутки, И НА. КА. ЗА. ЛИ. За рукоприкладство!

Хыбля!

Зама у нас на тральщике звали Хыбля. За «Хы, бля-товарищи!». Это его любимое выражение. И ещё он говорил, оттопырив на правой руке указательный палец и мизинец: «Эта... с партийной принципиальностью!». После 18.00 ни дня он на тральщике не сидел с этой своей «принципиальностью». В 17.30 подходил к нашему командиру, к нашему Коле-Васе и говорил ему: «Ну что, Николай Васильевич, я... эта... пошёл?...» – и прямо на трап, а командир провожал его вслед ошалевшим взором. Все годами с корабля берег нюхают, а эта скотина ежедневно при жене!

Но на учении мы его всё же достали. Да-а! С помощью ядовитых дымов. На учении с помощью ядовитых дымов создаётся видимость химического заражения. Уже «химическую тревогу» объявили, уже все попрятались, я в противогазе и в этом презервативе – защитном комплекте – бегаю по кораблю с ядовитой шашкой в руках, не знаю, куда её сунуть, а зам на корме, без защиты, голышом, анекдоты травит.

Подлетаю я к нему и сую ему шашку между ног. А если ты голышом того дыма глотанёшь, то тут же появляется желание взлететь, как стая напильников.

У зама от яда глаза выскочили и повисли, как у рака на стебельках. Он орал и танцевал вокруг нашей корабельной артиллерии танец японских сирот и при этом всё пытался у меня выяснить, есть ли на это учение план, утверждённый комбригом, или его нет.

– Да есть у меня план, есть, – говорил я ему, – успокойтесь.

Выяснив, что план у меня есть, зам промчался как вихрь, прорвался внутрь корабля и начал по нему носиться в поисках противогаза. Вместо противогаза он нашёл спящего по тревоге Пашу-артиллериста и тут же сплясал на нём чечёточку.

Проверяющие

Адмиралов у нас – как собак нерезанных. Есть даже специально натасканные, проверяющие адмиралы. Потомки Нахимовых и Корниловых. Инспектора.

Они проверяют у нас всё. Раз в неделю какая-нибудь сволочь приезжает, то есть комиссия, я хотел сказать. Правда, флот к ним привык, как зверь в зоопарке к жующей публике, и волнуются только верхи, но всё равно дышать не дают.

– А что, – спросите вы, – нельзя, что ли, капраза для проверки прислать?

Нельзя. У нас на флоте своих капразов навалом, и чужого у нас просто пошлют вдоль забора надписи читать, вот адмиралы и надрываются.

У всех проверяющих адмиралов мозги, от непрерывных проверок, несколько повернуты вокруг своей оси, с наклоном таким мозги, мальчика с креном. А вот угадать этот самый угол, так сказать, наклона, с которым они набекрень, тем, кого он проверять собирается, никогда не удаётся: он каждый раз новый, этот наклон.

Конечно, можно вычислить отдельные эпизоды, фрагменты, если он ездит ежедневно, но полностью, так чтоб до конца вся картина, а потом спать спокойно, – вот это не получается.

Один, например, любит остановить машину, отловить офицера и проверить у него, не вынимая себя из машины, знание статей 82, 83 дисциплинарного устава. На всхожесть. Вот доложите, что изложено в статьях 82, 83 дисциплинарного устава.

Военнослужащего наблюдать интересно и полезно, а офицера – тем более. Народ вокруг бродит, а офицер тужится, как будто угорь на лбу давит усилием воли. И всё это с таким перекосом внешности. «82, 83?» – «Да». Ну заклинило. Ну просто затмение какое-то. Ну, хоть убей. Вот сейчас только помнил. Только что – и оторвалось. Начисто. А ведь читал же недавно. И именно эти вот статьи – 82, 83.

Пот течёт, жалкие потуги. Офицер, кстати, охотно потеет. Сердце у него бьётся охотно, у офицера: прикажешь – забьётся, прикажешь – не будет. У настоящего офицера.

А адмирал смотрит на него из машины и ждёт. У этого адмирала была только одна положительная эмоция – красная рыба, остальные были задушены в зачаточном состоянии.

Следующего проверяющего, из того же третичного периода, того, как приедет, сразу же вези на свалку. Приедет он на свалку и скажет:

– Да у вас же здесь залежи! – всё, можно увозить и предъявлять к оплате.

Слушали его, конечно, с трепетом, но никто так и не узнал: чего же у нас залежи. Эту тайну он унёс в могилу.

Был ещё один адмирал, такой же старый козёл, головенка трясется, а всё ещё служит, бедненький.

Он любил слово «бардак». «Бардак, – говорил он, – у вас». И ничего, кроме бардака, ему на флоте обнаружить не удалось.

А был такой адмирал, который любил болты. Это был ежегодный проверяющий. Ему специально болт из нержавеющей стали вытачивали, никелировали, на подставку вертикально – и сверху колпак из оргстекла.

Но каждый год болт должен был быть на несколько миллиметров длиннее и толще. Где-то на плавзаводе даже валялись чертежи этого чудовища. Вытачивали народные умельцы «малахитовые шкатулки», а начальство подносило, слянявая рукава.

Отслуживший болт он дарил окружающим. Позвонит, бывало, кому-нибудь из окружающих и спросит:

– Слушай, у тебя болт есть? Да нет, не такой. Сувенирный. На стол поставишь. – И дарил.

У него все были оболчены.

Но самый оригинальный адмирал, с самым большим комприветом, был тот, что нас в училище проверял. Маленький, седенький, толстенький, с белёсыми ресницами, по кличке «Свинья грязь найдёт».

Вот войдёт он в роту, за ним – свита, дежурный, отупевший от ответственности, к нему на полусогнутых: «Товарищ адмирал...» – с рапортом, доложит, а он выслушает рапорт, наклонится к дежурному, шёпотом скажет: «Свинья грязь найдёт» – и отправится в галюн.

Все, конечно, что его туда потянет, знали и готовились, но всегда забывали там что-нибудь, а он лез – всегда – в разные места и находил. Ну разве уследишь?

Однажды двинулся он решительно в галюн, а свита за ним, торопливо друг друга огибая, а он – прямо в кабину. Те за ним сунулись, но он дверь закрыл. Молчание. Стоят все, смотрят на дверь, ждут.

Вдруг, из-под двери, раздаётся сдавленное: «Тяните». Никто ничего не понимает, но на всякий случай все шеи вытянули, как индюки, наблюдают. Опять сдавленное: «Ну тяните же!». Тут кто-то прорывается – самый подающий надежды, рвёт на себя дверь кабины: шпингалет вырывается, дверь открывается и... перед свитой появляется на, пардон, дучке, пардон, адмирал, без, пардон, штатов. Орлом кочевряжится. И говорит адмирал умно: «Видите?» – те аж наклонились изо всех сил: «Где, где?» – аж вылезли все, а кому места не хватило, тот все на цыпочки, на цыпочки – и тянется, чтоб заглянуть.

Смотрели, смотрели и, кроме адмирала без трусов, ничего не увидели. Ну, зад у него морщинистый, как гармошка, со спаечным процессом. Ну и что?

– Вот! – говорит адмирал. – Сидит человек, а тут кто-то дёргает на себя дверь. А шпингалеты у вас дохлые, и дверь открывается, и у человека портится весь аппетит на это дело. Где же ваша забота о людях?

И тут все снова посмотрели на проблему со стороны двери, прочувствовали всё до конца и задвигались шумно.

А адмирал встаёт, счастливый, штаны натягивает и заправляет в них всё, что положено.

После этого нам такие засовы вставили вместо шпингалетов, что их можно было только вместе с очком вывернуть.

Подарок

Первый заместитель главкома спустился в центральный пост атомного ракетноносца.

Командир двинулся ему навстречу, переступая ватными ногами.

Заместитель главкома выслушал рапорт и сказал:

– Дальше третьего отсека не пойду. Дежурный, вода в трюме есть?

– Никак нет!

– Старпом, вода в трюме есть?

– Никак нет!

– Заместитель командира по политической части?

Заместитель командира проглотил слюну и замотал головой:

– Никак нет!

– Командир! Тоже «никак нет»?

– Так точно, никак нет!

– Ну пошли, посмотрим.

Вода в трюме была.

– Переноску! – гаркнул первый заместитель главкома.

Переноска не загорелась – «преды» повылетали. Первый заместитель взялся рукой за аварийный фонарь, и у фонаря тут же отвалилась ручка.

– Та-ак! – сказал первый заместитель... Пока он шёл по пирсу, в центральном искали ключ, ключ от сейфа живучести. Там лежал «традиционный подарок» – лодочка из эбонита. Ключ с перепугу куда-то сунули.

– Где ключ!!! – метался по центральному командир.

– Ключ!!! – он рывкнул так, что переборки срезонировали.

– Ломайте... ломайте... ломайте, – перебирая помертвелыми губами, бормотал, как в бреду, заместитель командира по политической части.

Ключ, наконец, нашли. Командир сам опустился на четвереньки перед сейфом. Ключ долго не попадал в скважину. Командир догнал первого заместителя главкома.

– Товарищ... адмирал... флота... вот... это вам... от нас... подарок... традиционный... – выдохнул он, задыхаясь.

Первый заместитель зажал «подарок» под мышкой.

– Я вас деру, а вы мне подарки съёте? Ха-ра-шо! Я вас проверю по приходу...

Лодку две недели держали в море. Она ходила по квадрату – туда-сюда, пока не уехал первый заместитель главкома.

Ура!

Главком в сопровождении сияющей свиты неторопливо вошёл в столовую на праздничный обед.

Дежурный по столовой, в звании мичмана, двинулся ему навстречу. К этому он готовился всю ночь, постоянно бормоча вполголоса: «Товарищ Адмирал Флота Советского Союза, на первое приготовлен борщ по-флотски... Товарищ Адмирал Флота Советского Союза...». И вот он, час испытаний.

– Товарищ адмирал, – мичман не узнал свой голос, – на первое приготовлен...

Главком дослушал рапорт до конца; свита сочувственно заулыбалась, потому что мичман назвал главкома просто «адмиралом» и всё. Это был страшный промах.

Главкому захотелось, чтоб мичман исправился на ходу и назвал бы, наконец, его полное воинское звание.

– Здравствуйте, товарищ мичман! – сказал главком.

– Здравия желаю, товарищ адмирал! – сказал мичман.

И снова промах.

Главком нахмурился и, демонстрируя безграничное терпение, поздоровался ещё раз.

– Здравия! Желаю! Товарищ! Адмирал! – мичмана замкнуло.

– Однако, – подумал главком и, продолжая держать руку у головного убора, поздоровался в третий раз.

В воздухе повисло молчание. Мичман понял, что что-то не так, но он не знал что; на лице его шла упорная работа, шёл поиск верного решения, и, пока он шёл, здесь были все самые глубинные процессы рождения человеческой мысли. Мичман исчерпался, он ничего не нашёл.

– Ур-ра!!! – вдруг громко, но тонко завыл он, чуть приоткрыв искажённый страданием рот. – Ур-раа! Ур-ра!!!

Через полчаса он уже сидел в комнате отдыха вахты, привалившись к стенке и закрыв глаза, взмокший, безразличный, осунувшийся. Дрожь в коленях ещё долго не унималась. Праздники покатались своим чередом.

Пасть

– Пасть пошире открой... Та-ак... Где тут, говоришь, твои корни торчат? Ага, вот они...

Наш корабельный док бесцеремонно, как дрессировщик ко льву, залез в пасть к Паше-артиллеристу и надолго там заторчал.

Я бы доку свои клыки не доверил. Никогда в жизни. Паша, наверное, тоже, но его так разнесло, беднягу.

– Пойду к доку сдаваться, – сказал нам Паша, и мы его перекрестили. Лучше сразу выпить цианистого калия и не ходить к нашему доку. Начни он рвать зубы манекену – и манекен убежит в форточку. Не зря его зовут «табуретом». Табурет он и есть. А командир его ещё называет – «оскотинённое человекообразное». Это за то, что он собаку укусил.

Было это так: пошли мы в кабак и напоили там дока до поросячьего визга. До состояния, так сказать, общего нестояния. Он нас честно предупредил: «Не надо, я пьяный – дурной», но мы не поверили. Через полчаса он уже пил без посторонней помощи. Влил в себя литр водки, потом шампанским отлакировал это дело и... и тут мы замечаем, что у него в глазах появляется какой-то нехороший блеск.

Первое, что он сделал, – это схватил за корму проплывающую мимо кобылистую тётку. Сжал в своей землечерпалке всю её попку и тупо наблюдал, как она верещит.

Пришлось нам срочно линять. Ведём его втроем, за руки за ноги, а он орёт, дерётся и показывает нам приёмы кун-фу. И тащили мы его задами-огородами. На тёмной улочке попадаем на мужика с кобелем. Огромная такая овчарка.

При виде кобеля док возликовал, в один миг раскидал нас всех, бросился к псу, схватил его одной рукой за хвост, другой – за холку и посредине – укусил.

Пёс вырвался, завыл, спрятался за хозяина. Он, видимо, всего ожидал от наших Вооружённых Сил, но только не этого.

Док всё рвался его ещё раз укусить, но пёс дикими скачками умчал своего хозяина в темноту. Вслед ему выл и скреб задними лапами землю наш одичавший док.

Мы потом приволокли его на корабль, забросили в каюту и выставили вахтенного. Он до утра раскачивал нашу жалкую посудину.

– Сложный зуб. Рвать надо, – оказал док Паше, и наш Паша сильно засомневался относительно необходимости своего появления на свет Божий. Но было поздно. Док впечатал свою левую руку в Пашин затылок, а правой начал методично вкручивать ему в зуб какой-то штопор.

– Не ори! – бил он Пашу по рукам. – Чего орёшь! Где ж я тебе новокаин-то достану, родной! Не ори, хуже будет!

Паша дрался до потери пульсации; дрался, плевался, мотал головой,

задрал губу, из которой, как клык кабана, торчал этот испанский буравчик.

Доку надоело сражаться. Он крикнул двух матросов, и те заломали Пашу в момент.

У Паши текло изо всех дыр под треск, хруст, скрежет. Наконец его доломали, бросили на пол и отлили двумя ведрами воды.

– Всё! – сказал ему Табурет. – Получите, – и подарил Паше его личный осколок.

На следующий день в кают-компании Паша сиял счастьем. Щека его, синюшного цвета, излучала благодущие, совершенно затмевая левый погон.

Паша ничего и никого не слышал, не видел, не замечал. Он вздыхал, улыбался и радовался жизни и отсутствию в ней всякого насилия.

Буй

Безобразно и нагло светило солнце; крупные капли росы собирались на ракетной палубе в сытые, лоснящиеся лужи; отвратительная голубизна призрачной дали рождала в душе гнусное желание побывать наконец-таки в отпуске, а воспаленное воображение рисовало одну картину омерзительнее другой.

Родное подводное «железо», битком набитое последними судорогами отечественного гения, и естественные прелести короткого выхода на подтверждение курсовой задачи, с чудесами нашей флотской организации, не вносили существенной коррективы в жгучее желание опуститься на четвереньки и кого-нибудь забодать.

Утренняя свежесть по-хамски будила, а загрязненный отрицательными ионами воздух казался скользким, как банка тушёнки.

Самолёт. Мимо пролетел чей-то самолёт, жадно объятый солнцем, и накидал вокруг какую-то дрянь. Лодка вильнула, одну эту штуку заарканили и втащили на борт.

– Связиста и начальника радиотехнической службы наверх, – сказал командир. Команда поскакала вниз, и на палубу вскоре нервно выполз связист, а за ним и начальник РТС. Вместе они признали в заарканенной штуке радиобуй.

– Американский? – спросил командир.

– Так точно! – был ему ответ, а вокруг уже теснились чудо-любители повыкусывать с бокорезами и мялись от огромного желания раскурочить врага.

Командир кивнул, и любители загалдели, обступив заграничный подарок. И тут все услышали тикание. Стало тихо.

– Чего это он? – спросил командир.

– Товарищ командир, лучше не вскрывать, – сказал начальник РТС, – это, наверное, самоликвидатор.

У любителей повыкусывать желание разобраться о врагом съёжилось до размеров висячей родинки.

– Может, пихнуть его в попку – и пусть плавает?

– Товарищ командир, если его не вскрывать, его можно хоть год спокойно возить.

– М-да?

– Да.

– Ладно, привезём в базу и разберёмся.
– Товарищ командир, – вспомнил тут связист, – у них там диктофон стоит и всё передаёт на Штаты.

– М-да?

– Да.

– Тогда все вниз!

Наверху задержался только командир. Он подождал, пока все исчезли, и нагнулся к тому месту, где, по его мнению, должен был быть диктофон.

– Слышь меня, ты, вонючий американский козёл, распуши там свои локаторы! Так вот, красную, облупленную культяпку вам всем на воротник в чугунном исполнении от советской власти! – и дальше полилось такое, такое лихое-оберточное, что покорило бы терпеливую бумагу, уши у неподготовленных свернулись бы в трубочку и сами бы сунулись в соответствующее место.

Командир увлекся, лил не переставая, в самозабвении приседал, показывал руками, дополнял на пальцах, засовывал их себе в рот, чмокал и вкусно облизывал. При этом лицо его светилось жизнью и каким-то радостным задором. Одним словом, жило, пульсировало, существовало.

Когда буй привезли в базу, то оказалось, что это наш буй.

Орден Хрена Лысого

Нашего комдива – контр-адмирала Артамонова – звали или Артемоном, или «генералом Кешей». И всё из-за того, что при приёме задач от экипажей он вёл себя в центральном посту по-генеральски: то есть как вахлак, то есть – лез во все дыры.

Он обожал отдавать команды, брать управление кораблем на себя и вмешиваться в дела штурманов, радистов, гидроакустиков, рулевых и трюмных.

Причём энергии у него было столько, что он успевал навредить всем одновременно.

А как данная ситуация трактуется нашим любимым Корабельным Уставом? Она трактуется так: «Не в своё – не лезь!».

Но тактично напомнить об этом адмиралу, то есть сказать во всеуслышанье: «Куды ж вы лезете?», ни у кого язык не поворачивался.

Вышли мы однажды в море на сдачу задачи с нашим «генералом», и была у нас не жизнь, а дикий ужас. Когда Кеша в очередной раз полез к нашему боцману, у нас произошла заклинка вертикального руля, и наш обалдевший от всех этих издевательств подводный атомоход, пребывавший в надводном положении, принялся выписывать по воде концентрические окружности, немало удивляя уворачивавшиеся от него рыбацкие сейнеры и наблюдавшую за нашим безобразием разведшхуну «Марианна».

Потом Кеша что-то гаркнул трюмным, и они тут же обнулили штурману лаг.

И вот, когда на виду у всего мирового сообщества у нас обнулился лаг, в центральном появился наш штурман, милейший Кудинов Александр Александрович, лучший специалист, с отобранным за строптивость званием – «последователь лучшего специалиста военных лет».

У Александра Александровича была кличка «Давным-давно». Знаете

гусарскую песню «Давным-давно, давным-давно, давн-ны-ым... давно»? Так вот, наш Александр Александрович, кратко – Ал Алыч, был трижды «давным-давно»: давным-давно – капитаном третьего ранга, давным-давно – лысым и давным-давно – командиром штурманской боевой части, а с гусарами его роднила привычка в состоянии «вне себя» хватать что попало и кидаться в кого попало, но так как подчиненные не могли его вывести из себя, а начальство могло, то кидался он исключительно в начальство.

Это было настолько уникально, что начальство сразу как-то даже не соображало, что в него запустили, допустим, в торец предметом, а соображало только через несколько суток, когда Ал Алыч был уже далеко.

На этот раз он не нашёл чем запустить, но зато он нашёл что сказать:

– Какой... (и далее он сказал ровно двадцать семь слов, которые заканчиваются на «ак». Какие это слова? Ну, например, лошак, колпак, конак...)

– Какой... – Ал Алыч позволил себе повториться, – мудак обнулil мне лаг?!

У всего центрального на лицах сделалось выражение «проглотила Маша мячик», после чего все в центральном стали вспоминать, что они ещё не сделали по суточному плану. Генерал Кеша побагровел, вскочил и заорал:

– Штурман! Вы что, рехнулись, что ли? Что вы себе позволяете? Да я вас...

Не в силах выразить теснивших грудь чувств, комдив влетел в штурманскую, увлекая за собой штурмана. Дверь штурманской с треском закрылась, и из-за неё тут же послышался визг, писк, топот ног, вой крокодила и звон разбиваемой посуды.

Пока в штурманской крушили благородный хрусталь и жрали человечину, в центральном чутко прислушивались – кто кого. Корабль в это время плыл куда-то сам.

Наконец, дверь штурманской распахнулась настезь. Из неё с глазами надетого на кол филина выпорхнул комдив. Пока он летел до командирского кресла, у него с головы слетел редкий начёс, образованный мученически уложенной прядью метровых волос, которые росли у комдива только в одном месте на голове – у левого уха.

Начёс развалился, и волосы полетели вслед за комдивом по воздуху, как хвост дикой кобылицы.

Комдив домчался и в одно касание рухнул в кресло, обиженно скрипнув. Волосы, успокоившись, свисли от левого уха до пола.

Штурман высунулся в дверь и заорал ему напоследок:

– Лы-сс-ы-й Хрен!

На что комдив отреагировал тут же и так же лапидарно:

– От лысого слышу!

Кеша-генерал долго переживал этот случай. Но надо сказать, что, несмотря на внешность охамевшего крестьянина-середняка, он не был лишен благородства. Когда Кудинова представили к ордену и документы оказались на столе у комдива, то сначала он завозился, закричал, сделал вид, будто тужится вспомнить, кто это такой – Кудинов, потом будто вспомнил:

– Да, да... неплохой специалист... неплохой... – и подписал, старательно выводя свою загогулину.

Но орден штурману так и не дали. Этот орден даже до флота не дошёл, его где-то наверху свистнули. Так и остался наш штурман без ордена. И вот тогда-то в утешение, вместо ордена, комдив и снял с него ранее наложенное взыскание, то самое – «за хамское поведение со старшим по званию», а вся эта история получила у нас название: «награждение орденом Хрена Лысого».

По Персидскому заливу

Тихо. По Персидскому заливу крадёт плавбаза подводных лодок «Иван Кожемякин». На мостике – командир. Любимые выражения командира – «серпом по яйцам» и «перестаньте идиотничать!». Ночь непроглядная. В темноте, справа по борту, угадывается какая-то фелюга береговой охраны. Она сопровождает нашу плавбазу, чтоб мы «не туда не заехали».

– Ракету! – говорит командир. – А то в эту темень мы его ещё и придавим невзначай, извиняйся потом по-английски, а я в школе, если всё собрать, английский учил только полчаса.

С английским у командира, действительно... запор мысли, зато уж по-русски – бурные, клокочущие потоки. В Суэцком канале плавбаза головной шла, и поэтому ей полагался лоцман. Когда этот тёмный брат оказался на борту, он сказал командиру:

- Монинг, кэптан!
- Угу, – ответил командир.
- Хау ду ю ду?
- Ага.

А жара градусов сорок. наших на мостике навалом: зам, пом, старпом и прочая шушера. Все в галстуках, в фуражках и в трусах – в тропической форме одежды. Из-под каркаса протекают головы. Это кэп всех вырядил: неудобно, вдруг «хау ду ю ду» спросят.

- Ду ю спик инглиш?
- Ноу.
- О, кэптан!

Кэп отвернулся в сторону своих и процедил:

– Я ж тебя не спрашиваю, макака-резус, чего это ты по-русски не разговариваешь?

Ночью всё-таки получше. Прохладней.

– Дайте им ещё ракету, – говорит командир, – чего-то они не реагируют.

Плавбаза стара, как лагун под пищевые отходы. Однажды дизеля встали – трое суток плыли сами куда-то тихо в даль, и вообще, за что ни возьмись, всё ломается.

Катерок опять не отвечает.

– А ну-ка, – говорит командир, – ослепите-ка его прожектором!

Пока нашли, кому ослеплять, чем ослеплять, прошло немного времени. Потом решали, как ослеплять. Посланный включил совсем не то, не с того пакетника, и то, что он включил, кого-то там чуть не убило. Потом включили как надо, но опять не слава Богу.

- Товарищ командир, фазу выбило!
- Ах, курвы, мокрощелки варёные, электриков всех сюда!

Уже стоят на мостике все электрики. Командир, вылив на них несколько ночных горшков, успокаивается и величаво тычет в катерок.

– Ну-ка, ослепите мне его!

Прожектор включился, но слаб, зараза, не достаёт. Командир смотрит на механика и говорит ему подряд три наши самые любимые буквы.

– На камбузе, товарищ командир, есть, по-моему, хорошая лампочка, – осеняет механика, – на камбузе!

– Так давайте её сюда.

С грохотом побежали на камбуз, вывинтили там, с грохотом прибежали назад, ввинтили, включили – чуть-чуть лучше.

И вдруг – столб огня по глазам, как солнце, ни черта не видно, больно. Все хватаются, защищаются руками. Ничего непонятно.

Свет метнулся в сторону, все отводят руки от лица. Ах, вот оно что: это катерок осветил нас в ответ своим сверхмощным прожектором.

– Товарищ командир, – спросили у кэпа после некоторого молчания, – осветить его в ответ прожектором?

– В ответ? – оживает командир. – Ну нет! Хватит! А я ещё, старый дурак, говорю: ослепите этого братана из Арабских Эмиратов. Ха! А мне бы хоть одна падла сказала бы: зря вы, товарищ командир, изготовились и ждёте, зря вы сусало своё дремучее раздолдонили и слюни, понимаешь, ожидаючи, напустили тут целое ведро. Нет! А я ещё говорю: ослепите его! М-да! Да если он нас ещё разик вот так осветит своим фонариком, мы все утонем! Ослепители! Свободны все, великий народ!

Пустеет. На мостике один командир. Он страдает.

Изолятор

Корабельный изолятор. Тёмный, тесный, как сумка сумчатого млекопитающего. Справа, как войдёшь, докторский гальюн, прямо перед вами – двухъярусная койка, слева – окно, прорубленное в амбулаторию. Конечно, в амбулаторию можно попасть и из отсека, через дверь, но если не терпится, то ныряешь в эту прорубь, только для начала нужно встать на стол в позу медицинского телевизора (если не знаете, что это такое, – счастливые вы люди), а потом на четвереньках, вверх ногами сползти, обязательно ударишься коленкой...

Изолятор предназначен для зачумлённых; в отсутствие таковых, в автономке, на нижнюю койку заваливается доктор, на верхнюю – особист (особый офицер).

У командования корабельный медик ассоциируется с тараканами.

– Что это у вас стасики бегают? Расплодили! Это ж невозможно, доктор, о чём вы думаете? На рожу же падают! Вот и мне вчера...

А ещё... наш док знаменит тем, что зуб в море может выдрать только по подразделениям – «Делай – раз! Делай – два!»; и ещё «посев» он может вставить с помощью пробирки всему личному составу. Происходит это так:

– Сразу штаны снимать надо. Ну? Как избушка на курьих ножках, поворачивайся к лесу передом, ко мне – задом. Наклонись. Да не надрывайся ты так заранее, душа выскочит. Так... расслабься...

Пробирка ощущается по нарастающей.

– А-а-а!... – произвольно говорит твой внутренний голос.

– Ну, вот и всё, а ты боялась! – говорит тебе док. – А теперь нарисуем в нашей посуде ваши координаты...

Всё, что выше пробирки, для дока сложно, но, как всякий врач, он любит отрезать и пришить. Правда, для этого непременно нужно отловить его в бодром состоянии.

В автономке док мучается. Бессонница. По двадцать часов кряду им изобретаются позы для сна, и, когда явь начинает терять свои очертания, в изолятор обязательно кто-нибудь вползёт. Вот как теперь: матрос Кулиев, с камбуза, жирный насквозь, поскользнулся на трапе, головой встретился с ящиком, в результате чего ящик – всмятку, Кулиев – цел, на лбу кровь. Три часа ночи. Кулиев осторожно прикрывает за собой тяжёлую дверь изолятора, после этого сразу же наступает антрацитная темень. Только со света, он стоит как столб, привыкает, ни черта не видно.

Док чувствует жаброй, что явились по его душу (не к особисту же), но ему не хочется верить (может, все-таки к особисту?), он затаивается, сдерживает дыхание; может, пронесёт? Кулиев начинает искать дока: осторожно наклоняется, шарит наощупь, дышит, приближается. Док сжимается, закрывает плотно глаза. Тишина. Кулиев находит подушку, вглядывается: там должна быть голова. Док открывает глаза. Ясно. Ни минуты покоя. Целый день сидишь под лампой солюкс, как брюхоногое, и ни одна падла не заглянет, только лёг – и «Здравия желаю»: являются. Кровавая рожа зависает над доком. Теперь они смотрят друг другу в зрачки. Кулиев по-прежнему ничего не видит. Всё это так близко, что дока можно понюхать. Кулиев, кажется, этим и занимается: сопенье, пахнущее камбузными жирами, шёпот:

– Тащщщ майор... тащщщ майор!... Это вы?...

– Нет! – отчаянно орёт док. – Это не я!

От неожиданности Кулиев бьётся затылком, и дальше из дока вырывается первая фраза клятвы Гиппократата:

– Как вы мне... надоели... Бог ты мой! – стон Ярославны и вторая фраза: – Как вы мне насто... чертели... как вы мне настопиздели...

Кулиев, обалдевший, окровавленный, поворачивается и, имея за спиной докторские причитания, выходит.

Оставленный в покое док, страдая всем телом, кряхтит, устраивается, затихает, в мозгу его события теряют целесообразность, цепочки рвутся, мельканья какие-то, которые потом, перекосившись, оседают и тают, тают...

Особист, к этому моменту окончательно проснувшийся, злой как собака (доктор – зараза), сползает с верхнего яруса и выходит в отсек, где постояв какое-то время, поматерившись, он отправляется в соседнее помещение, заходит на боевой пост и находит там вахтенного:

– Телефон работает?

– Да.

– Позвони сейчас доку, и, как только он снимет трубку, дашь отбой, понял?

– Это можно.

У дока телефон в амбулатории. Звонок требовательный, долгий, не вылежишь: а вдруг командир звонит, таблетки ему нужны, дурню старому, чтоб у него почки оторвались.

Ругаясь площадно, док, в трусах, вползает на стол в позу телевизора, на

четвереньках сползает через окошко в амбулаторию, ударяется коленкой (как и положено), шипит и с уничтоженным здоровьем подползает к телефону: «А-ле?» – и трубка вешается ему прямо в ухо. Ровно пять минут, дрожа эпителием, док виртуозно матерится с трубкой у рта. Особист к этому моменту уже стоит под дверью амбулатории и, присосавшись ухом, с блаженной рожой истинного ценителя слушает. Райское пение. Через пять минут («Погоди, пусть уснет хорошенько») процедура повторяется. Док фонтанирует, речевой запас у него, оказывается, гораздо богаче. Наконец, док выливается весь. Тысяч пять слов, никак не меньше. Да-а...

– А сейчас, – говорит особист, прищурившись, – скажешь ему: «Извините, я не туда попал».

– Ах ты курва! – кричит док; потом речь у него кончается, начинаются конвульсии, судороги, пена из ушей, затем он вешает трубку и смотрит вокруг. Кого бы убить? Садится, чтоб успокоиться. Успокоился. Дыхание глубокое, тоны сердца чистые, желудок мягкий.

Зажигает свет. Сейчас слетятся, как мухи на фонарь. С поносами, с запорами, с шишками, с гастритами, с жопами. Опять кто-то упал... не до конца, лучше б тебя мама не рожала!...

Особист находит Кулиева в умывальнике, где тот под струёй лечит свой скальп, и стучит по его толстому заду.

– Давай, иди, доктор ждёт. Уже можно. И не дай Бог, он тебя не перевяжет, мне скажешь...

– Разрешите, товарищ майор?

– Ну заходи, заходи, не тряси мошонкой. Ну, где тут твоя голова? Да-а... молодец. Были бы мозги, точно б вылетели. Садись сюда... О, Господи.

Спишь, собака!

Военнослужащего бьют, когда он спит. Так лучше всего. И по голове – лучше всего. Тяжёлым – лучше всего. Раз – и готово!

Фамилия у него была – Чан, а звали, как Чехова, – Антон Палыч. Наверное, когда называли, хотели нового Чехова.

Он был строен и красив, как болт: большая голова шестьдесят последнего размера, плоская сверху; розовая аккуратная лысина, сбегаящая взад и вперёд, украшенная родинками, как поляна грибами; седые лохмотья, обмотав уши, залезали на уложенный грядкой затылок; в глазах – потухшая пустыня.

Герой-подводник. К тому же боцман. Двадцать календарей. Ненасытный герой.

Он всё время спал. Даже на рулях. Каждую вахту.

Он спал, а командир ходил и ныл – пританцовывая, как художник без кисти: так ему хотелось дать чем-нибудь по этому спящему великолепию. Не было чем. Везде эта лысина. Она его встречала, водила по центральному и нахально блестела в спину.

Штурман появился из штурманской рубки, шлёпнув дверь. Под мышкой у него был зажат огромный синий квадратный метр – атлас морей и океанов,

– Стой! Дай-ка сюда эту штуку.

Штурман протянул командиру атлас. Командир легко подбросил

тяжёлый том.

– Тяжела жисть морского лётчика! – пропел командир в верхней точке, бросив взгляд в подволок.

Лысина спело покачивалась и пришепетывала. Атлас, набрав побольше энергии, замер – язык набок, и, привстав, командир срубил её, давно ждущую своего часа.

Атлас смахнул её, как муху. Икнув и разметав руки, Чан улетел в прибор, звонко шлёпнулся и осел, хватаясь в минуту опасности за рули – единственный источник своих благосостояний.

Рули так здорово переложились на погружение, что сразу же заклинили.

Лодка ринулась вниз. Кто стоял – побежал головой в переборку; кто сидел – вылетел с изяществом пробки; в каютах падали с коек.

– **Полный назад! Пузырь в нос!** – орал по-боевому ошалевший командир.

Долго и мучительно выбирались из зовущей бездны. Долго и мучительно, замирая, вздрагивая вместе с лодкой, глотая воздух.

С тех пор, чуть чего, командир просто выбивал пальчиками по лысине Антон Палыча, как по крышке рояля, музыкальную дробь.

– Ан-то-ша, – осторожно наклонялся он к самому его уху, чтоб ничего больше не получилось. – Спи-шь? Спишь, собака...

Оздоровление

Как ноготь на большом пальце правой ноги старпома может внезапно оздоровить весь экипаж? А вот как!

От долгого сидения на жестком «железе» толстый, жёлтый, словно прокуренный ноготь на большом пальце правой ноги старпома впился ему в тело. Это легендарное событие было совмещено со смешками в гальюне и рекомендациями чаще мыть ноги и резать ногти. Кают-компания ехидничала:

– Монтигомо Ястребиный Коготь.

– Григорий Гаврилович до того загружен предъядерной вознёй, что ему даже ногти постричь некогда.

– И некому это сделать за него.

– А по уставу начальник обязан ежедневно осматривать на ночь ноги подчиненного личного состава.

– Командир совсем забросил старпома. Не осматривает его ноги. А когда командир забрасывает свой любимый личный состав, личный состав загнивает.

И поехало. Чем дальше, тем больше. Улыбкам не было конца. Старпом кожей чувствовал – ржут, сволочи. Он прохромал ещё два дня и пошёл сдаваться в госпиталь.

Медики у нас на флоте устроены очень просто: они просто взяли и вырвали ему ноготь; ногу, поскольку она осталась на месте, привязали к тапочку и выпустили старпома на свободу – гуляй.

Но от служебных обязанностей у нас освобождают не медики, а командир. Командир не освободил старпома.

– А на кого вы собираетесь бросить корабль? – спросил он его.

Старпом вообще-то собирался бросить корабль на командира, и поэтому

он почернел лицом и остался на борту. Болел он в каюте. С тех пор никто никогда не получал у него никаких освобождений.

– Что?! – говорил он, когда корабельный врач спрашивал у него разрешения освободить от службы того или этого. – Что?! Постельный режим? Дома? Я вас правильно понял? Поразительно! Температура? А жена что, жаропонижающее? Вы меня удивляете, доктор! Болеть здесь. Так ему и передайте. На корабле болеть. У нас все условия. Санаторий с профилакторием, ядрёна мама. А профилактику я ему сделаю. Обязательно. Засандаю по самый пищевод. Что? Температура тридцать девять? Ну и что, доктор? Ну и что?! Вы доктор или хрен в пальто! Вот и лечите. Что вы тут мечетесь, демонстрируя тупость? Несите сюда этот ваш градусник. Я ему сам измерю. Ни хрена! Офицер так просто не умирает. А я сказал, не сдохнет! Что вам не ясно? Положите его у себя в амбулатории, а сами – рядышком. И сидеть, чтоб не сбежал. И кормить его таблетками. Я проверю. И потом, почему у вас есть больные? Это ж минусы в вашей работе. Где у вас профилактика на ранних стадиях? А? Мне он нужен живьём через три дня. На ногах чтоб стоял, ясно? Три дня даю, доктор. Чтоб встал. Хоть на подпорках. Хоть сами подпирайте. Запрещаю вам сход на берег, пока он не выздоровеет. Вот так! Пропуск ваш из зоны сюда, ко мне в сейф. Немедленно. Ваша матчасть – люди. Усвойте вы наконец. Люди. Какое вы имеете моральное право на сход с корабля, если у вас матчасть не в строю? Всё! Идите! И вводите в строй.

Вот так-то! С тех пор на корабле никто не болел. Все были здоровы, ядрёна вошь! А если кто и дёргался из офицеров и мичманов, то непосредственный начальник говорил ему, подражая голосу старпома:

– Болен? Поразительно! В рот, сука, градусник и закусить. Жалуйтесь. Пересу де Куялеру, ядрёна мама!

А матросов вообще лечили лопатой и на канаве. Трудотерапия. Профессьон де фуа, короче говоря.

Вот так-то.

Ядрёна мама!

В засаде

ОУС – отдел устройства службы – призван следить, чтоб все мы были единообразные. Единообразие – закон жизни для русского воинства. Но единообразие не исключает своеобразия.

Капитан первого ранга из отдела устройства сидел в засаде. Капитаны первого ранга вообще испытывают сильную склонность к засаде, особенно из отдела устройства службы. Капитан первого ранга сидел рядышком с дверью КПП – нашего контрольно-пропускного пункта. Дверь открывалась, и он пополнял список нарушителей. (Ну, то есть он записывал туда тех, у кого имеются нарушения в форме одежды: в прическах, в ботинках, в носках и в отдании воинской чести).

Список с нарушителями должен был к вечеру лечь на стол к командующему. О, это очень серьёзно, если нужно лечь на стол к командующему. Лучше уж вместо этого заново пройти все стадии овуляции.

Дверь КПП распахнулась в тридцатый раз, и в неё вывалился капитан третьего ранга (нет-нет-нет! он был совершенно трезв, просто

поскользнулся на обледенелых ступеньках) – вывалился и приземлился на свой геморрой, и, как только он, с крылатыми выражениями, начал подниматься и ощупывать через разрез на шинели сзади свой геморрой, к нему шагнул капитан первого ранга из засады.

– Товарищ капитан третьего ранга, – сказал он, – а почему вы не отдаёте воинскую честь старшему по званию? – сказал и заглянул в глаза геморроидальному капитану.

В глазах у геморроидальных капитанов есть на что посмотреть, но этот смотрел как-то совсем по-птичьи; заострив лицо и собрав глаза в могучую кучку у переносицы.

Капитан первого ранга потом вспоминал, что в тот самый момент, когда он заглянул в глаза тому капитану, в душе у него, где-то там внутри, на самом кончике, что-то отстегнулось, а из глубины (души) потянуло подвальной сыростью и холодным беспокойством, так бывало в детстве, когда в темноте чердачной чувствовалось чьё-то скользкое присутствие.

Они смотрели друг на друга секунд двадцать. Кроме глаз у капитана и в лице тоже было что-то нехорошее, не наше, насквозь больное, так смотрит только юродивый, ненормальный, наконец. Неожиданно капитан качнулся и стал медленно оседать в снег.

– Ой-ой-ой, мамочки! – шептал он и, сидя на корточках, смотрел в живот капитану первого ранга.

Лицо и плечи у блаженного капитана немедленно задёргались, руки вместе с ногами затряслись, голова, отломившись, замоталась; бессмысленное лицо, бессмысленный рот, нижняя челюсть! Всё это, сидя, подскакивало, подрагивало, подшлёпывало, открывало-закрывало, выбивало дробь и продолжалось целую вечность. Капитан первого ранга из отдела устройства службы даже не замечал, что он давно уже сидит на корточках рядом с несчастным капитаном, заглядывает ему в рот, невольно повторяя за ним каждое идиотское движение; он вдруг почувствовал, что этот чахоточный придурок сейчас умрёт у него на руках, а рядом никого нет и потом ты никому ничего не докажешь.

– Чёрт меня дёрнул! – воскликнул капитан первого ранга из отдела устройства службы, и он подхватил чокнутого капитана под мышки и помог ему затвердеть на ногах. Тронутый потихоньку светлел, синюшность пропадала пятнами, глазам возвращалась мысль, дыханию – свежесть.

– Простите! – прохрипел он, всё ещё нет-нет да и повисая на капризе и малахольно махая ему головой.

– Простите! – приставал он. – Я вам сейчас отдам честь! Я вам сейчас отдам! – а капитан первого ранга из засады говорил только: «Да-да-да, хорошо-хорошо» – и мечтал кому-нибудь его вручить.

Сзади загрохотало, и они одновременно повернули туда свои головы: ещё один капитан третьего ранга пролетел через дверь, поскользнувшись на тех же ступеньках. Капитан первого ранга из отдела устройства службы не стал дожидаться, когда этот новый капитан найдёт через разрез на шинели сзади свой копчик и наощупь внимательно его изучит.

– Эй! – закричал он, калеча свой голос, тому, новому капитану. – Сюда! Ко мне! Скорей!

– Вот! – сказал он, передавая ему малахольного капитана. – Вот! Возьмите его! Ему плохо! От имени командующего прошу вас довести его

домой.

– Ну, если «от имени командующего», тогда конечно.

– Тебе правда нехорошо? – спросил второй капитан у первого, когда они подальше отошли.

– Правда, – сказал тот и улыбнулся.

Они ещё долго ковыляли вдаль, всё ковыляли и ковыляли, а капитан первого ранга из отдела устройства службы всё смотрел им вслед, всё смотрел, благодарно вздыхал, улыбался и радостно отхаркивался в снег. Сзади загрохотало, он обернулся и достал свой список – это прилетел очередной капитан третьего ранга, поскользнулся и приземлился на свой геморрой.

Торпедная атака

Часть первая

«Не пли! Не пли!»

Торпедная атака!

Это венец боевой подготовки!

Это сгусток нервов!

Это нутро в кулаки!

Торпедная атака!

Это сплав человека-металла,

И на всех одна душа,

И её на куски!

А ты чувствуешь, чувствуешь

Спиной,

Затылком,

Загривком

Дрожь ретивого корпуса!

А вокруг боевая тишина,

А вокруг искажённые лица.

«Пятый, шестой аппараты товсь!» –

Визжит товарищ центральный.

«Есть, товсь!» –

Мочеточки втянулись и сжались в комочки!!!

И секунды текут, как капли цикуты в рану,

«Пли!!!» –

И упоенье, упоенье...

«Ой, не пли, не пли!» – приседает

горько старпом,

Забывший ввести какую-то «омегу»,

Подкирпичили!

И столько нервов!

Сгустки!

По палубе!

Белый стих – торпедная атака!

Я не знаю, что в последнее время творится с нашей торпедной

стрельбой. То торпеды всплывут в точке залпа, то там же утонут, то с обеспечивающим не договоришься, а то удираешь от своей же собственной торпеды. Выпустишь её, послушаешь – и во все лопатки чешешь от неё, ловко маневрируя, уклоняясь, отрабатывая винтами, потому что она взяла и на крутом вираже пошла обратно. Да-а-а... А недавно, только мы в море вышли и всё вроде нормально – и тут акустики докладывают: «Справа двадцать, слышим шум винтов торпеды». – «Какая торпеда?!» – кричит наш любимый старший помощник. «Не знаем, – говорят акустики, – но только пеленг не меняется». – «Как не меняется?!» – кричит снова старпом. «А так», – отвечают акустики. И тут командир старпому: «Ворочай! Ворочай! Скорей ворочай» – и мы ворочаем! ворочаем! ворочаем! Просто чудеса. «Интересно, – говорили потом в кают-компании, – кто ж это по нам так стрельнул? Старпом чуть не обгадился».

– Кто написал эту гадость?! – зам держал двумя пальчиками за угол исписанный боевой листок. (Кают-компания. Обед второй боевой смены). – Им всё шуточки! Мичману такое не написать. Нет. Не сообразит. Тут офицерье постаралось. Это уж точно!

– Николай Степанович! (Голос старпома).

– Я же ещё и извиняюсь! Вот, товарищи! (Товарищи от сочувствия перестали жевать). Как некоторые наши офицеры расписывают наши выходы на торпедные стрельбы! У нас идёт срыв за срывом боевой задачи, а им смешно! Они забавляются. А я-то всё думаю, и куда это у меня деваются бланки боевых листков. Из-под матраса! Один за другим всё исчезают и исчезают! Писал, гадёныш, старался! Сразу-то, видно, не получалось! – ерничает зам.

– Николай Степанович. (Старпом).

– О вас там, кстати, тоже написали. Мне всё это на дверь каюты приклеили. Восемьдесят восьмым клеём! Еле отодрал! Все матросы уже эту галиматью читали, не говоря об офицерах и мичманах! А я сплю и не подозреваю! Найду, убью живьём! Мочеточки у него втянулись в комочки! Сучара!!

– Николай Степанович.

– Сукин кот.

Часть вторая

(изложенная в боевом листке, повешенном на стенке в кают-компании на следующий день).

Командира БЧ-5 нашего подводного ракетно-торпедного корабля зовут Траляляичем!

Если вы нарисуете себе в воображении нос картошкой, рот от уха до уха и никогда не чесанные волосы, вы поймете, кому Родина доверила боевую часть пять! Она доверила её большому философу. Во всех случаях жизни он тихонечко напевает: «Тра-ля-ля» – особенно во время нахлобучек.

Вышли мы в очередной раз на торпедную стрельбу. (Надо же когда-то и торпедами выстрелить!) Изготовились...

– Боевая тревога! Торпедная атака!

– Тра-ля-ля, – поёт Траляляич, – тра-ля-ля, боевая часть пять к

торпедной атаке готова, тра-ля-ля.

– Пятый, шестой аппараты товсь!

(– Тра-ля-ля!)

– Есть, товсь!

Тишина. Даже Траляляич молчит.

– Пли!!!

И шум воздуха раздаётся в «каштане». Есть, пли! Общий вздох. Выпихнули! На-к-конец-то!!

– Товарищ командир, – доложили командиру, – торпеды вышли.

– Тра-ля-ля, – поёт Траляляич. – тра-ля-ля!

– Бип, акустики, слышу шум винтов торпеды...

– Тра-ля-ля...

С корабля-мишени доложили:

– Цель поражена.

Но первое, что обнаружилось по приходе в базу в пятом и шестом аппарате, так это торпеды! Оказывается, никуда они не уходили! Что же слышали наши акустики? Чем же шумело в «каштане»? Что же так поразило нашу мишень?

– Тра-ля-ля, – пел целый день Траляляич, которого целый день таскали за волосы из кабинета в кабинет. В конце дня у него украли восемьдесят восьмой клей, а у зама из-под матраса в который раз свистнули боевые листки.

Часть третья

(Эпилог, который легко мог бы быть и прологом).

– Сучара! Кто это опять мне приклеил?! Вахта! Вахтенный! Где наша вахта?! Вот сучок! И не отодрать! Вычислю – убью!

Разнос

Подводная лодка стоит в доке, в заводе, в приличном, с точки зрения вина и женщин, городе. В 20.00 на проходной палубе третьего отсека встречаются командир ракетноносца – он только что из города – и капитан-лейтенант Козлов (двенадцать лет на «железе»). Последний, по случаю начавшегося организационного периода и запрещения схода с корабля, пьян в сиську.

Командир слегка «подшофе» (они скушали литра полтора). У командира оторвался козырек на фуражке. Видимо, кто-то сильно ему её нахлобучил. Между козырьком и фуражкой образовалась прорезь, как на шлеме у рыцаря, в которую он и наблюдает Козлова. Тот силится принять строевую стойку и открыть пошире глаза. Между командиром и Козловым происходит следующий разговор:

– Коз-ззз-лов! Е-дре-на вош-шь!

– Тащ-щ ко-мн-дир!

– Коз-ззз-лов! Е-д-р-е-н-а в-о-ш-ь!

– Тащ-щ... ко-мн-дир!...

– Коз-ззз-лов! Ел-ки-и!...

Выговаривая «едрёна вошь» и «ёлки», командир всякий раз,

наклонившись всем корпусом, хватается за трубопроводы гидравлики, проходящие по подволоку, иначе ему не выговорить.

Всем проходящим ясно, что один из собеседников сурово спрашивает, а другой осознаёт своё безобразие. Проходящие стараются проскользнуть, не попадаясь на глаза командиру.

Подходит зам и берёт командира за локоток:

– Товарищ командир.

Командир медленно разворачивается, выдирает свой локоть и смотрит на зама через прорезь. Лицо его принимает выражение: «Ах ты, ах ты!». Сейчас он скажет заму всё, что он о нём думает. Всё, что у него накипело.

– Товарищ командир, – говорит зам, – у вас козырек оторвался.

Глаза у командира тухнут.

– М-да-а?... – говорит он, скользя взглядом в сторону. – Хорошо... – и тут его взгляд снова попадает в Козлова. Тот силится принять строевую стойку.

– Козлов!!! – приходит в неистовство командир. – Коз-ззз-лов!!!
Е-д-р-е-н-а в-о-ш-ь!!

– Тащ-щ... ко-мн-дир...

Правду в глаза

Назначили к нам на экипаж нового зама. Пришёл он к нам в первый день и сказал:

– Давайте говорить правду в глаза. В центре уже давно говорят правду в глаза. Давайте и мы тоже будем говорить.

И начали мы говорить правду в глаза: первым рубанули командира – выбросили его из партбюро за пьянство – взяли и выкинули, а вдогонку ещё и по лысине треснули – выговор воткнули, но и этого показалось мало – догнали и ещё ему навтыкали, пока он не успел опомниться – переделали выговор на строгий выговор. Потом его потащили за чуприну на парткомиссию, и парткомиссия до того от перестройки в беспамятство впала, что утвердила ему не просто строгий выговор, а ещё и с занесением.

Командир сначала от всех этих потрясений дара речи лишился и всю эту процедуру продержался в каком-то небывалом отупении.

Потом он себе замочил мозги на сутки в настое радиолы розовой, пришёл в себя и заорал на пирсе:

– Ме-ня-яяя!!! Как ссс-ра-но-го ко-тааа!!! Этот пидор македонский! Этот перестройщик ушастый! Гандон штопаный!!! И-я-я-я! Дни и ночи-и-и! Напролёт... как проститутка-ааа! В одной и той же позе-еее! ...Не ме-ня-я бе-ль-яя! Насиловали все кому не лень! Брала за уши и... Я не спал... не жрал... У меня кожа на роже стала, как на жжжж-пе у кррроко-дила! Откуда он взялся на мою лысую голову?! Откуда?! Где нашли это чудо природы?! Где он был, когда я автономил? Где?! Я вам что!!!

После этого два дня было тихо. Потом от нас зама убрали.

Чёрный песец

Есть такой на флоте зверь – «чёрный песец», и водится он в удивительных количествах. Появляется он всегда внезапно, и тогда говорят: «Это «чёрный песец» – военно-морской зверь».

...Первый час ночи; лодка только с контрольного выхода, ещё не успели как следует приткнуться, привязаться, принять концы питания с берега, а уже звонками всех вызвали на пирс, построили и объявили, что завтра, а вернее, уже сегодня, в десять утра, на корабль прибывает не просто так, а вице-президент Академии наук СССР вместе с командующим, а посему – прибытие личного состава на корабль в пять утра, большая приборка до девяти часов, а затем на корабле должны остаться: вахта, командиры отсеков и боевых частей, для предъявления. В общем, смотрины, и поэтому кто-то сразу отправился домой к жёнам, кто-то остался на вахте и на выводе нашей главной энергетической установки, а кто-то, с тоски, лёг в каюте в коечку и тут же... кто сказал «подох»? – тут же уснул, чтоб далеко не ходить.

К девяти утра сделали приборку, и корабль обезлюдел; в центральном в кресле уселся командир, рядом – механик, комдив три, и остальные-прочие из табеля комплектации центрального поста; весь этот человеческий материал разместился по-штатному и предался ожиданию. Волнение, поначалу способствующее оживлению рецепторов кожи, потихоньку улеглось, состояние устоялось, и сознание из сплошного сделалось проблесковым.

Вице-президента не было ни в десять, ни в одиннадцать, где-то в полдвенадцатого обстановку оживил вызов «каштана», резкий, как зубная боль, – все подскочили. Матрос Аллахвердиев Тимуртаз запросил «добро» на продувание гальюна третьего отсека.

– Комдив три! – сказал командир с раздражением.

– Есть!

– Уймите свой личный состав, уймите, ведь до инфаркта доведут!

– Есть!

– И научите их обращаться с «каштаном»! Это боевая трансляция. Научите, проинструктируйте, наконец, а то ведь утопят когда-нибудь нас, запросят вот так «добро» и утопят!

– Есть!

Трюмный Аллахвердиев Тимуртаз был в своё время послан на корабль самим небом. Проинструктировали его не только по поводу обращения с «каштаном», но и по поводу продувания гальюна. Происходило это так:

– Эй, там внизу, «баш уста», ты где там?

– Я здэс, таш мычман!

– Ты знаешь, где там чего открывать-то, ходячее недоразумение?

– Так точно!

– Смотри мне, сын великого народа, бортовые клапана не забудь открыть! Да, и крышку унитаза прижми, а то там заходка не пашет, так обделаешься – до ДМБ не отмоешься, мама не узнает!

– Ест...

– А ну, докладывай, каким давлением давить будешь?

– Э-э... всё нормально будет.

– Я те дам «всё нормально», знаем мы: смотри, если будет, как в прошлый раз, обрез из тебя сделаю.

– Ест...

Бортовые клапана Тимуртаз перепутал: он открыл, конечно, но не те. Потом он тщательно закрыл крышку унитаза, встал на неё сверху и вдул в баллон гальюна сорок пять кило вместо двух: он подумал, что так быстрее

будет. Поскольку «идти» баллону гальюна было некуда, а Тимуртаз всё давил и давил, то баллон потужился-потужился, а потом труба по шву лопнула и содержимое баллона гальюна – двести килограммов смешных какашек – принялись сифонить в отсек, по дороге под давлением превращаясь в едучий туман. Наконец баллон облегченно вздохнул. Туман лениво затопил трюм. Тимуртаз, наблюдая по манометрам за процессом, решил, наконец, что всё у него из баллона вышло, перекрыл воздух, прыгнул с крышки унитаза и отправился в трюм, чтоб перекрыть бортовые клапана. При подходе к люку, ведущему в трюм, Тимуртаз что-то почувствовал, он подбежал к отверстию, встал на четвереньки, свесил туда голову и сказал только: «Вай, Аллах!».

Прошло минут двадцать, за это время в центральном успели забыть напрочь, что у них когда-то продували гальюн. Туман, заполнив трюм по самые закоулки, заполнил затем нижнюю палубу и, нерешительно постояв перед трапом, задумчиво полез на среднюю, расположенную непосредственно под центральным постом.

Центральный пребывал в святом неведении:

- Что у нас с вентиляцией, дежурный?
- Отключена, товарищ командир.
- Включите, тянет откуда-то...

Дежурный послал кого-то. Прошло минут пять.

- Чем это у нас пованивает? – думал вслух командир. – Комдив три!
- Есть!
- Пошлите кого-нибудь разобраться.

Старшина команды трюмных нырнул из центрального головой вниз и пропал. Прошла минута – никаких докладов.

- Комдив три!
- Есть!
- В чём дело?! Что происходит?!
- Есть, товарищ командир!
- Что «есть»? Разберитесь сначала!

Комдив три прямо с трапа ведущего вниз исчез и... тишина! Командир ворочался в кресле. Прошла ещё минута.

- Черти что! – возмущался командир. – Черти что!

Туман остановился перед трапом в центральный и заволновался. В нём что-то происходило. Видно, правда, ничего не было, но жизнь чувствовалась.

– Чёрт знает что! – возмущался командир. – Воняет чем-то. Почти дерьмом несёт, и никого не найдёшь! – командир даже встал и прошёлся по центральному, потом он сел:

- Командир БЧ-5! – обратился он к механику.
- Есть!

– Что «есть»? Все мне говорят «есть», а говном продолжает нести! Где эти трюмные, мать их уети! Разберитесь наконец!

Командир БЧ-5 встал и вышел. Командиру не сиделось, он опять вскочил:

- Старпом!
- Я!!!
- Что у вас творится в центральном?! Где организация?! Где все?! Куда

все делись?!

Старпом сказал: «Есть!» – и тоже пропал. Наступила тишина, которая была гораздо тишине той, прошлой тишины. Туман полез в центральный, и тут, опережая его, в центральный ввалился комдив три и, ни слова не говоря, с безумным взором, вывалил к ногам командира груды дезодорантов, одеколонов, лосьонов и освежителей.

– Сейчас! – сказал он горячечно. – Сейчас, товарищ командир! Всё устраним! Всё устраним!

– Что!!! – заорал командир, всё ещё не понимающий. – Что вы устранили?! Что?!

– Аллахвердиев!...

– Что Аллахвердиев?!

– Он...

– Ну?!

– Гальюн в трюм продул... зараза!...

– А-а-а... а вытяжной... вытяжной пустили?!

– Сейчас... сейчас пустим, товарищ командир, не волнуйтесь!...

– Не волнуйтесь?! – и тут командир вспомнил про Академию наук, правда, несколько не в той форме: – Я тебе «пушу» вытяжной! Ты у меня уйдёшь в академию! Все документы вернуть! В прочный корпус тебе нужно, академик, гальюны продувать... вместе с твоим толстожопым механиком! Сами будете продувать, пока всех своих киргизов не обучите! Всех раком поставлю! Всех! И в этом ракообразном состоянии... – командир ещё долго бы говорил и говорил о «киргизах» и о «ракообразном состоянии», но тут центральный вызвал на связь верхний вахтенный.

– Есть, центральный!

– На корабль спускается командующий и... и (вахтенный забыл это слово). – Ну?! – ...и вице-президент Академии наук СССР...

И наступил «чёрный песец». Командир, как укушенный, подскочил к люку, сунул в него голову и посерел: на центральный надвигалась необъятная задница. То была задница Академии наук! Командир задёргался, заметался, потом остановился, и вдруг в прыжке он схватил с палубы дезодоранты и освежители и начал ими поливать и поливать, прямо в надвигающийся зад академику, и поливал он до тех пор, пока тот не слез. Академик слез, повернулся, а за ним слез командующий, а командир успел пнуть ногой под пульт одеколоны и дезодоранты и представиться. Академик потянул носом воздух и пожевал:

– М-м... да... э-э... а у вас всегда так... м-м... Э-э... пахнет?...

– Так точно! – отчеканил командир.

– Э-э... что-то не додумали наши учёные... с очисткой... мда, не додумали... – покачал головой академик.

Командующий был невозмутим. Он тоже покачал головой, мол, да, действительно, что-то не додумали, и проводил академика до переборки во второй отсек. Командир следовал за ними, соблюдая уставную дистанцию, как верная собака. Он был застегнут, подтянут, готов к исполнению. У переборки, когда зад академика мелькнул во второй раз, командующий повернулся к командиру и тихо заметил:

– Я вам додумаю. Я вам всем додумаю. Я вам так додумаю, что месяц на задницу сесть будет страшно. Потому что больно будет сесть... Слезьми... все

у меня изойдёте... слезьми...

Флотская организация

Жили-были в Севастополе два крейсера; крейсер «Крым» и крейсер «Кавказ». Они постоянно соревновались в организации службы. Подъём флага и прочие регалии происходили на них секунда в секунду, а посыльные катера отходили ну просто тютелька в тютельку, на хорошей скорости, пеня носом, по красивой дуге. Командиры обоих кораблей приветствовали друг друга с той порцией теплоты и сердечности, которая только подчеркивала высокое различие. Команды крейсеров, можно сказать, дружили, но во всем, даже в снимании женщин и в лёгком питии, хорошим тоном считалась равная скорость.

Время было послевоенное, голодное, и отдельным женщинам, проще говоря, тёткам, разрешалось забирать остатки с камбуза. Ровно в 14.00 они вместе с ведрами загружались в оба катера и отправлялись забирать на оба крейсера. Катера никогда не опаздывали – 14.00 и баста. И вот однажды свезли на берег двух шифровальщиков. Те направились прямо в штаб и надолго там застряли. Стрелка подползала к 14-ти часам, и командир одного из крейсеров, дожидаясь отправления, жестоко страдал. Скоро 14.00, а этих двух лахудр не наблюдается. Тяжёлое это дело – ожидание подчиненных, просто невыносимое. Командир неотрывно смотрел на дорогу, поминутно обращаясь к часам. Оставалось пять минут до возникновения непредсказуемой ситуации, и тут вдалеке показались эти два урода – шифровальщики. Они шли в лёгком променаде и болтали, а перед ними, шагов за десять, в том же направлении шлёпали и болтали две тётки с ведрами под камбузную баланду.

– И-и-из-зза-д-ву-х-бли-ии-де-й! – тонко закричал командир шифровальщикам, передавая в голосе всё своё непростое страдание, – нарушается флотская организация!

Тётки, приняв крик на свой счёт, прибавили шагу, а за ними и шифровальщики.

– Быстрее! – возмутился командир. – Бегом, я сказал!

Тётки побежали, а за ними и шифровальщики. Их скорость не влезала ни в какие ворота, стрелка подкрадывалась к 14-ти часам.

– Антилопистей, суки, антилопистей!!! – заорал командир, время отхода мог спасти только отборнейший мат.

– Вы-де-ру! – бесновался командир. – Всех выдеру!

Громяхая ведрами, высоко вскидывая коленями юбки, мчались, мчались несчастные тётки, а за ними и шифровальщики, тяжело дыша. «Кавалькада» неслась наперегонки с секундной стрелкой. В эту гонку вмешались все: кто-то смотрел на бегущих, кто-то на стрелку, кто-то шептал: «Давай! Давай!». Всё! Первыми свалились с причала тётки, за ними загремели шифровальщики – каждый в свой катер, и ровно а 14.00, тютелька в тютельку, катера отвалили и на хорошей скорости, пеня носом, разошлись, направляясь к крейсерам по красивой дуге.

Я всё ещё могу...

Я всё ещё могу...

Я всё ещё могу отравить колодец, напустить на врага заражённых сусликов, надеть противогаз за две секунды.

Я могу запустить установку, вырабатывающую ядовитые дымы, отличить по виду и запаху адамсит от фосгена, иприт от зомана, Си-Эс от хлорацетофенона.

Я знаю «свойства», «поражающие факторы» и «способы».

Я могу не спать трое суток, или просыпаться через каждый час, или спать сидя, стоя; могу так суток десять.

Могу не пить, столько же не есть, столько же бежать или следовать марш-бросками по двадцать четыре километра, в полной выкладке, выполнив команду: «Газы!», то есть в противогазе, в защитной одежде; вот только иногда нужно будет сливать из-под маски противогаза пот – наши маски не приспособлены к тому, чтоб он сливался автоматически, – особенно если его наберётся столько, что он начинает хлюпать под маской и лезть в ноздри.

Я хорошо вижу ночью, переношу обмерзание и жару. Я не пугаюсь, если зубы начинают шататься, а десны болеть и из-под них, при надавливании языком, появляется кровь. Я знаю, что делать.

Я знаю съедобные травы, листья; я знаю, что если долго жевать, то усваивается даже ягель.

Я могу плыть – в штиль или в шторм, по течению или против, в ластах и не в ластах, в костюме с подогревом или вовсе без костюма. Я долго так могу плыть. Я могу на несколько месяцев разлучаться с семьей, могу выступить «на защиту интересов», собраться, бросив всё, и вылететь чёрт-те куда. Могу жить по десять человек в одной комнате, в мороз, могу вместе с жёнами – своей, чужими – отогреваясь под одеялами собственным дыханием, надев водолазные свитера.

Могу стрелять – в жару, когда ствол раскаляется, и – в холод, когда пальцы приклеиваются к металлу.

Могу разместить на крыше дома пулеметы так, чтобы простреливался целый квартал, могу разработать план захвата или нападения, могу бросить гранату или убить человека с одного удара – человека так легко убить.

Я всё это ещё могу...

Пиджак

Его взяли на флот из торпедного института; из того самого института, где создаются наши военно-морские торпеды. Его взяли и сделали из него офицера. На три года. Не знаю, зачем.

Юный учёный-торпедист; вот такая огромная, в смысле мозгов, башка, очки с толстыми линзами, беспомощное лицо и взгляд потусторонний. Он был и в самом деле не от мира сего, он был от мира того, от мира науки.

Он читал электронные схемы, потом паял, опять читал и опять паял, вместо того чтобы взять прибор и потрясти его, чтоб он заработал.

И профессия у него была секретная, а кроме неё, он ничего не знал, ничего не любил и ни о чём не говорил.

И с женщинами ему не везло. Он не умел смешить женщину, а женщину

нужно постоянно смешить, иначе она тебя бросит.

Женщины его бросали, и он ужасно расстраивался.

Когда на него надели форму, то она на нём сидела, как коза на заборе.

Форма на настоящем офицере сидит по-особенному. Офицер как бы слит с формой; а слит он потому, что сам по себе офицер довольно необычное биологическое формирование.

Офицер служит. И служит так, как почти невозможно служить. Офицер даже во сне – служит.

Офицер берёт в руки то, что руками обычно не берётся, и несёт это «то» куда-то неизвестно куда; там он садится на то, что ни в коем случае не должно плавать, а должно тут же утонуть, и плывёт на нём, плывёт долго, годами плывёт, потому как он – офицер флота. Офицер ест, пьёт, сидит, встаёт, идёт – не как все люди.

Офицер страдает, мечтает, надеется и не задаёт при этом вопросов.

Офицер...

А это был не офицер. Но главная сложность состояла в том, что он не прошёл училище, а это прекрасная школа. После этой прекрасной школы ничему не удивляешься, а он удивлялся.

Он удивлялся всему и задавал вопросы.

– А зачем это? – спрашивал он, и ему объясняли.

– Неужели такое возможно? – говорил он, и ему говорили, что возможно.

– Как же так? – терялся он, и ему говорили: а вот так.

– Не может быть! – восклицал он, и ему говорили, что может.

Словом, он был похож на ручную белую крысу, которую взяли и временно бросили в садок к помоечным пасюкам.

Другими словами, это был гражданский пиджак; он был пиджак из тех пиджаков, которые после первого ядерного удара, после паники в обозе и взаимного уничтожения, придут, во всем разберутся и сразу же победят.

Ну, во время войны – понятно, а сейчас куда его деть? Куда деть на флоте молодого учёного с башкой, не приспособленного ни к чему? Что ему можно доверить?

Ему можно доверить дежурство по камбузу, патруль, канаву старшим копать, грузить старшим чего-нибудь не очень ценное и подметать веником.

Нет, пожалуй, камбуз нельзя ему доверить: у него там всё свистнут – и все люди разбегутся. Патруль? В патруль тоже нельзя: там на одних рефлексх иногда приходится действовать, а у него рефлексов нет.

Нет! Только грузить и только подметать!

А канаву копать?

– А вот тут надо подумать. На сколько он у нас?

– На три года.

– Ох уж эти учёные, академики. Нет, на канаву нельзя. Там соображать надо. Нет, только грузить картошку и подметать. Всё! Хватит ему на три-то года.

Жил он в гостинице с длинными коридорами и номерами-бойницами по обеим сторонам. При посещении того пристанища почему-то вспоминался пивной ларек с липким прилавком, коммунальная кухня и лавка старьевщика; от неё веяло непроходящей тоской.

Его прозвали «квартирным Колей», потому что он приходил к

кому-нибудь в гости, садился и начинал говорить, говорить, общаться начинал, и его было потом не выгнать.

Через два с половиной года он снимал пенсне с линзами, тер себе то место, где был лоб, и говорил всюду:

– Я – тупой.

Его всё ещё презирали, но уже утешали. На сборищах он резво напивался и говорил, улыбаясь, кому попало:

– Я заезжал в отпуске в институт. Они мне предложили начальника отдела и тему на выбор. Представляете? – хватался он за окружающих.

Окружающие представляли, но смутно – никому не было до него дела. И тут он начинал хохотать в одиночку.

Он хохотал, как безумный, задыхаясь и плача:

– Они... там... ох-хо-хо... дума...ют... ха-ха-ха, ой, мама... думают... что я... здесь... ой, не могу... вырос... над собой... ох... что я здесь... на флоте... обо...га...тил... хи-хи-хих... не могу... х-х-х...

Потом он резко делал серьёзную рожу и говорил:

– Вообще-то после флота я на начальника отдела потяну. Раньше бы не потянул, а теперь я всё могу.

– Я придумаю новую торпеду, – начинал он опять хохотать, – я знаю какую. Это что-то круглое должно быть, чтоб руками можно было катить, но не лёгкое, чтоб домой не отволокли. Должно снега не бояться и ночевать под открытым небом. Чтоб только откопали – сразу же работало. Чтоб с крыши падало и не билось. Чтоб внутрь заливалась не горючая, не выпиваемая дрянь. Чтоб эта дрянь не нужна была для «Жигулей». Чтоб эта торпеда по команде тонула, по команде – всплывала, чтоб бежала и поражала. Ждите, скоро пришло. А то и с проверкой приеду. Вот посмеемся!

– Да, и лопату, – тут он совсем загибался от смеха, – лопату... лопа... хх... ту... ей... хо-хо... ой, не могу... лопату... ей... при... де... ла.. ю... сбо.. ку... при... со... ба... чу... ой, мама, – сипел он остатками воздуха, – и ме... т... лу... мет... лу... ей сза...ди... вотк... ну... поме... ло... встав... лю...

И все начинали смеяться вместе с ним.

Мафия

В коридоре, за дверью, слышалась возня и грохот сапог. Оттуда тянулся портяночный запах растревоженной казармы.

Вот и утро. «Народ» наш ещё спит, проснулся только я. В каюте у нас три койки: две подряд и одна с краю. На ближней к двери спит СМР (читать надо так – Сэ-Мэ-эР, у него такие инициалы), на следующей – я, а на той, что в стороне, развалился Лоб.

Обычно курсантские клички – точный слепок с человека, но почему меня называют Папулей, я понятия не имею. Вот Лоб – это Лоб. Длинный, лохматый, тощий; целых два метра и сверху гнется. Вот он, собака, дышит. Опять не постирал носки. Чтоб постоянно выводить его из себя, достаточно хотя бы раз в сутки, лучше в одно и то же время, примерно в 22 часа, спрашивать у него: «Лоб, носки постирал?». А ещё лучше разбудить и спросить.

СМР дышит так, что не поймёшь, дышит ли он вообще. Если б в сутках было бы двадцать пять часов, СМР проспал бы двадцать шесть. Он всегда

умудряется проспать на один час больше того, что физически возможно.

СМР – вдохновенный изобретатель поз для сна. Он может охватить голову левой рукой и, воткнув подбородок в сгиб локтя, зафиксировать её вертикально. Не вынимая ручки из правой руки, он втыкает её в конспект и так спит на лекциях. В мои обязанности в таких случаях входит подталкивание его при подходе преподавателя. Тогда первой просыпается ручка, сначала она чертит неровную кривую, а потом появляются буквы.

СМР с детства плешив. Когда его спрашивают, как это с ним случилось, он с удовольствием перечисляет: пять лет по лагерям (по пионерским, родители отправляли его на три смены, не вынимая); три года колонии для малолетних преступников (он закончил Нахимовское училище); и пять лет южной ссылки (как неисправимый троечник, он был направлен в Каспийское училище вместо Ленинградского).

Правда, если его спросить: «Слушай, а отчего ты так много спишь?» – он, не балуя разнообразием, затыкает: «Пять лет по лагерям...».

Шесть часов утра. Мы живем в казарме. У нас отдельная каюта. Замок мы сменили, а дырку от ключа закрыли наклеенными со стороны каюты газетами. Так что найти нас или достать – невозможно. Не жизнь, а конфета. Вообще-то уже две недели как мы на практике, на атомных ракетноносцах. По-моему, ракетноносцы об этом даже не подозревают. Встаем мы в восемь, идём на завтрак, потом сон до обеда, обед, сон до ужина, ужин и кино. И так две недели. Колоссально. Правда, лично я уже смотрю на койку как на утомительный снаряд – всё тело болит.

Раздаётся ужасный грохот: кто-то барабанит в нашу дверь. СМР вытаскивается из одеяла: «Ну, чего надо?». «Народ» наш проснулся, но встать лень. Стучит наверняка дежурный. Вот придурок (дежурными стоят мичмана).

– Жопой постучи, – советует СМР.

Мы с Лбом устраиваемся, как римляне на пиру, сейчас будет весело. Грохот после «жопы» усиливается. Какой-то бешеный мичман.

– А теперь, – СМР вытаскивает палец из-под одеяла и, налюбовавшись им, милостиво тыкает в дверь, – го-ло-вой!

Дверь ходит ходуном.

– А теперь опять жопой! – СМР уже накрылся одеялом с головой, сделал в нём дырку и верещит оттуда.

В дверь молотят ногами.

– Вот дурак! – говорит нам СМР и без всякой подготовки тонко, противно вопит: – А теперь опять головой!

За дверью слышится такой вой, будто кусают бешеную собаку.

– Жаль человека, – роняет СМР со значением, – пойду открою.

Он закутывается в одеяло и торжественный, как патриций, отправляется открывать.

– Заслужил, бя-яш-ка, – говорит он двери и, открыв, еле успевает отпрыгнуть в сторону.

В дверь влетает капитан первого ранга, маленький, как пони, примерно метр от пола. Он с воем, боком, как ворона по полю, скачет до батареи, хватая с неё портсигар с сигаретами и, хрякнув, бьёт им об пол.

– Вста-ать!

Мы встаем. Это командир соседей по кличке «Мафия», или «Саша –

тихий ужас», вообще-то интеллигентный мужчина.

– Суки про-то-коль-ные! – визжит он поросёнком на одной ноте. – Я вас научу Родину любить!

Мы в трусах, босиком, уже построены в одну шеренгу. Интересно, пороть будет или как?

– Одеться!

Через минуту мы одеты. Мафия покачивается на носках. Кличку он получил за привычку, втянув воздух, говорить: «У-у-у, мафия!».

– Раздеться!

Мы тренируемся уже полчаса: минута – на одевание, минута – на раздевание. Мафия терпеть не может длинных. Всё, что выше метр двадцать, он считает личным оскорблением и пламенно ненавидит. К сожалению, даже мелкий СМР смотрит на него сверху вниз.

– А тебя-я, – Мафия подползает к двухметровому Лбу, – тебя-я, – захлебывается он, подворачивая головой, – я сгною! Сначала остригу. Налысо. А потом сгною! Ты хочешь, чтоб я тебя сгноил?

В общем-то, Лоб у нас трусоват. У него мощная шевелюра и ужас в глазах. От страха он говорить не может и потому мотает головой. Он не хочет, чтоб его сгноили.

Мафия оглядывает СМРа, так, здесь стричь нечего, и меня, но я недавно стригся.

– Я перепишу вас к себе на экипаж. Я люблю таких... Вот таких... У-ро-ды!

В этот момент, как-то подозрительно сразу, Мафия успокаивается. Он видит на стене гитару. СМР делает нетерпеливое, шейное движение. Это его личная гитара. Если ею брякнут об пол...

– Чья гитара?

– Моя.

– Разрешите поиграть? – неожиданно буднично спрашивает Мафия.

СМР от неожиданности давится и говорит:

– Разрешаю.

Через минуту из соседней комнаты доносится плач гитары и «Тёмная ночь...».

После обеда мы решили не приходить. Лоб и я. В каюту пошёл только СМР.

– Не могу, – объяснил он, – спать хочу больше, чем жить. Закроюсь.

Ровно в 18.00 он открыл нам дверь, белый, как грудное молоко.

– Меня откупоривали.

Как только СМР после обеда лёг, он сразу перестал дышать. Через двадцать минут в дверь уже барабанили.

– Открой, я же знаю, что ты здесь, хуже будет.

За дверью слышалась возня. Два капитана первого ранга, командиры лодок, сидели на корточках и пытались подсмотреть в нашу замочную скважину. Через три листа газеты нас не очень-то и увидишь.

– Ни хрена не видно, зелень пузатая, дырку заделали. Дежурный, тащи сюда все ключи, какие найдёшь.

Скоро за дверью послышалось звяканье и голос Мафии:

– Так, так, так, вот, вот, вот, уже, уже, уже. Во-от сейчас достанем. Эй, может, сам выйдешь? Я ему матку оборву, глаз на жопу натяну.

СМР чувствовал себя мышью в консервной банке: сейчас откроют и будут тыкать вилкой.

– Вот, вот уже.

Сердце замирало, пот выступал, тело каменело. СМР становился всё более плоским.

– Тащи топор, – не унывали открыватели. – Эй ты, – шипели за дверью, – ты меня слышишь? Топор уже тащат.

СМР молчал. Сердце стучало так, что могло выдать.

– Ну, ломаем? – решали за дверью. – Тут делать нечего – два раза тюкнуть. Ты там каюту ещё не обгадил? Смотри у меня. Да ладно, пусть живет. Дверь жалко. Эй ты, хрен с бугра, ты меня слышишь? Ну, сука потная, считай, что тебе повезло.

Возня стихла. У СМРа ещё два часа не работали ни руки, ни ноги. Я встретил Мафию через пять лет.

– Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга.

Он узнал меня.

– А, это ты?

– Неужели помните?

– Я вас всех помню.

И я рассказал ему эту историю. Мы ещё долго стояли и смеялись. Он был уже старый, домашний, больной.

Ну, канесна!

Центральный пост. Народу полно. Дежурный по кораблю, вахта, кто-то постоянно заходит-выходит.

По центральному без дела шляется старпом. Вид у него задумчивый – будто инопланетяне посетили.

Внезапно дежурному захотелось поменять портупею; висюльки перетерлись давным-давно – того и гляди, пистоль уронишь, ныряй за ним потом в трюм. Дежурный вытаскивает пистолет, кладёт его перед собой и, нагнувшись, лезет под стол, в сейф: там портупеи.

Старпом подходит, берёт пистолет, передёргивает, вытаскивает обойму и ищет в центральном мишень, находит одного разгильдяя, целит в него и говорит:

– Петров, кутина мама, вот шлёпнул бы тебя на месте, не глядя, вот, была бы моя воля, кокнул бы.

С этими словами старпом отводит пистолет в сторону и нажимает. Выстрел! Пуля начинает гулять по центральному: вжик, вжик – и уходит в обшивку. Все сразу на полу с влажнеющими штанами.

Стоймя один старпом. Он просто затвердел. Выстрел для него полнейшая неожиданность: он не может постичь, он же выдернул обойму!

То, что он сначала передёрнул, а потом выдернул, до него не доходит.

– Где «артиллерист»?!! – орёт он, приходя в себя.

«Артиллерист» – командир БЧ-2 – уже здесь, прибежал на выстрел.

Старпом ему:

– Почему у вас пистолет стреляет?!!

Командир БЧ-2, всё сразу поняв, но с природным дефектом дикции:

– Хы-ы, «у вас», ну, канесна, теперь Бе-Те-два, канесна! Сами

передёргивают оружие, а теперь Бе-Те-два, канесна!

– Кус-ков! Едрёна корень! Я вас не спрашиваю! Я спрашиваю: почему пистолет стреляет?!

– Ну, канесна, теперь – Кусков, теперь, канесна! Как оружие передёргивать, так меня не пригласили, а теперь – канесна! По-игра-али они-и... наигрались.

– Кусков! Бляха муха! Я вам что? Я вас не спрашиваю! Я вас спрашиваю: почему...

– Ну-у, канес-сна! Те-пе-рь, канес-сна! Спасибо, сто не кокнули никого, а то б тозе был – Кус-ков!

– Кусков! Маму в ключья!!! Я! Вам! Говорю! Я вас не спрашиваю! Я вас спрашиваю!

– Ну-у, канес-сна!

– Кусков!!! – визжит старпом, из него брызжет слюной.

– Кусков!!! Кусков!!! – визжит он и топаёт ногами, – Кусков!!! Кусков!!! Больше он ничего сказать не может: замкнуло на корпус.

Кускову объявили строгий выговор.

Враги

Зам сидел в кают-компании на обеде и жевал. У него жевало всё: уши, глаза, ноздри, растопыренная чёлка, ну и рот, само собой. Неприступно и торжественно. Даже во время жевания он умудрялся сохранять выражение высокой себестоимости всей проделанной работы. Напротив него, на своём обычном месте, сидел помощник командира по кличке «Поручик Ржевский» – грязная скотина, матерщинник и бабник.

Зам старался не смотреть на помощника, особенно на его сальные волосы, губы и воротничок кремовой рубашки. Это не добавляло аппетита.

Зам был фантастически, до неприличия брезглив. Следы вестового на стакане с чаем могли вызвать у него судороги.

Помощник внимательно изучал лицо жующего зама сквозь полузакрытые веки. Они были старые враги.

«Зам младше на три года и уже капитан 3-го ранга. Им что – четыре года, и уже человек, а у нас – пять лет – и ещё говно. Заму-у-у-ля. Великий наш. Рот закрыл – матчасть в исходное. Изрёк – и в койку. Х-х-х-орёк твой папа».

Помощник подавил вздох и заковырял в тарелке. Его только что отодрали нещадно-площадно. Вот эта довольная рожа напротив: «Конспекты первоисточников... ваше полное отсутствие... порядок на камбузе... а ваш Атахаджаев опять в лагуне ноги мыл...» – и всё при личном составе, курвёныш.

Увы, помощника просто раздирало от желания нагадить заму. Он, правда, ещё не знал, как.

Рядом из щели вылез огромный, жирный, блестящий таракан и зашевелил антеннами.

Помощник улыбнулся внутренностями, покосился на зама, лживо вздохнул и со словами: «Куда у нас только доктор смотрит?» – потянувшись, проткнул его вилок.

Зам, секунду назад жевавший безмятежно, испытал такой толчок, что у

него чуть глаза не вышибло.

Помощник быстро сунул таракана в рот и сочно зажевал.

Зам забился головенкой, засвистал фистулой, вскочил, наткнулся на вестового, с треском ударился о переборку и побежал, пуская во все стороны тонкую струю сквозь закупоренные губы, и скоро, захлебываясь, упал в буфетной в раковину и начал страстно ей всё объяснять.

Ни в одну политинформацию зам не вложил ещё столько огня.

Помощник, всё слыша, подумал неторопливо: «Вот как вредно столько жрать», – достал изо рта всё ещё живого таракана, щелчком отправил его в угол, сказав. «Чуть не съел, хороняку». – Ковырнул в зубах, обсосал и довольный завозился в тарелке.

На сегодня крупных дел больше не было.

«...расстрелять!»

Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух, судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н., замшелый майор, чувствовал себя как-то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва.

Его волосы, глаза, губы-скулы, шея-уши, руки-ноги – всё говорило о том, что ему пора: либо удавиться, либо демобилизоваться. Но демобилизация, неизбежная, как крах капитализма, не делала навстречу ни одного шага, и дни тянулись, как коридоры гауптвахты, выкрашенные шаровой краской, и капали, капали в побитое темечко.

Комендант давно был существом круглым, но всё ещё мечтал, и все его мечты, как мы уже говорили, с плачем цеплялись только за ослепительный подол её величества мадам демобилизации.

Дверь – в неё, конечно же, постучали – открылась как раз в тот момент, когда все мечты коменданта всё ещё были на подоле, и комендант, очнувшись и оглянувшись на своего помощника, молодого лейтенанта, стоящего тут же, вздохнул и уставился навстречу знакомым неожиданностям.

– Прошу разрешения, – в двери возник заношенный старший лейтенант, который, потоптавшись, втащил за собой солдата, держа его за шиворот, – вот, товарищ майор, пьёт! Каждый день пьёт! И вообще, товарищ майор...

Голос старлея убаюкал бы коменданта до конца, продолжайся он не пять минут, а десять.

– Пьёшь? А, воин-созидатель? – комендант, тоскливо скуксившись, уставился воину в лоб, туда, где, по его разумению, должны были быть явные признаки Среднего образования.

«Скотинизм», – подумал комендант насчёт того, что ему не давали демобилизации, и со стоном взялся за обкусанную телефонную трубку: слуховые чашечки её были так стёрты, как будто комендант владел деревянными ушами.

– Москва? Министра обороны... да, подожду...

Помощник коменданта – свежий, хрустящий, только с дерева лейтенант – со страхом удивился, – так бывает с людьми, к которым на лавочку, после обеда, когда хочется рыгнуть и подумать о политике, на самый краешек подсаживается умалишенный.

– Министр обороны? Товарищ маршал Советского Союза, докладывает майор Носотыкин... Да, товарищ маршал, да! Как я уже и докладывал. Пьёт!... Да... Каждый день... Прошу разрешения... Есть... Есть расстрелять... По месту жительства сообщим... Прошу разрешения приступить... Есть...

Комендант положил трубку.

– Помощник! Где у нас книга расстрелов?... А-а, вот она... Так... фамилия, имя, отчество, год и место рождения... домашний адрес... национальность... партийность... Так, где у нас план расстрела?

Комендант нашёл какой-то план, потом он полез в сейф, вытащил оттуда пистолет, передёрнул его и положил рядом.

Помощник, вылезая из орбит, затрясся своей нижней частью, а верхней – гипнозно уставился коменданту в затылок, в самый мозг, и по каплям наполнялся ужасом. Каждая новая капля обжигала.

– ...Так... планируемое мероприятие – расстрел... участники... так, место – плац, наглядное пособие – пистолет Макарова, шестнадцать патронов... руководитель – я... исполнитель... Помощник! Слышь, лейтенант, сегодня твоя очередь. Привыкай к нашим боевым будням! Расстреляешь этого, я уже договорился. Распишись вот здесь. Привести в исполнение. Когда шлёпнешь его...

Комендант не договорил: оба тела дробно рухнули, впечатлительный лейтенант – просто, а солдат – с запахом.

Комендант долго лил на них из графина с мухами.

Его уволили в запас через месяц. Комендант построил гауптвахту в последний раз и заявил ей, что, если б знать, что всё так просто, он бы начал их стрелять ещё лет десять назад. Пачками.

Флот по листкам

Морская культура

(боевой листок)

Ещё со времени Петра Первого начались складываться традиции русского флота. На собственных ошибках, неудачах, поражениях и победах учились моряки свято хранить и передавать из поколения в поколение всё, чему научила их морская стихия.

Во время Великой Отечественной войны традиции тоже получили своё дальнейшее развитие.

Но в восьмидесятые годы флотские традиции стали постепенно забываться, и даже такое понятие, как «морская культура», вызывает у многих удивление.

Не будем далеко ходить, возьмём наш экипаж. Согласно РВЖ, ГДУ должен носить каждый. Это твоя жизнь в минуту аварии независимо от того, кто ты. А зам командира по ПЧ почему-то это не выполняет, а ведь с него мы должны брать пример.

И ещё один эпизод: старшина команды снабжения любит свистеть, на что ему старшие товарищи неоднократно делали замечания, но он на них не реагирует.

Акустическая культура – это часть морской культуры. Она складывалась годами, и раньше позором считалось громко ударить

дверью или шумно играть в домино, а у нас это сплошь и рядом. Всё это уменьшает скрытность корабля и мешает акустикам далеко слышать противника.

Матрос Сысин.

Ну где вы встретите вместе Петра Первого, традиции флота, Великую Отечественную, восьмидесятые годы, зама, свистящего интенданта, акустическую культуру и скрытность корабля?

Только на флоте и только во флотском боевом листке. За что я и люблю боевой листок. А какой язык! Читайте боевые листки. В них масса интересного.

Для тех, кто никогда не видел боевой листок, мы расскажем, что это такое. Боевой листок – это лист жёлтой плотной бумаги; сверху у него – в волнах плещется обрубок, изображающий подводную лодку, и изображает он её так, чтоб невозможно было установить, какого же проекта эта подводная лодка. У листка два эпиграфа: «За нашу советскую Родину» и «Из части не выносить». Под эпиграфами – пустое поле, на котором личный состав от руки пишет всё, что душа его пожелает. О чём пишут? Да обо всем. Например,

О «бдительном несении вахты».

Товарищи!

Прошла половина боевой службы. За плечами у нас много хорошего. Например, бдительное несение вахты. Мичман Зайделиц.

(Далее следует рисунок, изображающий в вольной, кубической манере мичмана Зайделица. Под рисунком подпись: «В оставшееся время нужно более внимательно нести вахту, т.к. матчасть старая и в процессе непрерывной работы совсем износилась»).

О «боевой учёбе».

Товарищи подводники!

Прошло немало суток плавания. За это время те, кто пошёл в свою первую боевую службу, поняли наконец, какая ответственность лежит на их плечах и за какое огромное количество техники они отвечают; те же, у кого это вторая или третья боевая служба, с чувством достоинства и гордости несут вахту, обслуживают системы и механизмы корабля и учат, как могут, своих младших товарищей. Через некоторое время у нас сдача экзаменов на классность. Как мы к ней подготовимся, такими мы и будем специалистами.

О «связи».

...Связь у нас на корабле играет немаловажную роль. Но как мы к ней относимся? Когда на боевом посту стараются удобнее расположить гарнитуру и растягивают её до предела, то они даже не подозревают о том, что провода не выдерживают и рвутся самым

обыкновенным образом. Есть такие представления, что если «каштан» не разговаривает, то нужно стучать гарнитурой до тех пор, пока она вообще не выйдет из строя.

Нет связи – лучше доложите в центральный, и пусть придёт ответственное лицо...

О будущем.

...впереди у нас ответственное мероприятие – возвращение в базу. К этому нужно готовиться. Ведь родная база нас будет встречать не цветами, а тяжёлым бременем всевозможных нарядов и вахт. И для того, чтобы прийти, домой живыми, нужно выполнить всего одно требование: нужно бдительно нести вахту и своевременно устранять все неисправности...

О «заключительном этапе плавания».

...Очень заметно ухудшилось несение вахты на заключительном этапе. И вроде бы все методы использованы, чтобы как-то повысить бдительность, но тщетно, и результаты последних дней – налицо...

И, наконец, об «итоговых политзанятиях».

Товарищи подводники!

Приближаются итоговые политзанятия! Осталось мало дней. В этот короткий период всем нужно потрудиться с максимальной отдачей. У многих не восстановлены все ленинские работы, не все ещё записаны темы политзанятий. Всё это нужно восстановить в кратчайший срок, потому что скоро сдача экзаменов на классность, а там на политическую подготовку – особое внимание. Это особенно касается молодых матросов. У них больше всего нюансов.

Не знаю, как вам, а мне боевой листок нравится. Специально так не напишешь. В нём живым языком говорит флот.

И ещё о боевом листке

В третьем отсеке на проходной палубе в специальной деревянной рамочке висел боевой листок. Листок гласил:

Товарищи подводники!

Как вы знаете, в море неотъемлемыми источниками, потребностью нашей жизни являются системы и устройства, приборы и механизмы, обеспечивающие жизнедеятельность членов экипажа.

Это играет не последнюю роль в выполнении задач боевой службы. Сюда относятся: система пресной воды, камбуз, ДУК, гальюнное устройство, поддержание нормальных концентраций газового состава воздуха. Хотя, на первый взгляд эти вещи стали, за повседневностью их использования, чем-то само собой разумеющимся, но это неверно! Нельзя забывать, что это ключевые вопросы нашей настоящей жизни.

Хочется сказать по нашему третьему дивизиону. У нас в заведовании имеются гальюнные устройства. Да, именно устройства, которые сделаны с учетом многих факторов, влияющих на плавание п.л. Но, тем не менее, не исключены ещё выкидывания в унитаз: заварки (чая) и, это самое страшное, бумаги и ветоши. Это накладывает неудобство, затруднение в продувании гальюнов, а также не соблюдается элементарная человеческая культура: нередко бросается на палубу, и унитаз не смывается после использования.

Всё это способствует антисанитарии, не говоря уже об уважении труда своих товарищей.

Матрос Папий.

Через сутки в нижнем углу появилась приписка: «Папий – ты козёл». Ещё через сутки зам заметил приписку и снял листок.

За матушку Россию

Русских моряков лучше не трогать, лучше не доводить.

Это я точно знаю. И сейчас я вам поясню то, что я знаю на конкретных примерах. Но перед этим скажу: нашему брату – русскому моряку – только дай подраться, и чтоб за матушку Россию, чтоб за Святую Русь, за веру, царя и Отечество.

И даже если в руках ничего не наблюдается, колами будут крошить, камнями, зубами, клыками, копытами. Уйдя чуть в сторону от основного русла нашего рассказа, скажем, что когда в исторический период нашей флотской истории нашему историческому главному принесли карту обстановки на Средиземном море, то там огромный американский авианосец обеспечивался нашей малюсенькой единицей.

– Что это такое?! – воскликнул главком. – Что это? Что?! – всё тыкал и тыкал он в нашу малюсенькую единицу, а штабисты его всё не понимали и не понимали.

Наконец, поняли: наша единица очень маленького размера на карте получилась.

И переделали: нарисовали маленький авианосец, а рядом изобразили огромную русскую единицу; нарисовали и тем удовлетворили главкома по самую плешь.

Так вот, вернувшись в основное русло нашего рассказа, скажем: «Да, товарищи! Да! Воздушное пространство нашей с вами горячо любимой Родины нарушается всеми, кому не лень. Да!».

Есть у нас, конечно, кое-что, можем мы, конечно, кое-чем ахнуть и устроить им там всем птичьи базар, но связаны мы по рукам и ногам, связаны, перепоясаны, скованы и перебинтованы. И в таком вот запакованном состоянии мы ещё не просто должны передвигаться, как пингвины в стаде, мы ещё обязаны предотвращать их вражеское поползновение.

– Наши Вооружённые Силы должны! – орут на всех углах те, кто из всего многообразия лучше всего запомнили то, что им должны Вооружённые Силы.

Должны-должны, кто же против? Конечно, должны. Мы всем должны. Ну

конечно. А вот вы скажите: а бодаться нам можно? Нет, нельзя. Не дают нам бодаться. Не разрешают. Вот если б нам разрешили бодаться, то мы бы им показали. Ежедневно б бодали.

А как мы недавно безо всякого разрешения америкосов боданули? Это ж просто праздник души.

Было так: на Чёрном море ввалился в наши террводы их крейсер – тысяч на тридцать водоизмещением, и тут же наш СКР, старый, как причальная стенка Графской пристани, пошёл ему наперехват.

Это ж просто песня лебединая, когда наш древний дедушка СКР идёт ему – современному, толстому, сытому – наперехват. При этом внутри у дедушки всё пытит, скрипит, визжит и пахнет мерзко. И дрожит в нём всё в преддверии схватки.

– Ну, блин! – сказал командир СКРа, которому велели пойти, но при этом даже гавкать запретили, и который должен был пойти и сделать что-то такое, но при этом ни-ни, ничего международного не нарушить.

– Ну, блин! – сказал командир СКРа. – Сейчас я ему дам!

И он ему дал – въехал в крейсер носом. Просто тупо взял и въехал. Америкос вздрогнул. Не ожидал он, оторопел. А наш не успокоился, отошёл и опять – трах!

– Ага! – орал командир СКРа в полном счастье. – Ага! Не нравится?! Звезда с ушами! Не нравится?!

СКР всё отходил и бросался, отходил и бросался, а америкос всё торопел и торопел. Это был миг нашего торжества.

В конце концов американец решил (пока ему дырку насквозь не проделали) слить из наших вод. Развернулся он и рванул изо всех сил, а наш махонький СКР, совершенно искалеченный, напрягая здоровье, провожал его до нейтралы, умудряясь догнать и бодать в попку.

В следующий раз следующий американский крейсер в совершенно другом месте снова вторгся в наши священные рубежи.

И тогда на него пошёл кто? Правильно – пограничный катер. Катер подошёл и сказал крейсеру, что если тот сейчас же не уберётся ко всем чертям, то он, катер, откроет огонь.

На катере даже развернули в сторону крейсера свою пукалку, которая в безветренную погоду даже бронезилет не пробивает, и изготовились.

– Бог с ней, с карьерой, – сказал тогда командир катера, напялив поглубже свой головной убор, – сейчас я им устрою симпозиум по разоружению, хоть душа отдохнёт.

Но душа у него не отдохнула. Крейсер, передав по трансляции: «Восхищен мужеством советского командира!», – развернулся и убыл ко всем чертям.

А ещё, дорогие граждане, корабли наши, надводные и подводные, в открытом море облетают самолёты вероятного противника прямо через верхнюю палубу; объезжают, гады, как хотят, да так здорово объезжают, что зубы наши в бессильной злобе скрипят о зубы, а руки сами ищут что-нибудь, что сможет заменить автомат, – гайку, например.

Знаете ли вы, что палуба нашего корабля – это святая святых и наша с вами родная территория? А воздушное пространство над ней вверх до ионосферы, не помню на сколько километров, – это наше с вами воздушное пространство. А враг лезет в наше воздушное пространство и зависает над

нашей родной территорией, да так близко зависает, что может нам по морде надавать.

И зависает он, как мы уже говорили, не только над надводными кораблями, но и над подводными лодками, идущими в надводном положении.

Раз завис над нашим атомоходом иноземный вертолёт, прямо над ракетной палубой завис, открылась у вертолёта дверь, и вылез какой-то тип. Сел этот тип в дверях, свесил свои ножки, достал «лейку» и давай нас фотоаппаратить.

– Дайте мне автомат! – кричал командир. – Я его сниму. Он у меня рыбок покормит.

Долго искали автомат, потом рожок к нему, потом ключи от патронов, потом открыли – оказалось, там нет патронов, потом патроны нашли, а рожок куда-то дели.

Кэп выл. Наконец кто-то сбегал и принёс ему банку сгущёнки и кэп запустил в него этой банкой.

Вертолёт рванул в сторону, фотограф чуть не выпал. Он орал потом, улетаая, благим голландским матом и грозил кулаком, а наши непристойно смеялись, показывали ему банку и кричали:

– Эй! Ещё хочешь?

А что, запустить мы можем. Особенно если нас пытаются так нахально увековечить.

Однажды наш противолодочный корабль шёл вдоль чуждого нам берега, и вдруг катер их береговой охраны отделился от береговой черты – и к нашим. Пристроился и идёт рядом. И на палубе у него сразу же появляется тренога, неторопливо, без суеты эта тренога налаживается, фотоаппарат появляется с метровым хлеблом, и фотограф уже начинает по палубе ходить, как в театре, примеряясь, чтоб изобразить наших в полный рост.

Пока он готовился, на верхнюю палубу наш кок выполз, некто мичман Попов удручающих размеров.

– Ишь ты, насекомое, – сказал мичман Попов, наблюдая противника.

Потом он сходил на камбуз и принёс оттуда картофелину размером со шлем хоккеиста.

– Ну, держи свои линзы, – сказал кок и, не целясь, запустил картофелину.

До катера было метров тридцать-сорок. Картофелина летела как из пушки и разбилась она точно об затылок фотографа.

Тот рухнул носом в палубу и лежал на ней долго-долго, а катерок быстренько развернулся и помчался к берегу. Повёз своей маме наше изображение.

У кока потом очень интересовались, где это он так кидаться научился.

– В городки надо играть, – сказал кок, авторитетно пожевав, – и тогда сами будете за версту лани в глаз попадать.

Я, когда услышал эту историю, подумал: может, действительно научить весь флот играть в городки – и дело с концом. И будем попадать лани в глаз. Хотя, наверное, в глаз попадать совсем не обязательно. Нужно попасть по затылку, и от этого глаза сами выскочат.

Путь в философию

Адмиралов почему-то всегда тянет туда, где грязь. Именно там устраиваются диспуты, переходящие в монологи о дисциплине, воинском долге, ответственности.

В училище, в маленьком скверике, в углу, там, где всегда курилась банка из-под мусора, адмиралы любили собраться в перерыве вместе с «чёрными» полковниками с кафедры морской пехоты и за сигаретой непринуждённо предаться своим сиюсекундным мыслям вслух о воинском долге, ответственности и порядке.

Полковники, рефлекторно стоящие «руки по швам», почему-то всегда оказывались в той стороне, куда шёл дым, и всегда смотрели на адмиралов преданными, слезящимися от дыма и старости глазами добрых боевых волкодавов.

Одна из таких бесед была прервана как раз в тот момент, когда один из адмиралов почти нащупал нужное слово, по-новому оттеняющее его личное, адмиральское отношение к воинскому долгу.

Из-за забора, со свистом разрезая воздух, прилетел и шлёпнулся в пыль, не долетев пяти шагов до полковничьей шеренги, портфель, затем через забор перелетел курсант и, приземлившись, на секунду обалдел от обилия зрителей; ещё через секунду он уже решительно бежал прямо на полковников. Полковники тут же пришли в движение и ошетинились. Наверное, каждый из них мечтал закрыть собой адмирала.

Курсант, не добежав до полковников каких-нибудь пяти шагов, схватил портфель и, круто развернувшись, бросился назад к забору.

Дружный стадный гам подхватил старую гвардию и бросил её вслед за беглецом. Тот перебросил портфель и одним прыжком вскочил на забор, но в последний момент он был пойман за ногу самым удачливым и проворным полковником, визжавшим от удовольствия. Удовольствие закончилось быстро: курсант, размахнувшись, лягнул полковника в голову – точь-в-точь как мустанг шакала – и потряс многое из того, что находилось в тот момент в той голове. Полковника – как срубили.

Почему-то курсанта потом так и не нашли, а вот полковника пришлось безвременно проводить на пенсию. Говорят, после этого он стал большим философом.

Муки Коровина

Старпом Коровин был известен как существо дикое, грубое и неотесанное. Огромный, сильный как мамонт, к офицерам он обращался только по фамилии и только с добавлением слов «козёл вонючий».

– Ну ты, – говорил он, – козёл вонючий! – И офицер понимал, что он провинился.

Когда у офицерского состава терпение всё вышло, он – офицерский состав – поплакался замполиту.

– Владим Сергеич! – начал замполит, – народ... то есть люди вас не понимают, то ли вы их оскорбляете, то ли что? И что это вы за слова такие находите? У нас на флоте давно сложилась практика обращения друг к другу по имени-отчеству. Вот и общайтесь...

Старпом ушёл чёрный и обиженный. Двое суток он ломал себя, ходил по

притихшему кораблю и, наконец, доломав, упал в центральном в командирское кресло. Обида всё ещё покусывала его за ласты, но в общем он был готов начать новую жизнь.

Вняв внушениям зама, старпом принял решение пообщаться. Он сел в кресло поудобней, оглянулся на сразу уткнувшиеся головы и бодро схватил график нарядов.

Первой фамилией, попавшейся ему на глаза, была фамилия Петрова. Рядом с фамилией гнездились инициалы – В. И.

– Так, Петрова в центральный пост! – откинулся в кресле старпом.

– Старший лейтенант Петров по вашему приказанию прибыл!

Старпом разглядывал Петрова секунд пять, начиная с ботинок, потом он сделал себе доброе лицо и ласково, тихо спросил:

– Ну... как жизнь... Володя?

– Да... я вообще-то не Володя... я – Вася... вообще-то...

В центральном стало тихо, у всех нашлись дела. Посеревший старпом взял себя в руки, втянул на лицо сбежавшую было улыбку, шепнул про себя: «Курва лагерная» – и ласково продолжил:

– Ну, а дела твои как... как дела... И-ваныч!

– Да я вообще-то не Иваныч, я – Игнатьич... вообще-то...

– Во-обще-то-о, – припадая грудью к коленям, зашипел потерявший терпенье старпом, вытянувшись как вертишейка, – коз-з-зёл вонючий, пош-шёл вон отсюда, жопа сраная...

Патрон

Командир быстрым шагом подошёл к лодке. Ему было сорок два года, выглядел он на пятьдесят, и лицо его сияло.

Он сорвал с себя фуражку, украшенную великолепными дубами и шитым крабом, и, изящно размахнувшись, бросил её туда, где солнечные блики болтались вперемежку с окурками, – в вонючую портовую воду.

– Всё! Больше не плаваю! Всё! Есть приказ, – сказал командир атмосфере и, повернувшись к лодке, поклонился ей. – Прости, «железо», больше не могу!

Глаза его засветились.

– Прости, – прохрипел командир и согнулся ещё раз.

– Товарищ командир! – подбежал дежурный, перепоясанный съехавшим кортиком. – Товарищ командир!

Командир, чувствуя недоброе, радикулитно замер.

– Товарищ командир... у нас в субботу ввод, а... – запыхался дежурный, – ах... в воскресенье выход... только что звонили... х-х... просили... просили передать, – доложил он в командирский крестец, радуясь своей расторопности.

Командир молчал, согнувшись, две секунды.

– Где моя фуражка? – спросил командир тихо, точно про себя.

– Ещё плавает, товарищ командир.

– Всем доставать мою фуражку, – сказал командир и разогнулся.

Все бросились доставать. Мучились минут сорок. Командир подождал, пока сбегут последние капли, и нахлобучил её по самые глаза. Глаза превратились в глазёнки, потом он сказал шёпотом что-то длинное.

Миня

Был у нас зам Минаев. Звали его Миней. Матросы его ненавидели страстно. Мичмана его ненавидели ужасно, а офицеры его просто ненавидели.

Но больше всех к заму был равнодушен Шура Коковцев, по кличке Кока, – наш партийный секретарь: его зам неоднократно душил за горло за запущенную партийную документацию.

Шура роста маленького, и душить его удобно.

Зам ему говорил: «К утру заполнить партийную документацию».

А Шура ему: «Фигушки. Сами заполняйте». И тут зам на него бросался и душил его при народе, а Шура кричал: «Все свидетели! Меня зам душил!».

В общем, ненавидели у нас зама, вредили ему всячески и радовались, если с ним что-нибудь случалось.

Матросы летом в колхоз съездили и привезли оттуда щенка. Назвали его Миней-младшим, чтоб не путать его с Миней-старшим.

Зам от этого позеленел, но животное не тронул: щенка командир наш полюбил, и тут уж зам ничего не мог поделать.

– Миня, Миня, на, на, – звали щенка матросы, – иди грызи кость, – и давали ему мосол сахарный.

И он грыз, а матросы приговаривали: «Давай грызи, Миня. Будешь хорошо грызть – вырастешь и станешь большим Миней».

Этот щенок даже в автономии с нами ходил. Говорят, что собаки на лодке не выживают, но этот чувствовал себя великолепно.

Зам от собаки просто дурел и всю злобу срывал на матросах, а те, когда он их сильно допекал, бегали и закладывали его начпо.

Начпо периодически вызывал зама на канифас и канифолил ему задницу. Так и жили: вредили по кругу друг другу.

Перед последней автономкой зам у нас, к общей радости, намотал на винты в одном тифозном бараке – триппер подхватил.

Наш врач корабельный взялся его лечить. Но корабельный Ваня у нас – олух царя небесного: он из простого триппера наследственный сифилис сделает.

И получился у зама наследственный сифилис. А мы уже в автономке шестые сутки. И тут все, конечно, узнали, что у зама нашего, судя по всему, скорее всего конечно же сифилис. Узнали все до последнего трюмного.

Смотришь, бывало, на партсобрании, зам скривится-скривится и боком, боком шмыг в каюту – побежало у него. И все понимают что к чему. И всех это радовало. И все ходили и поздравляли друг друга с замовским наследственным сифилисом. Особенно Шура-секретарь на счастье исходил.

Он укарауливал зама и говорил при нём кому-нибудь что-нибудь этакое, ну например: «Целый день вчера бегал, как трипперный зайчик...». Или: «...Столько документации, столько документации, что уже не в состоянии... сил нет... просто состояние течки... – и тут он прерывался, поворачивался, смотрел заму долго в глаза и бархатно говорил: – И вообще, я считаю, что лучше иметь твёрдые убеждения, чем мягкий шанкр. Правда, Александр Семёныч?». А зам наш только стоял и кривился. По-моему, он Шуру даже не слышал и не только Шуру. Зам вообще, по-моему, никого не слышал и не

замечал с некоторых пор, потому как с некоторых пор они жили, можно сказать, и не в отсеке вовсе, а внутри самого себя – сложной внутренней жизнью: слушали они в себе с сомнением каждую мелкую каплю.

Вот так вот.

Комиссия

С утра дивизия была осчастливлена внезапной комиссией по проверке боеготовности.

Её председатель, вице-адмирал с непонятными полномочиями, зашёл к нашему контр-адмиралу:

– А мы проверять вашу боеготовность.

– А мы всегда боеготовны.

У нашего комдива в глазах плохо скрытое беспокойство.

– Разрешите узнать ваш план.

– А мы без плана. У нас теперь работают по-новому.

В штабе – на ПКЗ (плавказарма) – свалка: приборка в каютах; застилаются новые простыни, начальник штаба сам бегаёт, осунувшийся от страданий, и неумело поправляет кровати; шуршится приборка на палубах; туалет должен быть свежим; готовится баня, чай...

– Кто будет старшим по бане? Кто? Ага, хорошо! Его надо проинструктировать, чтоб всё нормально было...

На камбузе накрыт адмиральский салон. Асфальт перед ним помыт. Половину мяса от старших офицеров унесли в салон. Гуляш, котлеты, рыба «в кляре» и под маринадом, свежий зелёный лук. «Прошу вас, проходите». Улыбки. Спрятанная растерянность. Высокие фуражки. «Приятного аппетита». А внутри – «Чтоб вы подошли».

После обеда, с удовольствием дыша, проверяющий входит в каюту к начальнику штаба:

– Та-ак! Оперативного мне!

Проверяющий с начштаба в равном звании, но начштаба торопливо хватается за трубку, вызывает ему оперативного.

Лицо у проверяющего значительное, целеустремленное, ответственное, направленное вверх, под метр восемьдесят всё срезается. Он говорит, говорит...

У начальника штаба зрачки расширены, в них угадывается собака, тонущая в болоте. Он мокнет (мокреет), тянет носом, как мальчик, которого раздели и нахлопали по попке, потерянно шарит – бумажки какие-то, а когда проверяющий выходит, дрожащими руками вспоминаются свои обязанности...

Бедный флот...

Бедный Толик

Бедный Толик, почерневший лицом и душой на Северном флоте, был списан с плавсостава. Ещё восемь лет назад. Так, во всяком случае, он говорил.

– После меня лучше не занимать, – говорил он всегда угрюмо, всегда перед дверью терапевта, когда мы приходили на медкомиссию.

У него болело везде, куда доходили нервные окончания: даже на ороговевших, сбитых флотскими ботинками, жёлтых флотских пятках.

– На что жалуетесь? – спрашивала его врач.

– На всё-ё! – тарасился Толик.

– А что у вас болит?

– Вс-с-сё-ё... – не унимался Толик.

– Где это?... – терялась врач.

– Вез-зде... – говорил Толик и дышал на неё, и врачу сразу вспоминалось, что в мире запахов водятся не только фиалки.

Каждые полгода он переводился в центральную часть России, в цивилизацию переводился; всех подряд ловил и всем подряд говорил:

– Я уже ухожу. Перевожусь. Мое личное дело уже ушло.

Его личное дело ходило-ходило по России, как старый босяк, и всегда приходило назад и со стоном втискивалось в общую стопку.

Когда оно приходило, он садился и писал. Он писал рапорты. Они разбухали, как мемуары. Он пускал их по команде.

Он писал всем. Он писал, а они ему не отвечали, Вернее, отвечали, что он занесён в списки на перемещение. Ему отвечали, и он радовался.

– Я уже в списках на перемещение, – говорил он всем подряд и ждал перемещения.

А его всё не было и не было.

Вместо перемещения приезжали проверки и комиссии, и Толик волновался.

– Я им скажу. Я им скажу, – волновался Толик и бурлил на смотрах.

Но на смотрах устраивали опросы знаний. Толик узнавал об этом и удирали прямо из строя. А его ловили.

– Не пойду! – бушевал Толик, когда его пихали назад в строй. – Не пойду на опрос. Я ничего не знаю. Вот! Выгоняйте! Увольняйте в запас! ДМБ! Демобилизация! Не хочу! Не знаю! – рубил он воздух перед носом старпома.

– Корабельный устав! – пытался старпом.

– Не знаю корабельного устава! – злорадствовал Толик.

– Сдадите зачёт! – кричал старпом.

– Не сдам! – отвечал Толик.

– Толик, Толик... прекрати...

– Я вам не То-оли-ик! – выл и бесновался Толик, ведомый в казарму под руки, и окружающим становилось страшно, им слышался угрюмый каторжник из «Пятнадцатилетнего капитана» Жюль Верна, который в таких случаях говорил:

– Я не Не-го-ро, я – Себастьян Перерра! Компаньон Великого Альвеца...

Однажды нависла реальная угроза того, что он не пойдёт в очередную автономку: не давала ему godность терапевт женщина, не давала. Толик радовался этому, как ребёнок кубики.

– А-га! – говорил он всем подряд и смеялся. – Взяли?!

Но отдел кадров у нас даром хлеб не ест: тут же отыскалось чудное место в Кызыл-Орде. Только нужна была godность к плавсоставу. Вы не знаете, зачем нужна godность к плавсоставу в Кызыл-Орде? Может быть, на кораблик пустыни нужна godность? В отделе кадров тоже не знали.

Толик ужасно захотел в Кызыл-Орду. До детской истерики с топаньем ножками.

– Толик! – сказали ему. – Но там же нужна годность к плавсоставу.

– Всё понял! – вскричал бедный Толик.

И он сразу ожил. И жил ровно двое суток. Он помчался в спецполиклинику, надел наколенники и долго и гнусно ползал за терапевтом женщиной.

Женщина. Мать. Она не выдержала.

У Толика текли сопли, они вплетались в слюни; глаза слезились старой дрянью: всё это ползало, всхлипывало, булькало, пуськало с пузырями и дышало простреленным лёгким. У ног. На полу. Живое. Она не выдержала.

Женщина. Мать. Она дала ему годность. Дала.

Он прибежал в отдел кадров и сказал:

– Есть! Годность! Есть!

– Это хорошо, что есть, – сказали ему, утомлённые его работоспособностью. – Только вот места уже нет. Кончилось место. Толик, кончилось. Что ж ты? Скорей нужно было, скорей. Ну ничего, годность у тебя теперь есть, уже легче. Будем искать тебе место, будем... да... вот придёшь с автономки...

И он ушёл в море. Он был совершенно, можно сказать, верный, такой чёрненький, черноватый. Море, море... Он ушёл, скорее всего, всё же эбонитового цвета, а пришёл бледно-серый, с пролежнями от злобы.

Сапог и трап

Капитан первого ранга Сапогов (кличка Сапог), хам, пьяница и зам командира дивизии по боевой подготовке, бежал на лодку. Рядом с ним вприпрыжку, еле успевая, бежал учёный из Севастополя. Он был совершенно не подготовлен к тому, что на флоте так носятся. Тяжко дыша и стараясь забежать перед Сапогом, он всё пытался заглянуть ему в глаза. Учёный интересовался трапами. Он должен был выдумать такой трап, который был бы настоящим подарком для флота. Для этого он и приехал, чтоб пристально изучить запросы и нужды флота. Пристально не получалось. Его пристегнули к Сапогу, а тот постоянно куда-то бежал. Вот и сейчас он очень опаздывал, до зуда чесоточного опаздывал.

– А... какой вам нужен трап? – вырывалось из научной груди со столетним хрипом.

– Трап? Я ж тебе говорю, лёгкий, прочный, чтоб усилием шести человек: раз – и в сторону, – бежал вперёд пьяница, хам и зам командира дивизии.

Времени ни капли, он даже ныл на бегу. С минуту они бежали молча, учёный обсасывал информацию.

– Ну, а всё-таки? Какие особенности должны быть?... Как вы считаете?

– У кого? У трапа? Ну, ты... я ж тебе говорю: лёгкий, прочный, чтоб шесть человек с пирса на пирс...

«Скорей, скорей, – гнал себя Сапог, вечно в диком цейтноте, – а тут ещё наука за штаны цепляется». Он прибавил темп. Через минуту его нагнал учёный.

– Ну, а всё-таки, как вы считаете?... что он должен иметь в первую очередь?

– Кто? Трап?

Зам командира дивизии, пьяница и хам резко затормозил. Природный

цвет у него был красный. Рачьи глаза уставились на учёного. Потом он взял его за галстук и придвинулся вплотную. Неожиданно для науки он завизжал:

– Клё-па-ный Ку-ли-бин!!! Я тебе что сказал? Лёгкий, прочный, чтоб шесть человек с разгону его хватить – и на горбьяку; и впереди своего визга, вприпрыжку, километрами неслись, радостно жопы задрал. Ты чего, наука? Вялым Келдышем, что ли, сделан? А? Чего уставился, глист в обмороке? Откуда ты взялся, ящур? Тебе ж сдохнуть пора, а ты всё трапы изобретаешь. Присосались к Родине, как кенгурята к сисе. Не оторвёшь, пока не порвёшь. Облепили, ду-ре-ма-ры...

И так далее, и так далее. В направлении уменьшения количества слов, букв и культуры. Сапог остановился, когда культуры совсем не осталось, а букв осталось всего три. Он перевёл дух и сложил три буквы в последнее слово, короткое как кукиш.

Учёный окаменел. В живом виде он такие слова в свою сторону никогда не слышал.

Увидев, что учёный окаменел. Сапог бросил его со словами: «Охмурел окончательно, не обмочился бы» – и убежал на дудящий вовсю пароход.

Когда он пришёл из автономки, его ждал трап. По нему можно было наладить двустороннее движение. Весил он ровно на тонну больше того, что могут, надорвавшись, поднять шесть человек.

– Где этот Кулибин? – завопил Сапог, увидев трап и пнув его с размаху ногой. – Разрубить на куски и отправить в Севастополь. Откуда это взялось, я спрашиваю, с чьей подачи?

Он долго ещё мотался по пирсу, а рядом виновато суетился и во всё вникал дежурный по дивизии.

Про Фому

Солнце играло с морем в ладушки, залив сверкал, и день час от часу добрел ко всему существу; лодка только что привязалась, её обшарпанный вид оскорблял свежую, умытую, лохматую природу, как промасленный ватник с помойки – цветную лужайку.

Оркестр уже отнадрывался и исчез с пирса вслед за начальством; жёны, выплеснув запас слов, чувств и объятий, отправились по домам дожидаться своих лазаревых и беллинсгаузенных, и для подводника, изнемогшего от земных впечатлений, наступил, наконец, тот самый час, когда можно, рассупонившись, поймать животом солнечный зайчик, подышать, послоняться-пошляться, покурить на виду у всепрощающего на сегодня старпома.

Фома Сергеич, командир БЧ-5, этого стратегического чудовища – атомного ракетносца (газеты часто зовут его «нашим ракетно-ядерным щитом», а подводники – «нашим гидродинамическим ублюдком»), вышел на солнышко, зевнул, как пёс, покинувший свою конуру, ароматно вздохнул, улыбнулся и, сняв пилотку, обнажил свою сивую голову со стрижкой римского легионера. Рубка источала своё обычное подводное зловоние, и жизнь была прекрасна!

– Знаете ли вы Фому? – спросите у любого на Северном флоте.

– Фому? – переспросит любой и странно улыбнется – знает, собака: двадцать пять календарей на «железе» – и только капитан второго ранга!

Кроме того, Фома – большой оригинал: в свободное от БЧ-5 время он рисовал картины (там подводные лодки ласкались малиновым закатом), слагал стихи о своей матчасти и пел романсы с цыганским душевным растрёпом.

В промежутках между романсами и стихами Фома был склонен к импровизации, то есть мог выкинуть нечто такое, за что его уже двадцать пять лет держали на «железе». Фома вышел на пирс тогда, когда с него исчезло начальство. К начальству Фома был холоден. Когда пенсия у вас в кармане, можно исключить лизоблюдство. «Захотят увидеть Фому, – говорил он всегда, – сами слезут».

Жена не встречала его на морском берегу, она ждала его дома, как верная Пенелопа.

Двадцать шестая автономка! Всё! Кончилась! (Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что за автономки дают ордена, плюньте в него тут же стремительно).

Солнце, как мы уже говорили, играло в ладушки; в каждом кубометре ощущалась жизнь! море! брызги! ветер! Лёгкие, чёрт их раздери, работали! Воздух пьянил. В общем, хотелось орать и жить!

«Ура!» – заорал про себя Фома, да так громко, что то, что смогло из него вырваться, посрывало бакланов с ракетной палубы. Фому распирало, он чувствовал, что его понесло; где-то внутри, наливаясь, шевелилась, назревала импровизация; вот-вот лопнет, прорвётся, а лучше сказать – взвизгнув, брызнет весёлым соком. Подводники ведь игривы как дети!

Импровизация на флоте – это когда ты и сам не знаешь, что ты сейчас совершишь и куда ты, взвизгнув, брызнешь.

Фома вошёл в толпу офицеров, где обсуждался вопрос, может ли подводник после автономки хоть что-нибудь или не может.

– За ящик коньяка, – сказал Фома, наставнически выставив палец, – я могу всё. Могу даже присесть сейчас двести раз.

Договорились тут же.

– Раз! Два! Три! – считали офицеры, сгрудившись в кучу. Внутри кучи приседал Фома.

Он присел сто девяносто девять раз. На двухсотом он упал. Улыбку и ноги свело судорогой.

Так его вместе с судорогой и погрузили на «скорую помощь». Лежал он на спине и смотрел в небо, где плыли караваны облаков, и ноги его, поджатые к груди, застыли – разведенные, как у старого жареного петуха.

Домой его внесли ногами вперёд, прикрыв для приличия простынкой.

– Хос-с-по-ди! – обомлела жена. – Что с тобой сделали?!

– Леночка! – закричал он исключительно для жены жизнерадостно и замахал приветственно рукой между ног. – Привет! Всё нормально!

Человек-веха

Фома грелся на солнышке. Только что закончился проворот оружия и технических средств, и народ выполз покурить, подышать. Вот марево! Градусов тридцать, не меньше. В такую погоду где-нибудь на юге купаются и загорают разные сволочи, а здесь вода восемь градусов, не очень-то окунешься, всё-таки Баренцево море.

Я вам уже рассказывал про Фому. Он командир БЧ-5 нашего стратегического чудовища. Помните, как он приседал двести раз, а потом его унесли под простышкой? Ну так вот: на флоте есть «люди-табуреты», «люди-вешалки» и «люди-вехи». На «табуреты» можно сесть, на «вешалку» всё навесить, а «люди-вехи» – это местные достопримечательности. Их просто нельзя не знать, если вы служите в нашей базе.

Фома – это человек-веха. О его выходках легенды ходят.

На отчетно-выборном собрании, где присутствовал сам ЧВС – наш любимый начпо флотилии, в самом конце, когда все уже осоловели и прозвучало: «У кого есть предложения, замечания по ходу ведения собрания?», – раздался бодрый голос Фомы:

– У меня есть предложение. Предлагаю всем друженько встать и спеть Интернационал!

– Что это такое? – сказал тогда ЧВС. – Что это за демонстрация?

– Если вы не знаете, – наклонился к нему Фома, – я вам буду подсказывать.

Однажды Фома шёл в штаб, а штаб дивизии помещался на ПКЗ. Рядом с Фомой, полностью его игнорируя в силу своего положения, шёл наш новый начпо дивизии капитан второго ранга Мокрицын, со связями в ГлавПУРе, высокий, гордый Мокрицын, больше всех наполненный ответственностью за судьбы Родины. У него даже взгляд был потусторонний.

Вахтенный у трапа пропустил Фому и не пропустил начпо:

– А я вас не знаю.

– Что это такое?! – возмутился начпо. – Я – начпо! Что вы себе позволяете?! Где ваши начальники?!

– Вот этого капдва я знаю, – не сдавался вахтенный, – а вас – нет!

Фома тогда вернулся и сказал начпо Мокрицыну, акцентируя его внимание на каждом слове:

– Нужно ходить в народ! И тогда народ будет тебя знать!

Потом Фому долго таскали, заслушивали, но, поскольку он уже давно дослужился до «мягкого вагона» – до капдва, разумеется, – и никого не боялся, то ничего ему особенного и не сделали.

А как-то в отпуске Фома очутился в Прибалтике. Знаете, раньше были такие машинки, инерционные, они сигары сворачивали (со страшным грохотом), а деньги нам в отпуск выдают новенькими купюрами. Фома где-то добыл такую машинку и вложил в неё пачку десяток. Повернёшь ручку – тра-та-та, – и выскочит десятка.

С этой машинкой Фома явился в ресторан. Поел со вкусом.

– Сколько с меня?

– Двадцать один рубль.

Фома открыл портфель, поставил на стол машинку и повернул ручку – рта-та-та, – и перед остолбеневшим официантом вылетела десятка. Полежала-полежала под его остановившимся взглядом и развернулась. Тра-та-та – вылетела ещё одна.

– Ещё хочешь? – спросил Фома. Очумевший официант закрутил головой.

– И эти заберите, – остороженько подвинул Фоме его десятки, сказал: «Я сейчас» – и пропал.

Фома собрал десятки, сложил машинку в портфель и совсем уже

собирался смыться, как тут его взяла милиция.

Милиция оттащила Фому в отделение!

– Ну-ка, – расположилась милиция поудобней, – покажи фокус.

– Пожалуйста, – Фома крутанул аппарат – тра-та-та! – и вылетела десятка. Милиция смотрела как завороженная. Они следили за полётом десятки, как умные спаниели за полётом утки. Тра-та-та – вылетела ещё одна. Милицейский столбняк не проходил. Тра-та-та – получите.

– А можно, я попробую? – спросил наконец один из милиционеров.

– Пожалуйста.

– Тра-та-та.

Тренировались долго. Весь стол забросали десятками. Милиция пребывала в небывалом отупении. Замкнуло их. Всё крутили и крутили, наклонившись вперёд с напряжёнными лицами.

Фоме тогда объявили выговор за издевательство над советской милицией.

По-прежнему припекало. Рядом с Фомой бухнулись офицеры.

– Сейчас искупаться бы!

– А кто тебя держит – ныряй!

– Не-е, ребята, восемь градусов – это сдохнуть можно.

– За ящик коньяка, – сказал Фома, – плыву в чем есть с кормы в нос.

Тут же договорились, и Фома как был, так и сиганул в ледяную воду.

Он проплыл от кормы до носа, а потом влез по шторм-трапу. С него лило ручьями.

И тут его увидел командующий. Он прибыл на соседний корабль и наткнулся на Фому.

Поймав взгляд адмирала и очнувшись неизмеримо раньше, Фома заговорил быстро, громко, с возмущением:

– И всё самому приходится, товарищ адмирал, вот посмотрите, всё самому!

Это всё, что он сказал. Возмущение было очень натуральное. Возмущаясь, он исчез в люке.

Командующий так и остался в изумлении, не приходя в себя. Он так и не понял, чего же «приходится» Фоме «самому».

– Он что, у вас всегда такой? – спросил командующий у командира Фомы, который через какое-то время оказался с ним рядом.

– Да, товарищ командующий, – скривился командир, – слегка того.

И покрутил у виска.

Не может быть

Лодка была вылизана и покрашена; на трап натянули лучшую парусину, под ноги боцмана положили новые маты, а у верхнего рубочного люка главный боцман «окончательно оволосел» – обернул новый мат разовой простынью, после чего проход через него запретили.

Лодка ожидала маршала с инспекцией, и в этом деле она была не одинока: несколько таких же подводных чудовищ привели в такой же невероятный вид, разукрасив их, как потемкинские деревни.

Инспектором был маршал со странной фамилией Держибабу. О нём ходили легенды и предания. Поскольку он был от Министра Обороны, он мог

на флоте выкинуть любой фокус, любое коленце, мог потребовать что угодно и как угодно и размазать мог по всему земному шару.

Этих его «выкидонов» очень боялись, поэтому всё сияло.

Лёха Брыкин давно мечтал порвать с военной карьерой: пенсия в кармане, перспективы не видать, догнывать не хочется, и поэтому для начала он просто запил, что при членстве в партии совершенно недопустимо.

Ему вlepили выговор и сказали, что так нормальные люди не уходят.

Он осознал, бросил пить и стал донимать зама цитатами из классиков, а ещё он читал офицерам газету «Красная звезда», каждый день прямо с утра после построения на подъём военно-морского флага. Например, откроет сзади и прочтет: «...в таком-то военном городке до сих пор нет горячей воды и отопления, отчего батареи все разом хлопнулись, свет электрический при этом тоже накрылся маминым местом, и роддома до сих пор нет», – перевернет и продолжит из передовицы: «...и всё это было достигнуто в результате дальнейшего совершенствования боевой и политической подготовки».

Терять ему было нечего. Зам (слабо сказано) его не любил и всё время сигнализировал кому положено, как маяк в непогоду.

Несмотря на строжайший запрет выхода наверх, Лёха всё-таки выполз покурить через люк десятого отсека. На корабле от многочасового ожидания маршала, когда первая лихорадка прошла, наблюдалось расслабление: командир покинул центральный, сказав, что он «чуть чего – в каюте», зам со старпомом – тоже; дежурный, одурев от чтения инструкций, растёкся по креслу и ждал доклада от заинструктированного до безобразия верхнего вахтенного. Периодически он его взбадривал:

- На верхушке!
- Есть!
- Ближе к «каштану».
- Есть.
- Ты там не спи.
- Есть.
- И смотри мне там.
- Есть.
- А то я тебе...
- Есть.
- Матку выверну.
- Есть.

Маршал появился внезапно, как гром с ясного неба. Маршал был без свиты. Может быть, в результате старости он заблудился, так сказать отбился от стаи, а может, это был ловкий инспекторский ход – сейчас уже никто не знает.

Вахтенный, повернувшись от «каштана», в который он только что доложил, что он бдит, вдруг увидел маршала так близко, в полуметре, что потерял голос и подавился слюной; его просто заклинило. Он превратился в мумию царя Гороха и пропустил маршала, никому об этом не доложив.

Лёха, увидев маршала, сообразил, что, прикинувшись дурнем, можно прямо здесь же, на пирсе, договориться об увольнении в запас, поэтому он тут же оказался у маршала за спиной.

В рубку по трапу маршал поднялся без посторонней помощи, но перед верхним рубочным люком он замешкался: увидел простынь, затоптался, обернулся, ища глазами поддержку, и натолкнулся на Лёху. Тот сиял.

– Товарищ, э-э...

Лёха был в рабочем платье и без погон, поэтому маршал никак не мог его назвать.

– Товарищ, э-э... а как здесь внутрь влезают?

Это «влезают» решило всё.

– Очень просто, – сказал Лёха, – делайте, как я.

С этими словами он скинул отмаркированные ботинки, ступил в носках на чистую простынь, нагнулся и на четвереньках полез вниз головой, перебирая по трапу руками и ногами.

Маршал изумился и сначала засомневался, но всё происходило так быстро, ловко, а главное легко, что он тоже снял туфли, встал на белую простынь, потом на четвереньки...

Центральный почувствовал какое-то движение, какую-то возню в люке, шум, сопенье, кряхтенье, но отреагировать не успел. У среза люка вдруг показался Лёха вниз головой, он подмигнул и сказал:

– Чего вы щас увидите... – прыгнул в носках и пропал.

– Ну-ка, глянь, чего там, – сказал дежурный вахтенному центрального поста. Тот впорхнул в люк и тут же голова к голове столкнулся с маршалом. Матрос увидел красное лицо, налитые глаза и погоны и всё это вверх ногами, то есть вниз головой...

Матрос видел многое, привык ко всему, но чтоб маршал и вверх ногами – этого он не выдержал, он скользнул вниз по поручням и (ни слова дежурному) исчез из центрального со скоростью вихря.

Маршал, увидев, что человек только что был, а потом куда-то упал, от неожиданности разжал руки и улетел вслед за «человеком».

Дежурный в этот момент как раз шагнул в район люка, и маршал вывалился перед ним сырым мешком. Дежурный, увидев маршала перед собой в виде огромной серой кучи, потерял разум и, вместо того чтобы как-то его собрать и помочь, доложил ему, оглохшему от падения колом, что, мол, всё в порядке за время вашего отсутствия.

– Я ему ничего не сделаю, – волновался маршал, вспоминая, когда уже всех нашли, пересчитали и построили в одну шеренгу, – я ему в глаза посмотреть хочу. И что это у вас за экземпляры?

– Товарищ маршал! – старался командир. – Не могу даже предположить, что это был наш офицер! У нас все были на месте. Никто не отлучался. Но у нас с завода всё ещё приходят и работают, может, он оттуда? А вы, значит, не помните, товарищ маршал, какой он из себя был?

– Да как вам сказать, – погружался в видения маршал, – чёрный такой... или подождите, не чёрный...

– У нас все чёрные, товарищ маршал!

– А, вот, молодой такой, сорока ещё нет.

– У нас всем сорока ещё нет, товарищ маршал.

Лёху вычислили и уволили в запас через неделю. На семьдесят процентов пенсии. Его рассчитали, как получившего заболевание в период службы.

О науке

Как у нас на флоте появляется наука? Наука у нас на флоте появляется всегда внезапно и непосредственно перед самым отходом, только нам отчаливать – а она тут как тут. Приезжает какой-нибудь учёный, бледный, с ящиком, подходит он к подлодке и спрашивает у верхнего вахтенного:

– Можно, мой ящичек у вас здесь постоит?

Вахтенный жмёт плечами и говорит:

– Ставьте...

Учёный ставит ящик рядом с вахтенным, а сам подходит к нашему переговорному устройству – «каштану» – и запрашивает у нашего центрального поста «добро» спуститься вниз, чтоб найти кого-нибудь для передачи ему этого заветного ящика, а в ящике – уникальный прибор (пять штук на Союз), который должен пойти в автономку. Пока учёный спускается вниз и ищет, кому передать уникальный ящик, вахтенные меняются, и новый вахтенный уже воспринимает ящик как что-то навсегда данное и принадлежащее пирсу. Первый вахтенный спускается вниз, а наверху появляется старпом.

– Это что? – спрашивает старпом у нового вахтенного, тыкая в ящик.

– Это?... – вахтенный смотрит на ящик детскими глазами центра России.

– Да, да, это что?

– Это?...

– Это, это, – начинает проявлять нетерпенье старпом, – что это?!

– Это?... – задумчиво спрашивает вахтенный и изучающе смотрит на ящик.

И тут старпом орёт, потому что вся сырая масса грубых переживаний предподходовой скачки, вся эта куча влажная тревог и волнений, весь этот груз последних дней, лежащий мохнатым комелем на отвислых плечах старпома, от этих неторопливых раздумий вахтенного вмиг ломает самую тонкую вещь на свете – хрупкий хребет старпомовского терпения.

– И-я-я! С-п-р-а-ш-и-в-а-ю, ч-т-о э-т-о з-а я-щ-и-к! – орёт старпом, дёргаясь совершенно всеми своими конечностями.

Вахтенный тут же пугается, лишается лица, языка, стыда и совести и стоит бестолочью. В глазах у него мертвенный ужас. Теперь из него ничего не выколотить.

А старпом фонтанирует, не остановить; он кричит, что Родина нарожала идиотов, и что все эти идиоты заполнили ему корабль по крейсерскую ватерлинию, и что у этих идиотов под носом можно мину подложить или что-нибудь им самим (идиотам) ампутировать, а они даже не шевельнутся, и что при необходимости можно даже самих этих идиотов выкрасть, завернув во влажную ветошь.

– Тьма египетская! – орёт старпом. – Чего ж тебя самого ещё не завернули?! Чего тебя не украли ещё, изумление?!

Потом он бьёт несколько раз по ящику ногой и затем, схватив двух моряков, говорит им:

– Ну-ка, взяли эту хреновину и задвинули её так, чтоб я её больше никогда не видел!

Моряки берут (эту хреновину) и в соответствии о инструктажем задвигают: оттаскивают на торец пирса и – раз-два-три («Тяжёлая,

гадость») – размахнувшись, бросают её в воду.

А потом сколько возвышенной человеческой грусти, сколько остановившейся печали движения начинает наблюдаться на лице у того учёного, который вылез, наконец, за своим ящиком.

Силы моего мазка не хватает, чтоб описать эту боль человеческую и трагедию. Скажем, как классики: «Птица скорби Симуург распластала над ним свои крылья!».

Варёный зам

Зама мы называли «Мардановым через «а». Как только он появился у нас на экипаже, мы – командиры боевых частей – утвердили им планы политико-воспитательной работы. Все написали: «Утверждаю, Морданов». Через «о».

– Я – Марданов через «а», – объявил он нам, и мы тогда впервые услышали его голос. То был голос вконец изнасилованной и обессиленной весенней тёлки.

Когда он сидел в аэропорту города Симферополя, где человек пятьсот мечтало вслух улететь и составляло по этому поводу какие-то списки, он двое суток ходил вокруг этой безумной толпы, периодически подпрыгивал, чтоб заглянуть, и кричал при этом криком коростеля:

– Посмотрите! Там Марданов через «а» есть?...

Инженер неискушенных душ. Он познал нужду на Чёрном флоте, был основательно истоптан жизнью и людьми, имел троих детей и любил слово «нищета».

– Нищета там, – говорил он про Черноморский флот, и нам тут же вспоминались подворотни Манхеттена.

У него был большой узкий рот, крупные уши, зачеркнутая морщинами шея и тусклый взгляд уснувшего карася.

Мы его ещё ласково называли Мардан Марданычем и «Подарком из Африки». Он у нас тяготел к наглядной агитации, соцсоревнованию и ко всему сельскому: сбор колосовых приводил его в судорожное возбуждение.

– Наш зернобобовый! – изрекали в его сторону корабельные негодяи, а матросы называли его Мухомором, потому что рядом с ним не хотелось жить.

Он любил повторять: «Нас никто не поймет» – и обладал вредной привычкой общаться с личным составом.

– Ну, как наши дела? – произносил он перед общением замогильным голосом восставшей совести, от которого живот начинал чесаться, по спине шла крупная гусиная кожа, а руки сами начинали бегать и хватать сзади что попало.

Хотелось тут же переделать все дела.

Однажды мы его сварили.

Вам, конечно же, будет интересно узнать, как мы его сварили. А вот как.

– Ну, как наши дела? – втиснулся он как-то к нам на боевой пост. Входил он всегда так медленно и так бурлачно, как будто за ним сзади тянулся бронированный хвост.

В этот момент наши дела шли следующим образом: киловаттным кипятильником у нас кипятилось три литра воды в стеклянной банке. Банка кипела, как на вулкане. Чай мы заваривали.

– Ну, как...

Дальше мы не слышали, мы наблюдали: он запутался рукавом в нагревателе и поволок его вместе с банкой за собой.

Мы: я и мой мичман – мастер военного дела – проследили зачарованно их – его и банки – последний путь.

– ...наши дела... – закончил он и сел; банка опрокинулась, и три литра кипятка вылилось ему за шиворот.

Его будто подняли. Первый раз в жизни я видел варёного зама: он взлетел вверх, стукнулся об потолок и заорал как необразованный, как будто нигде до этого не учился, – и я понял, как орали дикие печенеги, когда Владимир-Солнышко поливал их кипящей смолой.

Слаба у нас индивидуальная подготовка! Слаба.

Не готовы замы к кипятку. Не готовы. И к чему их только готовят?

Наконец, мы очнулись и бросились на помощь. Я зачем-то схватил зама за руки, а мой мичман – мастер военного дела – кричал: «Ой! Ой!» – и хлопал его зачем-то руками по спине. Тушил, наверное.

– Беги за подсолнечным маслом! – заорал я мичману. Тот бросил зама и с воплями: «Сварили! Сварили!» – умчался на камбуз. Там у нас служили наши штатные мерзавцы.

– Насмерть?! – спросили они быстро. Им хотелось насмерть.

Мой мичман выпил у них от волнения воду из того лагуна, где мыли картошку, и сказал: «Не знаю».

За то, что он «не знает», ему налили полный стакан.

Мы раздели зама и начали лечить его бедное тело.

Он дрожал всей кожей и исторгал героические крики.

Однако и проняло же его! М-да-а. А проняло его от самой шеи до самых ягодиц и двумя ручьями затекло ниже пояса вперёд и там спереди – ха-ха – всё тоже обработало!

Спасло его только то, что при +28°C в отсеке он вместо нижнего белья носил шерстяной костюм.

Своя шерсть у него вылезла чуть позже – через неделю. Кожа, та тоже слезла, а там, где двумя ручьями затекло, там – ха-ха – снималось, как обертка с сосиски, то есть частично вместе с сосиской.

– Ну, как наши дела? – вполз он к нам на боевой пост осторожненько через две недели, живой. – Воду не кипятите?...

Кувалдометр

– Смирно!

– Вольно!

В центральный пост атомного ракетноносца, ставший тесным от собранных командиров боевых частей, решительно врывается комдив, на его пути все расступаются.

Подводная лодка сдаёт задачу номер два. Море, подводное положение, командиры и начальники собраны на разбор задачи, сейчас будет раздача слонов и пряников.

Комдив – сын героя. Про него говорят: «Сын героя – сам герой!». Поджарый, нервный, быстрый, злющий, «хамло трамвайное». Когда он вызывает к себе подчиненных, у тех начинается приступ трусости.

«Разрешите?» – открывают они дверь каюты комдива; открывают, но не переступают, потому что навстречу может полететь бронзовая пепельница и в это время самое главное – быстро закрыть дверь; пепельница врезается в неё, как ядро, теперь можно открывать – теперь ничего не прилетит. Комдив кидается, потому что «сын героя».

– Та-ак! Все собраны? – комдив не в духе, он резко поворачивается на каблуках и охватывает всех быстрым, злым взглядом.

– Товарищ комдив! – к нему протискивается штурман с каким-то журналом. – Вот!

Комдив смотрит в журнал, багровеет и орёт:

– Вы что? Опупели?! Чем вы думаете? Головой? Жопой? Турецким седлом?!

После этого он бросает журнал штурману в рожу. Рожа у штурмана большая, и сам он большой, не промахнешься; журнал не закрывает её даже наполовину: стучается и отлетает. Штурман, отшатнувшись, столбенеет, «опупел», но ровно на одну секунду, потом происходит непредвиденное, потом происходит свист, и комдив, «сын героя», получив в лобешник (в лоб, значить) штурманским кувалдометром (кулачком, значить), взлетает в воздух и падает в командирское кресло, и кресло при этом разваливается: отваливается спинка и подлокотник.

Оцепенело. Комдив лежит... с ангельским выражением... с остановившимися открытыми глазами... смотрит в потолок... рот полуоткрыт... «Буль, буль, буль», – за бортом булькает дырявая цистерна главного балласта... Ти-хо, как перед отпеванием; все стоят, молчат, смотрят, до того потерялись, что даже глаза комдиву закрыть некому; тяжело... Но вот лицо у комдива вдруг шевельнулось, дрогнуло, покосилось, где-то у уха пробежала судорога, глаза затеплели, получился первый вдох, который сразу срезонировал в окружающих: они тоже вдыхают; покашливает зам: горло перехватило. Комдив медленно приподнимается, осторожно садится, бережно берёт лицо в ладони, подержал, трёт лицо, говорит: «М-да-а-а...», думает, после чего находит глазами командира и говорит: «Доклад переносится на 21 час... помогите мне...», – и ему, некогда такому поджарому и быстрому, помогают, под руки, остальные провожают взглядами. На трапе он чуть-чуть шумно не поскользнулся: все вздрагивают, дёргают головами, наконец он исчезает; командование корабля, не подав ни одной команды, тоже; офицеры, постояв для приличия секунду-другую, расходятся по одному; наступает мирная, сельская тишина...

Нет-нет-нет, штурману ничего не было, и задача была сдана с оценкой «хорошо».

Артюха

Северная Атлантика. 8:20 – по корабельному времени. На вахте третья боевая смена. Подводное положение. Вот он, центральный пост – кладезь ума и сообразительности. Сердце корабля. Командирское кресло в самой середине (сердца), в нём – бездыханное тело. Командир. Утром особенно сильны муки; промаявшись в каюте, но так и не сомкнув глаз, командир тут же теряет сознание, едва его чувствительные центры (самые чувствительные) ощутят под собой кресло; съёженный, скукоженный,

свёрнутый, как зародыш, единоначальник (над ним только Бог)! Командира по мелочам не беспокоят. Пока он спит, служить в центральном можно; боцман дремлет на рулях: глаза закрываются, под веками бегают зрачки; спит; посмотрелся фильмов, старый козёл, ни одного не пропустит. Вахтенный офицер наклоняется к нему: «Бо-ц-ма-ан... Гав-ри-лыч...» – «Да-да-да...» – говорит Гаврилыч и опять засыпает. Но зато он чувствует лодку до десятых долей градуса. Вахтенный механик бубнит что-то, уткнувшись в конспект; инженер-вычислитель, покосившись на командира, осторожно дёргает акустиков раньше времени с докладом: «А-ку-с-ти-ки...»; те понимают, что раз дёрнули заранее, значит командир спит, и, чтоб не будить «зверя», шёпотом докладывают: «Го-ри-зо-нт чи-с-т...».

В боковом ответвлении центрального поста, справа по борту, рядом со своими клапанами, за пультом сидит старшина команды трюмных мичман Артюха, по кличке Леший, – маленький, плешивый, паршивый; редкие перья волос разлетелись в разные стороны, в них – пух от подушки: прямо с койки на защиту Родины, на физиономии – рубцы и полосы.

В каждом отсеке есть свой юродивый. Артюха – юродивый центрального поста. Юродивый – это тот, кому можно говорить всё, что хочется, за человека его всё равно не считают, а поскольку выходки его выходят за грань наказуемости и нормальности, то они веселят народ. А народ сейчас спит. Дремлет народ.

Артюха начинает устраиваться, зевает, раздирая скулы: ай-ай-ой, чёрт... Нет, нужно встряхнуться, к кому бы привязаться? Артюха не жалеет никого, даже командира БЧ-5. Ага, вот и он, лёгок на помине (в центральный входит мех), проживет лет сто, хоть на вид этому зайцу лет триста. Бэчепятый входит осторожно, чтоб не загреметь, и сгоняет вахтенного инженер-механика с нагретого места: «Иди, займись компрессорами»; сев, бэчепятый с минуту смотрит тупо, седой как лунь болотный, сип белоголовый, под веками – куски набрякшей кожи, оттяни – так и останется висеть, как у больного холерой. И ни одна холера его не берёт. Артюха подглядывает за бэчепятым. Тот моментами роняет голову на грудь: хронический недосып, поражен, поражен, бродяга. Вчера эта тоскливая лошадь командовала аварийной тревогой, пустяковое возгорание, но трус! мать моя орденоносная, кромешный! Бегал, орал, махал, кусал, обрывал «каштан». Все носились бестолковые, от неразберихи запросто могли и утонуть. Не приходя в сознание, бэчепятый принимает доклады из отсеков, подбородок его покоится на груди, глаза закрыты, волосы разметаны, только руки наощупь переключают «каштан». Спит.

– Товарищ капитан второго ранга, – вырывается у Артюхи.

Когда его «заносит», он и сам удивляется тому, что говорит:

– Товарищ капитан второго ранга, а я знаю, почему вы такой седой.

– А? – просыпается механик. – Что? А? Седой? Ну? – С интересом: – Отчего?

– А... от трусости...

Бэчепятый, проснувшись окончательно, багровеет, наливаясь витаминным соком; инерционность у него огромная. Наконец:

– Артюха! – верещит он. – Артюха!...

– А чего? – говорит тот. – Я ничего... Я читал... в «Химии и жизни»...

Артюха мгновенно становится дураком, лупоглазит, все просыпаются и

уже давятся от смеха.

– Артюха! – верещит бэчепятый, всё-таки долго у него в организме идут процессы. – Со-ба-ка...

– Мы-ы-ы... – от визга механика просыпается командир; он открывает глаза – в них туман новорождённого.

Бэчепятый резво оборачивается к нему, смотрит испуганно, напряжённо, с тоскливой надеждой, только бы не разбудить, а то...

– Ы-ы-ы... – командир закрывает глаза, морщится, страдает в истоме, жуёт причмокивая, брови его вдруг хмурятся грозно-грозно.

Бэчепятый смотрит зачарованно, смотрит-смотрит, оторвав зад от стула, в испарине привстав. Лоб у командира разглаживается, застывает, коченеет, заоченел. Фу! Бэчепятый садится, плечи у него опускаются, он поворачивается и снова видит Артюху, про которого он уже успел забыть, у того вид деревенского дурня.

– В!О!Н! В-о-н от-сю-да!!! А начальника твоего сюда, сюда, мама ваша лошадь, сюда! – шипит механик.

Артюха исчезает. Центральный после его выходки – бодрый, как после кофе: боцман на рулях, инженер – на карте, вахтенный офицер – во главе торчит, бэчепятый, поскуливая, ждёт Артюхина начальника, командир – без чувств, корабль плывёт – все при деле.

Кислород

– Химик! В качестве чего вы служите на флоте? В качестве мяса?!

Автономка. Четвертые сутки. Командир вызвал меня в центральный, и теперь мы общаемся.

– Где воздух, химик?

– Тык, товарищ командир, – развожу я руками, – пошло же сто сорок человек. Я проверил по аттестатам. А установка... (и далее скучнейший расчёт), а установка... (цифры, цифры, а в конце) ...и больше не может. Вот, товарищ командир.

– Что вы мне тут арифметику... суёте?! Где воздух, я вас спрашиваю? Я задыхаюсь. Везде по 19% кислорода. Вы что, очумели? Четвертые сутки похода, не успели от базы оторваться, а у вас уже нет кислорода. А что же дальше будет? Нет у вас кислорода, носите его в мешке! Что же нам, зажать нос и жопу и не дышать, пока у вас кислород не появится?!

– Тык... товарищ командир... я же докладывал, что в автономку можно взять только сто двадцать человек...

– Не знаю! Я! Всё! Идите! Если через полчаса не будет по всем отсекам по двадцать с половиной процентов, выверну мехом внутрь! Идите, вам говорят! Хватит сопли жевать!

Скользя по трапу, я про себя облегчал душу и спускал пары:

– Ну, пещера! Ну, воще! Терракотова бездна! Старый гофрированный... коз-зёл! Кто управляет флотом? Двоечники! Короли паркета! Скопище утраченных иллюзий! Убежище умственной осклопленности! Кладбище тухлых бифштексов! Бар-раны!...

Зайдя на пост, я заорал мичману:

– Идиоты! Имя вам – легион! Ходячие междометия. Кислород ему рожай! Понаберут на флот! Сейчас встану в позу генератора, лузой кверху, и буду

рожать!

Вдохнув в себя воздух и успокоившись, я оказал мичману:

– Ладно, давай, пройдишь по отсекам. Подкрути там газоанализаторы. Много не надо. Сделаешь по двадцать с половиной.

– Товарищ командир, – доложил я через полчаса, – везде стало по двадцать с половиной процентов кислорода.

– Ну вот! – сказал командир весело. – И дышится, сразу полегчало. Я же каждый процент шкуркой чувствую. Химик! Вот вас пока не напаялишь... на глобус... вы же работать не будете...

– Есть, – сказал я, – прошу разрешения. – Повернулся и вышел.

А выходя, подумал: «Полегчало ему. Хе-х, птеродактиль!».

Кают-компания

Северная Атлантика. Четыре часа утра по корабельному времени. Кают-компания второго отсека подводной лодки, которая за исключительные акустические достижения прозвана «ревущей коровой». Подводное положение. Завтрак первой боевой смены – самое весёлое время на корабле: анекдоты, флотские истории, что называется «травля». Смех в это время способен поднять с койки даже объевшегося таблеток зама (его дверь выходит в кают-компанию), и тогда в дверном проеме появляется лохматая голова: «Неужели потише нельзя? люди же спят!». «Люди» – это он и есть, замполит, остальные на вахте, правда, в каюте рядом ещё спит торпедист, но, во-первых, торпедиста никогда не добудишься, и, во-вторых, торпедист – это ещё не «люди».

Смех в кают-компании. Акустики жалуются, что смех в кают-компании мешает им слушать горизонт.

Флотский смех. Флот можно лишить спирта, но флот нельзя лишить смеха.

– Видишь ли, Шура, – Яснов, старый капитан третьего ранга, делает паузу, для того чтобы вручить вестовому стакан, показать знаком – «Налей», возвращается к молодому лейтенанту. (Кроме лейтенанта за столом ещё четверо. Все уже кашляют от смеха и шикают друг на друга: «Зама не разбуди»). – Кстати, однажды вот так даю вестовому стакан, был у нас такой Ведров, и говорю ему: «Плесни водички». Я имел в виду чай, разумеется; ну, он мне и плеснул... воды из-под крана. Конкретней выражайте свои желания в общении с нашим любимым личным составом! Хорошо ещё, что не сказал: «Плесни помой», – кофе, разумеется.

Личный состав должен быть тупой и решительный, исполнительный до безобразия и доведенный в этом безобразии до автоматизма.

Жизнь наша, Шура, коротка и обкакана, как детская распашонка, основной лозунг момента – спешите жить, Шура, спешите чувствовать, смеяться. Смешливые встречаются только на флоте, в остальных местах их уже перестреляли. Но если нас на флоте перестрелять, то кто же тогда будет служить в антисанитарных условиях? Как вам уже известно, Шура, чтобы смеяться на флоте, надо прежде всего знать, что же предусмотрено по этому поводу в правилах хорошего тона. А в правилах хорошего тона предусмотрены анекдоты о начальстве. О том самом начальстве, что ближе к твоему телу, естественно. Но! О командирах и покойниках плохо не говорят.

Старпом? Анатолий Иванович – Божий человек. То есть человек, уже обиженный Богом, а это тема печальная. Помощник – мелочь скользкая, лишенная с детства лица, недостойная ни юмора, ни аллегорий. Остаётся, сам понимаешь, только зам – боевой замполит.

Сколько их было, Шура, пузатых и ответственных, за мои пятнадцать лет безупречной службы. За это время я вообще поменял кучу начальства: пять командиров, двух старпомов, семь замов и помощников без числа.

Кстати говоря, Шура, сейчас как раз не вредно проверить, закатилось ли наше «солнце» (кивок на дверь зама), греет ли оно в этот момент о подушку свой юфтевый затылок, не прилипло ли оно ушами к переборке? А то, сам понимаешь, как бы не оболгать себя! Не хочется потом стоять под этой самой дверью и сжимать до пота конспект первоисточников. «Солнце» вообще-то с вечера должно было нажраться таблеток, но на всякий случай глянь, пожалуйста.

(Лейтенант поднимается, бесшумно подходит к замовской двери, нагибается и смотрит в замочную скважину, потом он осторожненько открывает дверь и заглядывает внутрь. Зам спит на коечке не раздеваясь).

Умер? Я так и думал. Свершилось! Я присутствовал, когда он клянчил у доктора эти таблетки. Выклянчил и съел сразу пять штук. Док чуть не рехнулся. Одна такая таблетка находит в организме мозг и убивает его в секунду. А впятером они найдут мозг, даже если он провалился в жопу. Ох уж эти замполиты! Заявление зама в «каштан» вахтенному офицеру: «Передайте по кораблю: на политинформацию опаздывает только офицерё!».

Замполиты! Люблю я это сословие.

Кстати о бабочках: нельзя, Шура, подглядывать в дырочку. Один зам жил на корабле через переборку с командиром БЧ-5 и всё время за ним следил: просверлил в переборочке дырочку и всё время подглядывал. Интересовался, кулёма, пьёт бэчэпятый или не пьёт. А бэчэпятый тот был старый-старый и с лица тупой. И вот однажды, выпив стакан и крикнув, заметил тот бэчэпятый в той дырочке глазик. Взял он со стола карандашик и ткнул его в дырочку.

Говорят, зам выл до конца автономки. Партийно-политическая работа была завалена на корню, а глаз ему не вставил даже Филатов.

Так вот, Шура, у нас сейчас будет не просто мелкий трёп, у нас будет рассказ. А у каждого рассказа должен быть свой маленький эпиграф.

Не будем, конечно, в качестве эпиграфа использовать изречение того командира БЧ-5. Он сказал: «Был бы человек, а то зам!». Его уволили в запас за дискредитацию высокого офицерского звания. Кстати, отгадай загадку: чем те комиссары отличаются от этих замполитов? Сдаёшься? Те получали в первую очередь – пулю, Шура, а эти – квартиру.

А надводники говорят: «Корабль без зама – всё равно что деревня без дурачка».

Люблю я это сословие. Пусть эта фраза и будет нашим эпиграфом. Итак...

Пришёл к нам молодой, цветущий зам. В замах всего семь лет, из них три года в каких-то комсомольцах, где его никто не видел. (Я как-то говорю нашему дивизионному дурню – комсомольскому вожаку: дай, говорю, твоё фото, я тебя в кубрике повешу, чтоб народ знал, кто его официально зовёт и ведёт). Ну так вот, пришёл к нам этот зам, и на груди у него горит «бухарская

звезда» – орден «За службу Родине».

Мы с рыжим штурманом сразу же заметили у нашего юного зама этот орден. Для рыжего это был вообще большой удар. Он как уставился заму на грудь, вылупился, задышал. Чувствую, назревает у него неприличный вопрос. Сейчас ляпнет. Решаю разрядить обстановку и говорю: «Александр Сергеич! (Зама звали – как Пушкина). Я вас бесконечно уважаю, но вот штурман (рыжий смотрит на меня изумлённо) интересуется, как это надо так служить Родине, чтоб получить от неё вот такую красивую звезду? А то у нас с ним на двоих тридцать семь календарей на «железе» и только тридцать неснятых дисциплинарных взысканий! И всё! Больше никаких наград».

Зам чего-то жуёт и исчезает. А потом он нам рассказал, как такими орденами награждают. Я, говорит, служил на «дизелях», и был у нас там мичман Дед. И служил тот Дед на «дизелях» ещё с войны, лет тридцать календарных. И решили мы его перед уходом на пенсию орденом Красной Звёзды наградить. Десять раз нам представление возвращали: то вставьте, что он конспектирует первоисточники, то укажите, как он относится к пьянству. (А как человек может относиться к пьянству, етишкин водопровод, тридцать лет на «железе»: конечно же, положительно, то есть отрицательно). Потом возвращают: вставьте, как он изучает пленум. В общем, родили мы, говорит, то представление, послали, вздохнули – и ни гу-гу! Я, говорит, справлялся потом – перехватили орден.

«Как это «перехватили»?» – спрашиваем мы, глупые.

«А так, – говорит, – выделяют по разнарядке пять орденов, ну и политуправление их все себе перехватывает. У них пять лет прослужил – Красная Звезда, ещё пять лет – Боевого Красного Знамени, а если ещё пять лет протянул и не выгнали – орден Ленина».

Все наши онемели. «Александр Сергеич, – говорю я тут, потому что мне терять нечего, – что же вы тут такое говорите? Вы же только что сказали, что политуправление, которое у нас висит отнюдь не в галюне, ордена ворует! А ваша «бухарская звезда» из той же кучи?».

Зам, бедный, становится медный, потеет и пахнет противно. Он мне потом всё пытался прошить политически незрелые высказывания. А чего тут незрелого, не понимаю? Что вижу, то пою.

Моя жена как-то тоже увидела на зама то ритуальное украшение, увидела и говорит мне: «А почему у тебя нет такого ордена?». Ну, чисто женский вопрос! Я ей терпеливо объяснил, что замы служат Родине неизмеримо лучше. Ближе они. К Родине. Вот если представить Родину в виде огромного холма, то она со всех сторон будет окружена замами. А потом думаю: вот ужас-то! Родина-то окружена замами! Отечество-то в опасности!

И ещё нашего зама раздражали мои выступления на партсобрании. Я как выступлю! Ярко! Так партсобрание меняет тему и начинает мне отвечать. Сочно. Особенно зам с командиром. Так и рвут друг у друга трибуну. Так и рвут. И сплошные синюшные слюни кругом. А потом я замолкаю года на полтора. Сажу на партсобрании тихо, мирно, как все нормальные люди, сплю, никуда не лезу, а зама одинаково раздражала и моя болтливость, и моя молчаливость. Всё угадывал в ней многозначительность. «А почему вы не выступаете? Вас что, тема собрания не волнует?» А я ему на это: «У нас, – говорю, – темы повторяются с удручающей периодичностью. Это она вам интересна, потому что рассчитана на сменность личного состава. А я –

бессменный, поймите, бес-смен-ный! Вы у нас пятый зам, а я на «железе» торчу больше, чем вы прожили в сумме в льготном исчислении, и скоро совсем здесь подохну от повышения ответственности и слышал её, вашу тему, уже пять раз, и пять раз она волновала меня до истерики, а потом – всё, как отрезало, отхохотались!».

А как я ему зачёт по гимну сдавал? Это была моя лебединая песня. Я потом когда рассказывал людям, у меня люди заходились в икоте.

Решил однажды зам принять у нас зачёт по гимну. (Он у нас, у командиров боевых частей, ещё ежедневно носки проверял, сукин кот. «Командирам боевых частей построиться в малом коридоре! Командиры боевых частей, ногу на носок ставь! Показать носки!»). И я знал, что если у меня носки чёрные или синие, значит я служу хорошо и в тумбочке у меня порядок, а если у меня носки красные или белые, то служу я плохо и в тумбочке у меня бардак. То есть критерияльно мог в любой момент оценить свою службу).

И тут – гимн! Напросился я первым сдавать. Зашёл к заму, встал по стойке «смирно» и запел, а зам сидит, утомлённый, и говорит: петь не надо, расскажите словами. Не могу, говорю, это ж гимн! Могу только петь и только по стойке «смирно». Пою дальше – зам сидит. Спел я куплет и говорю ему: «Александр Сергеич, это гимн, а не «Растаял в дурацком тумане Рыбачий...», неудобно, я пою – вы сидите». Пришлось заму встать и принять строевую стойку. Он слегка подзабыл это дело, но мы ему напомнили.

А одно время у нас в замах прозябал один такой старый-старый и плешивый. Он всё ходил по подводной лодке и боялся за своё драгоценное здоровье. Однажды он меня до того утомил своим внешним видом, что я сказал ему: «Сергей Сергеич, да на вас лица нет! Что с вами? Как вы себя чувствуете?». (Я не стал ему, конечно, говорить, что у него своего лица никогда и не было).

«Да?!» – сказал он и заковылял к доктору. Надо вам сказать, что этот зам родился у нас только с одним полушарием головного мозга, и причём сделал он это в тот переломный период Второй мировой войны, когда ещё было не ясно, то ли мы отступаем, то ли уже победили. Он был такой маленький, высохший и воспринимал только девизы соцсоревнования, да и те с какой-то мазохистской радостью. Ну и какой-нибудь не очень крупный лозунг мог уцепиться у него за извилину. Вползает он к доку и с пришибленной улыбкой объясняет: что-то, мол, плохо себя чувствую.

А доктор у нас в то время служил глупый-преглупый. Бывало, посмотришь на него, и становится ясно, что ещё в зародыше, ещё в эмбриональном состоянии было рассчитано, что родится дурак, с пролежнем вместо мозга. Мысль, зародившись, бежала у него по позвоночному столбу резво вверх, бежала-торопилась со скоростью шесть метров в секунду и, добежав до того места, где у всех остальных начинается мозг и личность, стряхивалась, запыхавшись, с последнего нервного окончания в кромешную темень.

Какой-то период он даже подвизался на nive урологии – дёргал камни из почек. Это когда с помощью такой тоненькой проволоочки делается такая маленькая петелечка. Потом эта петелечка просовывается в мочевого канал, там, как лассо, накидывается на камень, и с криком – ки-ия! – выдирается... камень. Испанские сапоги по сравнению с этим делом выглядят как мягкие

домашние тапочки.

Вот такого дали нам доктора-орла. Если он чего и разрезал у человека, то одновременно изучал это дело по описаниям. Разрежет и сравнит с картинкой.

В то время когда к нему вполз зам, док уже досконально изучил человеческое сердце: зубцы, кривые и прочие сердечные рубцы. Трезвея от восторга, он уложил холодеющего зама на лопатки, приспособил картограф, утыкал зама мокрыми датчиками и торжественно нажал на клавиш, сказав предварительно заму: «Практика – критерий истины!».

Зам лежал и смотрел на него, как эскимос на чемодан, замерев в немом крике.

Та-та-та – вышла лента. «Видите?» – ткнул док зама носом в ленту. Зам сунул свой нос и ничего не увидел. «Вот этот зубок», – любовался док. «Чего там? – наострил уши зам, приподнимаясь на локте, – чего? А?» – «А это... предынфарктное состояние. Всё, Сергей Сергеич, финиш».

Шлёп – и зама нет. Без сознания. Пришёл в себя через сутки. Неделю не вставал; проложив ухо к груди, слушал себя изнутри.

А ты знаешь, Шура, что раньше у замов было трёхгодичное высшее образование. На первом курсе они изучали основы марксистско-ленинской философии и историю КПСС, на втором – какую-то муть гальваническую и игры и танцы народов мира, с практической отработкой и зачётом (представь себе зама, танцующего на столе зачётный танец индийских танцовщиц: на ногах обручи, и та-та-та – босыми ножками), а на третьем курсе – плакаты, боевые листки и шестнадцатимиллиметровый проекционный аппарат. Целый год – аппарат, потом – госэкзамены.

Кстати об экзамене; в учебном центре является такой замполит с укороченным образованием на экзамен. Раньше они сдавали экзамены по устройству корабля наравне со всеми. Это теперь не поймёшь что, а раньше зам должен был знать «железо». Может, замучились их обучать?

И вот попадается ему устройство первого контура: название, состав и так далее. А он уставился на преподавателя, как бык на молоток. По роже видно, что в мозгу один косинус фи, да и тот вдоль линии нулевого меридиана.

Взял он билет и забубнил: «Я знаю устройство клапана».

«Очень хорошо, – говорит преподаватель, – отвечайте первый контур». А тот ему: «Я знаю устройство клапана». – «Ну при чём здесь клапан?!» – не выдерживает преподаватель.

В общем, зама выгоняют, ставят ему два шара, а на следующий день преподавателя вызывают в политотдел. Там он психует, орёт, бегаёт, полощет руками по кустам: «Да! Он! Вообще! Ничего! Не знает!».

«Как это, – говорят в политотделе, – он же знает устройство клапана?!»

И вот такие ребята-октябрюта, Шура, нами руководят и ведут нас, и куда они нас приведут со своим трёхклассным образованием – одному Богу известно.

Запускают к нам как-то на экипаж очередного зама. Чудо очередное. Пе-хо-та ужасная! Зелёный, как три рубля. Запускают его к нам, и он в первый же день напарывается у нас на обелиск. Ты ведь знаешь этот памятник нашей бестолковости: установили на берегу куски корпуса и рубки, которые должны были изображать монумент. (Памятники нам нужны?

Нужны! Ну, вот – дёшево и сердито). Ну, и снегом это творение отечественного вдохновения слегка занесло. В общем, море, лёд, мгла, рубка торчит – вот такая героика будней, – и тут наш новый чудесный зам идёт мимо и спрашивает: «А чего это корпус у лодки не обметается и вахта на ней не несётся?». С трудом поняли, что он хочет сказать. Узнали и объяснили ему, сирому, что лодка, она в пятьдесят раз больше и так далеко она на берег не выползает. Не выползает она! Ну, полный корпус, Шура! Ну, так же нельзя! Зам, конечно же, нужен для оболванивания масс, но не с другой же планеты!

А третий дивизион у нас в то время был полностью набран из ублюдков. Они, собаки, повадились переключать ВВД как раз в то время, когда замовская задница замаячит в переборке. Перемычка в третьем как раз над переборкой висит.

Ну, и звук от этого дела такой, как будто у тебя гранату над головой рвут. Зам падает пузом на палубу и ползёт по-пластунски. А трюмные, сволочи, кричат ему сверху: «Воздух! Воздух!».

Раз пятнадцать ползал и каждый раз приходил в центральный, и командир третьего дивизиона с глупым видом объяснял ему, что ВВД – это воздух высокого давления, что засунут этот воздух в баллоны, что баллоны соединены перемычкой и что, если переключать ту перемычку, то нужно держаться от неё подальше, чтоб штаны были посуше.

Как-то заблудился он в пятом. Перелезает из четвёртого в пятый и идёт решительно по аналогии. Он решил, что все переборки во всех отсеках должны быть на одном уровне. Идёт он, идёт и упирается башкой недоделанной в дверь выгородки преобразователей. Открыл, вошёл, а там вроде перьспектива, перьспектива и теряется. Зам удивляется, чего это отсек стал такой узкий, но протискивается. Решительный был и бесповоротный. Допротискивался. Чуть не застрял. И лодка кончилась. Вот трагедия! «Как это кончилась?! – подумал зам. – А где же ещё пять отсеков?» Выходит он из выгородки задумчивый и медленно движется до переборки в четвёртый; садится в открытой переборочной двери и думает: «Не может быть!» Опять, решительный, шмыг в пятый, дверь выгородки на себя, шась – лодка кончилась, и опять медленно в четвёртый, а по дороге думает напряжённо, аж тихо тарахтит.

А вахтенный пятого с верхней палубы через люк свесил голову, наблюдает замовские телодвижения и говорит: «Товарищ капитан третьего ранга, может, вы в шестой хотите пройти?». Недоделанный задирает свою башку, и тут долгое – «Да-а-а...» – «Так это ж наверх!».

И они нас учат жить, конспекты конспектировать. А сколько раз его в гальюне запирали? На замок. Идёшь и слышишь: бьётся одинокое тело – опять зама закрыли.

В гальюне запирали, из унитаза обливали. Поставят тугую пружину, зам жмёт-жмёт ножкой – никак, жмёт с наскоком – и поскользнулся, рожей в унитаз, и уворачивается потом от подброшенного навстречу дерьма. А где ж тут увернёшься?! Пробирается потом в каюту огородами. И в этот момент его любил отловить старпом. «Сергей Саныч! – говорил в таких случаях старпом, словно ничего не замечая. – Эту таблицу подведения итогов соцсоревнования надо пересмотреть. Чего это ты за боевой листок по пять очков даёшь?» Зам мнётся, как голый перед одетым. «Саныч, – говорит

старпом лживо, – а чего это от тебя неизменно, непрерывно говнецом потягивает?» У зама рот на сторону, и в каюту бегом, и чёрный ходит целую неделю. Над ним все издевались. Помощник ему однажды красную строительную каску подарил. Повадился помощник попадаться заму на глаза в ночное время в строительной каске. Долго ходил, пока зам, наконец, не клюнул и не спросил его: «А что это у вас на голове?» – «А это у нас на голове каска, – говорит помощник, – головой все время о трубопроводы бьёшься, вот и пришлось надеть».

«И я вот тоже... бьюсь», – говорит опечаленный зам. Он своей культияпкой глупой в каждом отсеке переборки открывал и трубопроводы бодал по всему кораблю. Шишек на голове было столько, что вся голова на ходу чесалась. Откроет переборку, тяпку свою наклонит вперёд, переборку отпустит и полезет. Дверь в этот момент начинает закрываться и с головой встречаться – бах! Постоит-пошипит – уй-уй-уй! – почешет, опять откроет дверь, опять – бах! «Вот и мне бы...» – мнётся зам. «Дарю», – говорит помощник и надевает ему на голову этот шлемофон.

А ночью командир проверял корабль и в ракетном отсеке наткнулся на зама в каске. Представляете: ночь, тишина, командир идёт бесшумно из отсека в отсек, и тут навстречу ему открывается переборочная дверь, и лезет в неё сначала задница, а потом и голова в красном шлеме с безумными глазами.

Командир от неожиданности – юрк! – за ракетную шахту и оттуда крадёт, а зам проходит мимо, безмолвный как привидение, и так же безмолвно – трах! – головой об трубу с малиновым звоном. У кэпа нервы не выдерживают, он подпрыгивает и тоже головой – на!

Как говорил в таких случаях Лопе де Вега, «лопни мои глаза, если вру!». Факелов – была у зама того фамилия. Старпом его называл – «наш поджигатель». «Где, – говорил, – наш поджигатель?»

Через два года назначили к нам новое междометие. «Я, – говорил он, – представитель флотской интеллигенции», – после чего он добавлял кучу неприличных слов, не свойственных, как мне кажется, представителю нашей флотской интеллигенции. Весь личный состав он делил на «братанов» и «мурлонов». «Мурлонов» было больше. Очень он любил на собрании чистить зубы гусиным пером. Садился в президиуме, доставал перо и чистил. Раз мы ему устроили: когда он в очередной раз посвятил себя в президиуме зубам, все офицеры неторопливо достали перья бакланьи, воткнули их себе в рот и давай ковырять.

Зам стал красным, как пасхальное яйцо. А потом его ещё «прапорщиком» достали. У нас в кают-компании была любимая пластинка – «прапорщик». Как поставишь её, она пошелестит-пошелестит и вдруг ни с того ни с сего как грянет: «Пра-пор-щик!!! Он – помощ-ник о-фи-це-ра! Он – ду-ша сол-да-та! Пра-пор-щик!!!».

Ставили её в восемь часов утра, когда у зама кончался бред и начинался сон. И вдруг исчезает и пластинка, и игла от проигрывателя. Ясно – кроме зама, украсть некому. Набрали мы боевых листков и стали рисовать на них плакаты: «Вор! Верни нам прапорщика!», а под этой надписью рисовали огромную руку, тянущуюся к пластинке. Всё это вешалось в кают-компании, а рядом с замом специально заводили соответствующие разговоры: мол, все уже знают, кто это свистнул, но пусть пока помучается. Не выдержал зам –

вернул и иголку и «прапорщика».

А предпоследний зам у нас был размером со среднюю холмогорскую корову и обладал выразительной величины кулаками, которые использовал в партийно-просветительной работе. Мозг у него, как и у всех наших замов, появлялся только втягиванием через нос, да и то только в пасмурные дни. Где-то я читал: «Каждый член его дышал благородством». Так вот, ни один член этого прямого потомка лошади Чингисхана не дышал благородством. «Ах ты сукодей, растакую вашу мамашу», – говорил он матросу в три часа ночи. Вызовет какого-нибудь Тимургалиева посреди Атлантики и давай его обрабатывать.

«Сука, – кричит, – щас как вмажу-у!!!» – и бьёт при этом в стенку каюты. А стенки у нас были картонные и гнулись куда хочешь, и с той стороны, на уровне замовского кулака, головенкой к переборке, спал вплотную наш ротный алкоголик-запевала, Юрий Ненашев, по кличке – «Перед употреблением взболтать», командир второго отсека, потомственный капитан-лейтенант – тема всех наших партийных собраний.

От удара Юрий падает головой в проход между койками и на четвереньках слетает вниз, находит своё индивидуальное спасательное средство и, обнимая его одной рукой до судорог, другой – вызывает центральный и докладывает: «Во втором замечаний нет!». Центральный некоторое время молчаливо соображает, а потом спрашивает: «А что у вас там было, что замечаний не стало?» – «Удар по корпусу!» – чеканит Юрий. Вот так, Шура...

– Приготовиться к всплытию на сеанс связи и определение места! – донеслось из «каштана».

Кают-компания пустеет. Вестовой, забирая со столов стаканы, хихикает, он слышал всё из буфетной. Скоро придёт вахтенный и с третьего раза поднимет торпедиста. Тот, поскуливая и спотыкаясь, отправится к себе в отсек.

Зама так и не удастся поднять. Командиру на всплытии, среди суетни и дерготни, доложат, что зам болен, и командир, торопясь на перископ, махнет рукой и скажет про себя: «Да и хрен с ним».

Пардон

Этого кота почему-то нарекли Пардоном. Это был страшный серый котик самого бандитского вида, настоящее украшение помойки. Когда он лежал на теплой палубе, в его зелёных глазах сонно дремала вся его беспутная жизнь. На трапец его затащили матросы. Ему вменялось в обязанность обнуление крысиного поголовья.

– Смотри, сука, – пригрозили ему, – не будешь крыс ловить, за яйца повесим, а пока считай, что у тебя пошёл курс молодого бойца.

В ту же ночь по кораблю пронёсся дикий визг. Повыскакивали кто в чём: в офицерском коридоре Пардон волок за шкурку визжащую и извивающуюся крысу, почти такую же громадную, как и он сам, – отработывал оказанное ему высокое доверие. На виду у всех он задавил её и сожрал вместе со всеми потрохами, после чего, раздувшись как шар, рыгая, икая и облизываясь, он важно продефилировал, перевалился через комингс и, волоча подгибающиеся задние ноги и хвост, выполз на верхнюю палубу подышать

свежим морским воздухом, наверное только для того, чтобы усилить в себе обменные процессы.

– Молодец, Пардон! – сказали все и отправились досыпать.

Неделю длилась эта кровавая баня: визг, писк, топот убегающих ног, крики и кровь наполняли теперь матросские ночи, а кровавые следы на палубе вызывали у приборщиков такое восхищение, что Пардону прощалось отдельные мелочи жизни. Пардона на корабле очень заужавали, даже командир разрешил ему появляться на мостике, где Пардон появлялся регулярно, повадившись храпеть в святое для корабля время утреннего распорядка. Он стал ещё шире и лишь лениво отбегал в сторону при встрече с минёром.

Есть мнение, что минные офицеры – это флотское отродье с идиотскими шутками. Они могут вставить коту в зад детонатор, поджечь его и ждать, пока он не взорвётся (детонатор, естественно). Есть подозрение, что минные офицеры – это то, к чему приводит офицера на флоте безотцовщина. Минер – это сучье вымя, короче. Пардон чувствовал подлое племя на расстоянии.

– Ну, кош-шара! – всегда восхищался минёр, пытаюсь ухватить кота, но тот ускользал с ловкостью мангусты.

– Ну, сукин кот, попадётся! – веселился минёр.

«Как же, держи в обе руки» – казалось, говорил Пардон, брезгливо встряхивая лапами на безопасном расстоянии.

Дни шли за днями. Пардон ловко уворачивался от минёра, давил крыс и сжирал их с исключительным проворством, за что любовь к нему всё возрастала. Однако через месяц процесс истребления крыс достиг своего насыщения, а ещё через какое-то время Пардон удивил население корабля тем, что интерес его к крысам как бы совсем ослабел, и они снова беспрепятственно забродили по кораблю. Дело в том, что, преследуя крыс, Пардон вышел на провизионку. И всё. Боец пал. Погиб. Его, как и всякую выдающуюся личность, сгубило изобилие. Его ошеломила эта генеральная репетиция рая небесного. Он зажил, как у Христа под левой грудью, и вскоре выражением своей обвислой рожи стал удивительно напоминать интенданта. Пардон попадал в провизионку через дырищу за обшивкой. Со всей страстью неприкаянной души помоечного бродяги он привязался к фантастическим кускам сливочного масла, связкам колбас полукопченых и к сметане. Крысы вызывали теперь в нём такое же неприкрытое отвращение, какое они вызывают у любого мыслящего существа. Вскоре бдительность его притупилась, и Пардон попался. Поймал его кок. Пардона повесили за хвост. Он орал, махал лапами и выл что-то сквозь зубы, очень похожее на «мать вашу!».

Его спас механик. Он отцепил кота и площадно изругал матросов, назвал их садистами, сволочами, выродками, скотами, «бородавками маминой писи», ублюдками и суками.

– Отныне, – сказал он напоследок, – это бедное животное будет жить в моей каюте.

Пардон был настолько умен, что без всяких проволочек тут же превратился в «бедное животное». Свое непосредственное начальство он теперь приветствовал распушенным хвостом, мурлыкал и лез на колени целоваться. Механик, бедный старый индюк, впал в детство, сюсюкал, пускал сентиментальные пузыри и заявлял в кают-компани, что теперь-то

уж он точно знает, зачем на земле живут коты и кошки: они живут, чтоб дарить человеку его доброту.

Идиллия длилась недолго, она оборвалась с выходом в море на самом интересном месте. С первой же полной стало ясно, что Пардон укачивается до безумия. Как только корабль подняло вверх и ухнуло вниз, Пардон понял, что его убивают. Дикий, взъерошенный, он метался по каюте механика, прыгал на диван, на койку, на занавески, умудряясь ударяться при этом об подпол, об стол, об пол и орать не переставая. Остановливался он только затем, чтоб, расставив лапы, блевануть куда-нибудь в угол с пуповинным надрывом, и потом его вскоре понесло изо всех дыр, отчего он носился, подсакивая от струй реактивных. В разложенный на столе ЖБП – журнал боевой подготовки – он запросто нагадил, пролетая мимо. От страха и одиночества мечущийся Пардон выл, как издыхающая гиена.

Наконец дверь открылась, и в этот разгром вошёл мех. Мех обомлел. Застыл и стал синим. Несчастный кот с плачем бросился ему на грудь за спасением, мех отшвырнул его и ринулся к ЖБП. Было поздно.

– Пятимесячный труд! – зарыдал он, как дитя, обнимая своё теоретическое наследие, изгаженное прицельным калометанием. – Пятимесячный труд!

Пардон понял, что в этом человеке он ошибся: в нём сострадания не наблюдалось; и ещё он понял, что его, Пардона, сейчас будут бить с риском для жизни кошачьей, – после этого он перестал укачиваться.

Мех схватил аварийный клин и, с криком: «Убью гада!», помчался за котом. За десять минут они доломали в каюте всё, что в ней ещё оставалось, потом Пардон вылетел в иллюминатор, упал за борт и сильными рывками поплыл в волнах к берегу так быстро, будто в той прошлой помоечной жизни он только и делал, что плавал в шторм.

Мех высунулся с клином в иллюминатор, махал им и орал:

– Вы-д-ра-а-а!!! У-бь-ю-ю-ю! Всё равно най-ду-у! Кок-ну-у!

До берега Пардон доплыл.

Лев пукнул

Конечно же, для наших подводных лодок несение боевой службы – это ответственная задача. Надо в океане войти, прежде всего, в район, который тебе из Москвы для несения службы нарезали, надо какое-то время ходить по этому району, словно сторож по колхозному огороду, сторожить, и надо, наконец, покинуть этот район своевременно и целым-невредимым вернуться домой. Утомляет это всё, прежде всего. И прежде всего это утомляет нашего старпома Льва Львовича Зуйкова, по прозвищу Лев.

То, что наш старпом в автономках работает не покладая рук, – это всем ясно: он и на камбузе, он и в корме, он и на приборке, он опять на камбузе – он везде. Ну и устаёт он! Устав, он плюхается в центральном в кресло и либо сразу засыпает, либо собирает командиров подразделений, чтобы вставить им пистон, либо ведёт журнал боевых действий.

Ведет он его так: садится и ноги помещает на буй-вьюшку, а рядом устраивается мичман Васюков, который под диктовку старпома записывает в черновом журнале всё, что с нами за день приключилось, а потом он же – Васюков – всё это аккуратнейшим образом переносит в чистовой журнал

боевых действий.

С этим мичманом старпома многое связывает. Например, их связывают дружеские отношения: то старпом гоняется за мичманом по всему центральному с журналом в руках, чтоб по голове ему настучать, то возьмёт стакан воды и, когда тот уснет на вахте, за шиворот ему выльет, и мичман ему тоже по-дружески остороженько гадит, особенно когда под диктовку пишет. Например, старпом ему как-то надиктовал, когда мы район действия противолодочной акустической системы «Сосус» покидали: «Покинули район действия импортной системы «Сосус». Народ уху ел от счастья. Целую. Лёлик» – и мичман так всё это без искажения перенёс в чистой журнал. Старпом потом обнаружил и вспотел.

– Васюков! – вскричал он. – Ты что, совсем дурак, что ли?! Что ты пишешь всё подряд! Шуток не понимаешь? Сообразать же надо! Вот что теперь делать? А?

А Васюков, сделав себе соответствующее моменту лицо, посмотрел, куда там старпом пальцем тычет, и сказал:

– А давайте всё это как положено зачеркнем, а внизу нарисуем: «Записано ошибочно».

После этого случая все на корабле примерно двое суток ходили очень довольные. Может, вам показалось, что народ наш не очень-то старпома любит? Нам сначала самим так казалось, пока не случилась с нашим старпомом натуральная беда.

Испекли нам коки хлеб, поскольку наш консервированный хлеб на завершающем этапе плавания совсем сдохшим оказался. И такой тот хлеб получился мягкий, богатый дрожжами и сахаром, что просто слюнки текли. Старпом пошёл на камбуз и съел там полбатона, а потом за домино он сожрал целый батон и ещё попросил, и ему ещё дали. А ночью его прихватило: живот раздуло, и ни туда ни сюда – кишечная непроходимость.

Док немедленно поставил старпома раком и сделал ему ведёрную клизму, но вода вышла чистая, а старпом так и остался раздутым и на карачках. Ну, кишечная непроходимость, особенно если она оказалась, скажем так, не в толстом, а в тонком кишечнике, когда газы не отходят, – штука страшная: через несколько часов перитонит, омертвление тканей, заражение, смерть, поэтому на корабле под председательством командира срочно прошёл консилиум командного состава, который решал, что делать, но так и не решил, и корабль на несколько часов погрузился в черноту предчувствия. Лишь вахтенные отсеков, докладывая в центральный, осторожно интересовались: «Лев просрался?» – «Нет, – отвечали им так же осторожно, – не просрался». А в секретном черновом вахтенном журнале, куда у нас записывается всякая ерунда, вахтенный центрального печальный мичман Васюков печально записывал в столбик через каждые полчаса: «Лев не просрался. Лев не просрался. Лев не просрался...». Он даже специальную графу под это дело выделил, писал красиво, крупно, а потом начал комбинировать, чередовать большие буквы с маленькими, например так: «Лев не ПрОсРаЛсЯ», или ещё как-нибудь, и, отстранившись, с невольным удовольствием наблюдал написанное, а корабль тем временем всё глубже погружался в уныние: отменили все кинофильмы, всё веселье, никто не спал, не жрал – все ходили и друг у друга спрашивали, а доку уже мерещилась операция и то, как он Львиные кишки в тазик выпустил и там их

моет. Доку просто не сиделось на месте. Он шлялся за командиром, как теленок за дояркой, заглядывал ему в рот и просил: «Товарищ командир, давайте радио дадим, товарищ командир, умрёт ведь». На что командир говорил ему: «Оперируй», – хотя и не очень уверенно.

Наконец командир сдался, и в штаб полетела радиограмма: «На корабле кишечная непроходимость. Прошу прервать службу».

Штаб молчал часов восемь, во время которых он, наверное, получал в Москве консультацию, потом, видимо, получил и тут же отбил нам: «Сделайте клизму». Наши им в ответ: «Сделали, не помогает». Те им: «Ещё сделайте». Наши: «Сделали. Разрешите в базу». После чего там молчали ещё часа четыре, а потом выдали: «Следуйте квадрат такой-то для передачи больного». Мы вздохнули и помчались в этот квадрат, и тут Лев пукнул – газы у него пошли. Он сам вскочил, примчался к доктору с лицом просветлевшим, крича по дороге: «Вовик, я пукнул!», – и тут же на корабле возникла иллюминация, праздник, и все ходили друг к другу и поздравляли друг друга с тем, что Лев пукнул.

Потом командир решил дать радиограмму, что, мол, всё в порядке, прошу разрешения продолжать движение, вот только в какой форме эту радиограмму давать, надо ж так, чтоб поняли в штабе, а противник чтоб не понял. Он долго мучился над текстом, наконец вскричал: «Я уже не соображаю. Просто не знаю, что давать».

Тогда наши ему посоветовали: «Давайте так и дадим: Лев пукнул. Прошу разрешения выполнять боевую задачу».

В конце концов, действительно дали что-то такое, из чего было ясно, что, мол, с кишечной непроходимостью справились, пукнули и теперь хотят опять служить Родине, но штаб упёрся – в базу!

И помчались мы в базу. Примчались, всплыли, и с буксира к нам на борт начальник штаба прыгнул:

– Кто у вас тут срать не умеет?! – первое, что он нам выдал. Когда он узнал, что старпом, он позеленел, вытащил Льва на мостик и орал там на весь океан, как павиан, а наши ходили по лодке и интересовались, что это там наверху происходит, а им из центрального говорили: «Льва срать учат».

Самец Витенька

Витенька у нас самец. На корабле его называют: «Наше застоявшееся мужество». Любой разговор Витенька сведёт к упоительному таинству природы с перекрестным опылением. Рожа у него при этом лоснится, глаза озорничают, руки шалют, а сам он захлёбывается так, что кажется: пусти его – будет носиться по газону.

Любимое выражение – «сон не в руку». Спит Витенька только затем, чтобы попасть в руку. Свои сны он потом долго и вкусно рассказывает. Мы с Андрюхой – его соседи по каюте.

Во сне Витенька нервно повизгивает, постанывает, сучит ножками, чешется и тут же умиротворенно замирает с улыбкой на устах сахарных. Всё! Сон попал в руку.

– Сплю, – дышит мне в переносицу Витенька, – и вижу, баба ко мне подходит, наклоняется, мягкая такая, тёплая наощупь, очаровашечка.

Каждый день Витенька рассказывает нам про своих баб. Кто к нему и

как подходит. Его бабы нас задолбали.

Между нами говоря, на нём крыса ночевала, а ему всё мерещилось, что это бабы к нему приходят. Крысы любят на шерсти спать. У нас одеяла верблюжьей шерсти.

Мы с Андрюхой её как увидели, так и замерли, но Витеньку не стали расстраивать. Зачем, если человеку хорошо. Только свет тушим, засыпаем – она появляется, осторожненько влезает уснувшему Вите на грудь и обнюхивает ему лицо.

Витенька, не просыпаясь, делает облегчённо: «О-ой!» – расплывается в улыбке с выражением: «Ну, наконец-то», бормочет, сюсюкает – баба к нему пришла.

Крыса сворачивается на одеяле клубочком и спит.

Так долго продолжалось. Витенька спал с крысой, а нам всё рассказывал, что к нему бабы ходят, и всем было хорошо.

И тут он её увидел. Как всё-таки быстро у человека меняется лицо! И орать человек во всю глотку на одном выдохе может, оказывается, минут двадцать.

Бедная крыса так испугалась со сна, что чуть ума не лишилась: подлетела, ударилась о подволок, сиганула на пол и пропала.

Витенька тоже ударился головой. Даже два раза. Сначала один раз ударился – не помогло, потом сразу второй, чтоб доканать это дело. И в воздухе потом долго-долго носился запах застоявшегося мужества.

Витя тогда страшно переживал, вздрагивал по ночам, неделю молчал и косился, но сегодня в кают-компании, чувствуется, отошёл, сидит и рассказывает о взаимоотношении полов у пернатых. Смотреть на него – одно сплошное удовольствие.

– Помните, раньше было выражение «с глубоким внутренним удовлетворением»? – говорит Витенька, обозревая аудиторию с видом Спинозы недорезанного. – А видел ли кто-нибудь из вас удовлетворение мелкое и поверхностное? Нет? Не видел? А я видел. У птиц. У них удовлетворение мелкое и поверхностное. Но зато оно может продолжаться, между прочим, целый день. То есть мелкое и поверхностное иногда лучше глубокого и внутреннего.

Возьмём, например, кур. У одного моего кореша два петуха было и куча курочек. Там один петух был главный, а второй – вспомогательный.

Главный найдёт червячка и курочек собирает. У него пестренькая курочка самая любимая была. А вспомогательный петух всё хотел ту пестренькую шандарахнуть, попробовать её хотел, а она его не подпускает и всё. Сохраняет верность главному петуху.

Вспомогательный её всё подманивал, подкарауливал – ничего не получается. Вот он покопается в земле, найдёт червячка, покудахчет, а сам наблюдает; как только пёстренькая подойдёт поближе, он на неё – прыг и погнал по двору.

Пестренькая бежит от него со всех ног к главному петуху и за него прячется, а вспомогательный пробегает мимо, делает круг и на беленькую курочку, не отдышавшись, с разбегу заскакивает, вроде бы он за ней и гнался. А через пять минут опять пестренькую подкарауливает. Подстережет, погонится, не догонит и опять беленькую с досады охаживает со всего размаха. И так целый день. А беленькая так его любит и клюв ему

чистит и перышки.

Да-а, вот жизнь у пернатых! Ведь целый день могут. Зернышко нашёл, червячка склевал и «иди сюда, дорогая». А тут каши сожрал на нашем камбузе и полпраза не в силах преодолеть.

– Вот жизнь у пернатых, – повторяет Витенька, мечтательно закатив свои зелёные зенки, – клянусь мамой, даже жаль иногда, что ты высшее существо.

Лаперузы мочёные

Начнем с солнца. Оно – померкло! И померкло оно не только потому, что за биологию вида я сражался в полной темноте полярной ночи; оно померкло ещё и потому, что в один прекрасный день к нам ворвался краснорожий мичман из тыла и, заявив, чтоб мы больше в галюн не ходили, исчез совсем, крикнув напоследок: «Давайте ломайте!!!»

Он пропал так быстро, что мы засомневались: уж не галлюцинация ли он и его рекомендация «не ходить в галюн»?!

Жили мы в то время на четвёртом этаже в казарменном городке. Весь экипаж укатил в отпуск, а меня оставили с личным составом, то есть с матросиками нашими, за всех в ответе.

– Чертовщина какая-то, – подумал я про мичмана и тут же сходил в галюн, а глядя на меня, сходили в галюн ещё сорок моих матросов. На всякий случай. Под нами, ниже этажом, помещалась корректорская, там тётки корректировали штурманские карты. Через сутки ко мне влетает начальник этого бляд-приюта и орёт, как кастрированный бегемот:

– Вам что?! Не ясно было сказано?! Что в галюн! Не ходить!

– В чём дело? – спрашиваю я, спокойный, как сто индийских йогов.

– Нас топит! – делает он много резких движений.

– Вас?

– Нас, нас!

– И что, хорошо топит?

– Во! – говорит он и делает себе харакири по шее.

– А при чём здесь мы? Ну и тоните... без замечаний...

– Ы-ы!!! – рычит он. – Вы ходите в галюн, а нас топит! Прекратите!

– Что прекратить?

– Прекратите ходить в галюн!!!

– А куда ходить?

– Куда хотите! Хоть в сопки!

– А вы там были?

– Где?!

– В сопках в минус тридцать?

– Пе-ре-с-та-нь-те из-де-ва-ть-ся! У на-с у-же столы пла-ва-ют!!!

– Ну-у-у... – сказал я протяжно, травмируя скулы, – и чем же я могу помочь... столам?...

– А-а-а!!! – сказал он и умчался, лягаясь, безумный.

«Бешеный», – подумал я и сходил в галюн, а за мной сходили, подумав, ещё сорок моих матросов. На всякий случай. Может, завтра запретят... по всей стране... кто его знает?...

Назавтра явилась целая банда. Впереди бежал начальник

корректорской – той самой, что временно превращена в ватерклозет, и орал, что я – Али-Баба и вот они, мои сорок разбойников. Это он мне – подводнику флота Её Величества?!

– Ну ты, – сказал я этому завсклада остервенелости, – распеленованная мумия Тутанхамона! Берегите свои яйца, курочка-ряба!

Нас разняли, и мне объяснили, что в гальюн ходить нельзя, что топит, что нужно поставить матроса, чтоб он непрерывно ломал колено унитаза («Что ломал?» – «Колено! Ко-ле-но!» – «Об чего ломал? об колено?»), «ломами ломал, ломами, и не делайте умное лицо! и чтоб в гальюн никто не ходил! Это приказание. Командующего!»

– А куда ходить?

– Никуда! Это приказ командующего.

– Ну... раз командующего-о...

Я построил всех и объявил, что командующий с сегодняшнего дня запретил нам ходить в гальюн.

– А куда ходить? – спросили из строя.

– Никуда, – ответил я.

– А-га, – сказали из строя и улыбнулись, – ну, есть!...

А потом мы поставили матроса, чтоб непрерывно ломал, и срочно сходили все как один сорок один в гальюн, про запас.

– Упрямый ты, – сказал мне, уже мирно, начальник корректорской.

«Ага, – подумал я, – как сто бедуинов».

– Ну-ну, – сказал он, – я тебе устрою встречу с командующим.

«А вот это нехорошо, – подумал я, – мы так не договаривались. Надо срочно поискать нам гальюн где-то на стороне, а то этот любимый сын лошади Пржевальского и впрямь помчится по начальству». И пошёл я искать гальюн.

– Товарищ капитан первого ранга, – обратился я к командиру соседей по этажу, когда тот нёсся по лестнице вверх, стремительный; кличка у него была, как у эсминца – Безудержный.

– Товарищ капитан первого ранга, – обратился я, – разрешите нам ходить в ваш гальюн. У меня сорок человек... всего...

Он остановился, повернулся, резко наклонился ко мне с верхней ступеньки, приблизил лицо к лицу вплотную и заорал истерично:

– На голову мне лучше сходи сорок раз! На голову! – и в доказательство готовности своей головы ко всему треснул по ней ладонью.

Тогда я отправился к командиру дивизии:

– Прошу разрешения, товарищ капитан первого ранга, старший в экипаже... товарищ комдив, запрещают в гальюн ходить, у меня сорок человек, у меня люди... а куда ходить, товарищ комдив?

Комдив из бумаг и телефонов посмотрел на меня сильно.

– Не знаю... я... не знаю. Хочешь, строем сюда ко мне ходи.

После этого он бросил ручку и продолжил:

– Пой-ми-те! Я-не-га-ль-ю-на-ми-ко-ман-ду-ю-ю! Не гальюнами! И не говном! Отнюдь! Я команду с-трате-ги-чес-ки-ми! Ра-ке-то-носцами.

После этого он подобрал со стола карандаш и швырнул его в угол.

«Ну вот, – подумал я, – осталось дожидаться встречи с командующим. Я думаю, это не залежится».

И не залежалось.

– Я слышал, что у вас возникли сомнения? относительно моего приказа?

– Товарищ командующий... я... не ассенизатор...

– Так станете им! Станете! Все мы... не ассенизаторы! Нужно думать в комплексе проблемы! Почему срёте?!

– Так ведь... гальюн закрыли...

– То, что гальюн закрыли, я в курсе, но почему вы, вы почему срёте?! Вас что?! Некому привести в меридиан?!

После командующего мы принялись ломать унитаз интенсивно. И ходить в гальюн перестали. То есть не совсем, конечно, просто ходили хором потихонечку, вполуприсед. И тётки, которые в корректорской ниже этажом, так же ходили – по чуть-чуть.

И вот сломали мы, наконец, колено! Маэстро, туш! И не просто сломали, а пробили насквозь! И не просто пробили, а лом туда улетел!

А там в тот момент, к сожалению, сидела тётка... Сидит себе тётка, тихо и безмятежно гадит, и вдруг сверху прилетает лом и втыкается в бетон перед носом. И что же тётка? Она гадит мятежно! Во все стороны, раз уж выпал такой повод для желудочно-кишечного расстройства. Да ещё сверху в дырищу свесилось пять голов, пытаюсь разглядеть, куда это делся лом; а ещё пять голов, которые не поместились в дырищу, стоят и спрашивают в задних рядах:

– Ну, чего там, чего застыли?...

Конечно, снизу прибежали, разорались:

– Человека чуть не убили!

На что наши возражали:

– А чего это она у вас гадит?

Больше всех возмутился я:

– Лично мы, – кричал я, – давно уже ходим на чердак! А ваши тётки! Сами валят, а на нас гадят! (То есть наоборот). Вот теперь я у этого легендарного отверстия вахту поставлю, чтоб днём и ночью наблюдали за этим вашим безобразием! Будем общаться напрямую! А то нам нельзя, а им, видите ли, можно!...

И начали мы общаться напрямую. Мои орлы решили, что если есть отверстие и если из него можно провести перпендикуляр, который при этом уткнётся ниже в другое отверстие, то странно было бы при наличии такого отверстия и такого перпендикуляра ходить на чердак!

На следующий день опять снизу прибежали и опять орали:

– А те-пе-рь! Давайте делайте нам косметический ремонт! Давайте делайте! У нас там – как двадцать гранат разорвалось! С дерьмом!

– Почему двадцать? – слабо возражал я, потрясенный ошеломительным размахом общения напрямую. – Откуда такая точность? Почему не сорок?

И вот гальюн. Каждый день гальюн. С ним была связана вся моя жизнь, все мои радости и печали, все мои помыслы и страдания, он мне снился ночами, мы сроднились с начальником корректорской, ходили друг к дружке запросто и подружились семьями...

В общем, когда приехал из отпуска мой сменщик, я, сдавая ему экипаж, веселился как неразумный, хохотал, хлопал его по плечу и целовал вкусно.

– Ви-тя! – говорил я ему нежно. – Знаешь ли ты отныне свою судьбу?

Он не знал, я подвёл его к гальюну:

– Вот, Витя, отныне это твоя судьба! А что будет главным в твоей судьбе?

И опять он не знал.

– Главное – на тётеньку не попасть. Там у нас одна дырочка есть, смотри – только в неё не поскользнься, а то мне будет печально. Остальное всё – муть собачья. Муть! Всё образуется и сделается как бы само собой. Сделают тебе гальюн, вот увидишь, сделают! Машина запущена. Ты, главное, не делай резких движений. И дыши носом. Арбытын ун дисциплин!

И мой сменщик вздохнул, а я вышел, оставив его, как говорится, в лучших чувствах с тяжёлым сердцем; вышел, хлопнул дверью и очутился в отпуске, хоть мне вслед и орало: «Не уезжать, пока не доведёте гальюн до ума! Не выпускайте его, не выпускайте! Не выдавайте ему проездных, не выдавайте!».

Целуйтесь с ними, с моими проездными. Пишите их, рисуйте, добивайтесь портретного сходства. Лаперузы мочёные. Кипятить вас некому!

Абортарий

Бух-бух-бух! В метре от старпома остановились флотские ботинки сорок пятого размера легендарной фабрики «Струпья скорохода». В ботинки был засунут новый лейтенант Гриша Храмов – полная луна над медвежьим туловищем. Он только что прибыл удобрить собой флотскую ниву. Гриша был вообще-то с Волги, и поэтому он закал, приложив к уху лапу, очень похожую на малую саперную лопатку.

– Прошу розрешения везти жену на о-борт!

«Сделан в одну линию, – подумал одним взглядом с маху изучивший его старпом, – до пояса просто, а ниже ещё проще».

– Вот мне-е, – протянул старпом сладко, – кан-жд-ный день о-борт делают. О-бортируют... по самый аппендицит!

Старпом привёл лицо в соответствие с абортom:

– И никто никуда не возит. Вырвут glandу – и пошёл!

Лейтенант смутился. Он не знал, опускать руку или всё ещё отдавать честь.

«Ладно, – подумал старпом, увидев, что рука у Гриши не опускается, – нельзя же убивать человека влёт. Пусть размножается, такие тоже нужны». И махнул рукой: «Давай!».

На следующий день пробухало и доложило:

– Прошу роз-решения сидеть с дитями – жена на о-борте!

С тех пор поехало: то – «прошу роз-решения на о-борт», то – «с о-борта».

Четвертого аборта старпом не выдержал.

– Что?! Опять «на о-борт»?! А потом «с о-борта»?! Абортарий тут развели! Я самому тебе лучше навсегда «о-борт» сделаю! Раскурочу лично. Чирк – и нету! Твоя же жена спасибо скажет. «О-борт» ему нужен! Что за лейтенант пошёл! Нечего бегать с дымящимся наперевес! Бром надо пить, чтоб на уши не давило! Квазимодо! Аборт ему делай. А кто служить будет?! С кем я останусь?! А?! В подразделении бардак! Там ещё конь не валялся! Петров ваш? А чей Петров?! Не знаете? Сход запрещаю! Всё! Никаких

абортов! Ишь ты сперматозавр, японский городской. Это флот, едрёна вошь, тут без «о-бортов» служат. Не вынимая. С шести утра и до двадцати четырёх. Гинекологом надо было быть, а не офицером! Акушером! О чём вы думали, когда шли в училище!... – и так далее, и так далее.

После пятого аборта Гришу списали на берег. Некому было сидеть «с дитями».

Вот такая маленькая история, но она совсем не означает, что для списания на берег нужно сделать пять абортов.

Извлечение

Известно, что к боевой службе нужно готовить себя прежде всего с внутренней стороны.

Командир боевой части пять большого противолодочного корабля «Адмирал...» старый, толстый Толик Головастов (два года до пенсии), которого спустили с корабля в первый раз за три месяца за день до проверки штабом флота, пошёл и... подготовил себя «изнутри», чем существенно обесмертил своё имя на страницах этого рассказа. На внутреннюю подготовку ушла уйма времени. Часов через шесть, окончательно окривев, он «дошкандыбал» до корабля и упал перед трапом головой вперёд. «Много ли потному надо!» – гласит народная мудрость.

– Старая проблядь! – совершенно справедливо заметил командир. Наутро ожидался командующий флотом вместе с главкомом, и по-другому командир заметить не мог.

– От, падел! – добавил командир, обозревая картину лежания. Кроме как «падла в ботах», командир до текущего момента никогда по-другому механика не называл.

– Значит так! – сказал он, поразмыслив секунду-другую. – Поднять! Связать эту сироту во втором поколении, эту сволочь сизую, забросить в каюту и выставить вахтенного!

Механика подняли, связали, отнесли, забросили, закрыли на ключ и выставили вахтенного. Через некоторое время каюту оживило сопенье, кряхтенье и нечленораздельное матюганье, потом всё стихло, и корабль забылся в нервном полусне. В четыре утра в каюте раздался страшный визг, леденящий душу, он разбудил полкорабля и перевернул представление многих о том количестве децибел, которые отпущены человеку. Примчались дежурные и помощники, командиры и начальники, зажгли свет, вскрыли каюту и обнаружили, что командир боевой части пять Толик Головастов (два года до пенсии) торчит из иллюминатора необычным манером: туловище снаружи, зад внутри. Застрявши они. Скорее всего, ночью он развязался, освободился, так сказать, от пут и полез в иллюминатор из «мест заточения», а по дороге застрял и от бессилия заснул. Тело отекло, он проснулся от боли и заорал.

– Тяните! – сказал командир. – Хоть порвите эту старую суку, но чтоб пролез!

До Толика, несмотря на всю трудность соображения в данном положении, дошло, что его, может, сейчас порвут на неравные половины и за это, может, никто отвечать не будет. От сознания всего этого он потерял сознание. Так тянуть его было гораздо удобнее, так как без сознания он не

кричал и не вырывался, но иногда он всё же приходил в себя, орал и бил копытом, как техасский мул.

За борт спустили беседку. Несколько человек забрались в неё и принялись тянуть Толика за руки, в то время когда все остальные пихали его в зад. Через пару часиков стало ясно, что Толик никогда в этой жизни не пройдёт через иллюминатор. Ещё полтора часа тянули по инерции, вяло и без присутствующего нам энтузиазма. Самое обидное, что Толик висел с того борта, который был обращен к стенке и был хорошо виден подходящему начальству, а виси он с другого борта – там хоть неделю виси: никому это не интересно.

Подъём флага – святое дело на корабле. На это время перервались, оставили Толика висеть и пошли на построение.

– На фла-аг и гю-юйс... смир-рна!

Нужно замереть. Все замерли. Ритуал подъема флага символизирует собой нашу ежесекундную готовность умер-реть за наши идеалы и вообще отдать концы, то есть всё накопленное до последней капли, сдохнуть, короче...

– Ф-ла-аг... и гю-юйс... под-нять!... Воль-на!...

– Та-ак! – сказал командир, мысль о Толике не оставляла его ни на секунду. – Сейчас будет коррида!

Коррида началась с прибытия комбрига. Увидев в иллюминаторе отвисшее, как на дыбе, бесчувственное тело командира боевой части пять и с ходу поняв, в чём дело, комбриг, стоя на стенке, воздел руки к телу, шлёпнул ладошками, поместил их себе на грудь, затрясся дряблыми щеками и плаксиво затынул:

– Гни-да вы-ы казематная-я... слон вы-ы сиамски-ий... я вам хобот-то накручу-у... верблюды вы-ы гималайский... корова вы-ы иорданская-я... хрен вы-ы египетский!...

Помолившись столь оригинальным образом, он тут же вызвал командира.

– Сейчас начнется кислятина, – скривился командир, – запричитает, как баба, что наутро обнаружила, что постель пуста! Ну, теперь моя очередь...

– Святая-я святых... святая-я святых, – заканючил комбриг, страдальчески ломая руки перед командиром, – подъём флага, святая святых, а у вас до чего дошло, у вас механик, пьяный в жопу, жопой в иллюминаторе застрял! Валерий Яковлевич! Вы же боретесь за звание «отличный корабль»! Сейчас же командуемый здесь будет вместе с главкомом.

Произнеся «главком», комбриг, до которого только теперь дошла вся глубина развернутой сырой бездны, как бы почувствовал удар по затылку и замер с открытым ртом. Вся его фигура превратилась в один сплошной ужас, а в глазах затаился прыжок.

– Да! – заорал вдруг командир, чем заставил комбрига вздрогнуть и судорожно, до упора втянуть прямую кишку. – Да! Пьяная падла! Вы совершенно правы! Да, висит! Да, жопой! Да, «отличный корабль»! Да, слетится сейчас воронье, выгрызут темечко! Тяните! – крикнул он кому-то куда-то. – Не вылезет, я ему яйца откушу!

– И-и – раз! И-и – раз! – тянули механика. – И-и – раз! – А командир в

это время, испытывая болезненное желание откусить у механика не будем повторять что, ёрзал стоя.

– И-и – раз!

– И на матрац! – сказал командир, заметив, что на пирс прибыл командующий флотом. Комбриг повис на своём скелете, как старое пальто на вешалке, потеряв интерес к продвижению по службе.

Командующий флотом, сразу поняв, что время упущено и нужно действовать быстро, а спрашивать будем потом, возглавил извлечение, сам отдавал приказания и даже полез в беседку. Комбриг полез за ним, при этом он всё старался то ли поддержать комфлота за локоток, то ли погладить или чего-нибудь там отряхнуть.

– Что вы об меня третесь!... тут!... – сказал ему командующий и выслал его из беседки.

– Разденьте его! – кричал командующий, и Толика раздели.

– И смажьте его салом! – И смазали, а он не пролез.

– Пихайте его! – кричал командующий.

Толика пихали так, что зад отбили.

– Дёргайте! – Дёргали. Никакого впечатления.

И тут командующего флотом осенило (на удивление быстро):

– А что если ему в жопу скипидар залить?! А?! Надо его взбодрить. Зальём, понимаешь, скипидар, он, понимаешь, взбодрится и вылетит!

(– И будет, каркая, летать по заливу, – прошептал командир).

– А у вас скипидар на корабле есть? Нет? У медика, по-моему, есть! Давайте сюда медика! А кстати, где он? Почему не участвует?

Дали ему медика, и начал он «участвовать»:

– Да что вы, товарищ адмирал? – сказал медик, и далее пошла историческая фраза, из-за которой он навсегда остался майором. – Это ж человек всё-таки!

– Всё-таки человек, говоришь? – сказал командующий флотом. – Человек в звании «капитан второго ранга» не полезет в окошко и не застрянет там задницей! Ну и как нам его теперь доставать прикажешь, этого человека?

Доктор развёл руками:

– Только распилить.

– А ты его потом сошьёшь? А? Ме-ди-ци-на хе-рова?! – Медик раздражал и был услан с глаз долой.

Командующий стоял и кусал локти и думал о том, что если нельзя вытащить этого дурня старого, то, может, корабль развернуть так, чтоб его видно не было, а? Главкома проводим и разберёмся. Ничего страшного, повисит. Да-а... время упущено. С минуты на минуту может появиться главком.

И главком появился. Толю подёргали при нём, наверное для того, чтобы продемонстрировать возможности человеческого организма.

Главком приказал вырезать мерзавца вместе с «куском», автогеном. Раскроили борт и вырезали Толю целым куском. Потом краном поставили на причальную стенку, и пятеро матросов до ночи вырезали его этими лобзиками – ножовками по металлу. Когда выпилили – всех наказали.

Катера

(микророман)

Глава первая, драматическая

На катерах у нас служат ради удовольствия. Удовольствие начинается прямо от пирса. Со скоростью двенадцать узлов. Вот это мотает! Но двенадцать узлов – обычная скорость, а в атаку мы ходим на бешеных тридцати двух. Вот это жизнь! Особенно хорошо, когда на волну падаешь. Катер падает на воду, как ящик на асфальт.

Взамен вытряхнутого мозга выдают бортпаёк: шоколадку – пятнадцать грамм, баночку мясных консервов размером со спичечный коробок, сгущёнку, махонькую как пяточок, и пачку печенья «Салют Октябрю».

В остальное время – блюём через перила, если конечно, с непривычки.

И вот приезжают к нам корреспонденты. Вокруг гласность, демократия, социальная справедливость, вот они и прикатили. Час, наверное, беседовали с командиром дивизиона. Говорили, говорили – ну, никак он не может понять, чего им надо. Всё вокруг да около. Три мужика и две бабы. Одна стара как смертный грех, а вторая – ничего, хороша, зараза.

Наконец эти писатели говорят комдиву в лоб, мол, вот как вы считаете, вот вам бортпаёк выдают, это как, справедливо?

– То есть?!

– Ну, то есть вся страна переживает определённый момент, испытывает трудности с продовольственной программой, а у вас тут пайки, шоколад, сгущёнка...

– Па-ёк... – не понимает комдив.

– Ах, бортпаёк! – дошло до него наконец. – Социальная, значит, справедливость в распределении, значит, материальных благ? Значит, много флот у нас жрёт, а, ребята? Значит, вы по этому поводу прикатили?

Комдив подмигнул.

– Ну ладно, – говорит он, – мы тут с вами заболтались совсем, а мне в море выходить через двадцать минут.

– А вы надолго выходите? – интересуются эти деятели.

– Да как получится, часа на три – на четыре. А то хотите с нами? Покатаемся. Увидите флот в динамике. Моряков, море, понимаешь. Интервью возьмёте, так сказать, на боевой вахте по защите святых рубежей. Поехали? Как там у вас: «А вот сейчас я стою на палубе рядом с торпедным аппаратом...».

Комдив подмигнул, корреспонденты заулыбались. Ну кто откажется, бесплатно же. Эти писатели окончательно загорелись: глаза горят, оживлены, бабы воркуют, как голубки над яйцекладкой.

Давно замечено, что самые мужественные люди – это те, кто ни черта не знает.

Комдив посадил их на катер и врубил тридцать два узла и катал часов восемь. И всё под волну норовил, мерзавец, попасть, чтоб ощутили. Качало так, что через пять минут после старта на катере все кормили ихтиандров, а комдив в это время стоял на мостике и орал в ветер:

– Па-е-д-е-м, к-ра-со-от-ка-а, ка-та-ааа-ца... Да-авно я те-бя-а па-д-жи-да-ал дал-дал-дал!

Писатели обделали всю кают-компанию. Из них вышло всё. Даже

желание разобраться с распределением благ. Их перед отходом накормили флотским борщом и перловкой, а это такая отравка – к маме не ходи.

Бабы, как качнуло, сразу же легли и забылись, а мужики выползали поочередно и слюнявили борт. По трапу невозможно было спуститься, чтоб не «посклизнуться» на поручнях. Всюду пахло флотским борщом; свёкла, нарезанная кубиками, выходила через нос в нетронутым состоянии; всюду эта зараза – перловка.

Сначала у них всю отслаивалась слизистая желудка и кишечника, потом – прямой кишки, а затем уже и клоаки.

Бортпаёк в них впихнуть не удалось – в перекрестие не попадал. Фельдшер пришёл, посмотрел, покачал головой, перевернул баб, сдёрнул им штаны и вкатил каждой лошадиную дозу какого-то противозачаточного средства, которое вроде бы помогает при качке.

Их потом отскребли, как ошвартовались, и на носилках вынесли.

Х-хэ-хэ! Бортпаёк они мечтали у нас оттяпать. Губёшки раскатали. Примчались и слюнями изошли. Кататься сначала научитесь!

Пис-сатели.

Глава вторая, фантастическая

Служить хочется. А гальюнов нет! Сейчас, наверное, делают уже, а на старых катерах, извините, не наблюдается. Забыли-с. Не запрограммированы были наши катера на то, что народ наш может обгадиться на полном ходу за краткое время торпедной атаки.

Поэтому наш народ отправляется подумать по-крупному на корму в тридцать два узла, если уж очень приспичит и окончательно прижмёт.

Со спущенными штанишками это выглядит лучше, чем американское родео.

Их ковбои вонючие на своих ручных бычках – это ж дети малые и сынки безрукие. А вот наш брат в рассупоненном состоянии, напряжённо прогнувшись сидящий, бледно издали снизу блестящий, растарашенно чётко следящий, чтоб из него при соскальзывании паштет не получился – вот это да! Это кино. Картина. Её лучше смотреть со стороны.

Скорость дикая, катер летит, буруны взрываются, а он сидит, вцепившись, торжественный, а над ним за кормой вал воды нависает шестиметровый, в который он кладёт не переставая.

Вот вы видели, чтоб на водяных лыжах лыжнику приспичило подумать по-крупному? Ну, и как он всё это будет делать?

Все свободные от вахты выстраиваются посмотреть. Корма покатая, перелезаешь через леера, и кажется, что винты палубу у тебя рвут из-под ног. Штанишки остороженько одной рукой спускаешь: сначала одну штанишку, потом перехват мгновенный и тут же другую. И главное, чтоб штанцы твои ниже коленок не рухнули, а то, если поворот, то придётся со спущенными штанишками через леера кидаться и бежать опрометью стремглав, а то вал-то нагонит с разинутой пастью и промокнет попку до самых подмышек гигантской промокашкой. А она и так, понимаешь, в точке росы вся в слезах.

Между булочек потом потер бумажечкой, если совсем, конечно, не намочка, и ныряй через леера.

Я вам всё это говорю, между прочим, для того, чтоб прониклись вы, почувствовали и представили, как на катерах служить здорово.

А однажды вот что было. Пошёл с нами море конопатить один пиджак придурочный из института. Погода чудная, мы уже часа четыре на скорости, и вдруг приспичило ему, понимаете? Видим, ищет он чего-то. Ходил-ходил, искал, наконец спрашивает, мол, а где тут у вас – экскюз ми – гадят по-крупному. Ну, мы ему и рассказали и показали, как это всё происходит: кто-то даже слазил, продемонстрировал. Посмотрел он и говорит:

– Да нет, я уж лучше потерплю.

Ну терпи. Ещё чуть-чуть немножко времени проходит – видим, тоскует человек, пропадает. Ну, мы его и подбодрили, мол, давай, не смущайся, все мы такие, бакланы намазанные, с каждым бывало.

Ну и полез он. Только перелез и за леер уцепился, как, на тебе, поскользнулся и, не выпуская леер, выпал в винты, но, что интересно было наблюдать, – чтоб ножки не откусило по самый локоток, он успел-таки изящно изогнуться и закинуть их на спину. Прямо не человек, а змея, святое дело! В клубок свернулся.

Вытащили мы его: дрожит, горит, глаза на затылке. Успокоился, наконец, штанишки снял аккуратненько одним пальцем, потому как нагадить-то он успел, положил их отдельной кучкой и стоит, отдыхает, а в штанцах – полный винегрет.

Боцман ему говорит:

– Ты, наука, не двигайся, а то поливитамином от тебя несёт. Стой на месте спокойно, обрез с водой принесём – помоешься, а штанцы твои мы сейчас ополоснём, рыбки тоже кушать хочут.

С этими словами подхватил их боцман через антапку за шкертик, и не успела «наука» удивиться, как он – швырь! – их за борт и держит за шкертик, полоскает.

Дал боцман конец шкерта этому дурню старому и проинструктировал:

– Считай, наука, до двадцати и выбирай потихоньку.

Я уж не знаю, то ли этот учёный выбирал не по-человечески, то ли он, наоборот, потравил слегка, но только штанцы под винцы затянуло. Учёного еле оторвали.

А обрез мы ему принесли. Ничего, помылся.

Может, мне сейчас скажут: вот это заливают, во даёт, вот это загибает салазки.

А я вам так скажу, граждане: не служили вы на катерах!

Циклоп

Ровно в три ночи, когда созвездие Овна вместе со всеми остальными созвездиями занималось на небе своими делами, Архимед Ашотович Папазян, по прозвищу Усохший Тарзан, сел на кровати с криком: «Только не бей!». «Только не бей», – повторил он значительно тише и затравленно оглядел свою холостяцкую комнату, ещё секунду назад спокойную, как общественная уборная. Мама больше не приходила к нему во сне. Мама не звала его больше «джана», и душа больше не наполнялась радостным, светлым детством, всё было отравлено и чесалось. Ему снился циклоп. Каждую ночь. Он бежал, выпучившись, в запутанных джунглях,

подпрыгивая винторогим козлом, а ветви гоготали и цеплялись. И рука. Огромная рука, беззвучно вырастая, тянулась за ним. На многие километры. Он чувствовал её леденевшим затылком. Нет сил! Нет сил бежать! Остановился. Повернулся. Задранный ужас! Невозможно кричать! К горлу бросились растущие пальцы с грязными обломанными ногтями. Огромные складки потной кожи. «Только не бей!!!»

Свет зажёгся, и с носа закапало. Потом. Очки наделись, и глаза через них тут же пушисто захлопали. Архимед Ашотыч всклокоченно обернулся на одухотворенное лицо лорда Байрона, намертво приделанного к обоям, и, поискав в волосатых складках живота, зачарованно замер, как собака, принимающая сигналы блохи. В тишину ночную вплетались только торопливые курлыканья унитаза, да на кухне в одиночку веселилась радиоточка.

Архимед Ашотыч застонал переполненным страдальцем, запрокинул голову с уплывающими за горизонт зрачками, успел увидеть потолок с забитыми комарами и бережно уложил себя на подушки. Пружины заезженной койки вздохнули народным музыкальным инструментом, веки затяжелели, члены смягчили с каждым вздохом, и в брненное тело снова хлынули сновидения. Голубой пеньюар. Лампадная ночь. Тучи запахов. Фимиамы. Грациозные прыжки, перепархивания, улыбки-пожатья, персичный румянец от подглазников до подбородка, кофе, тонкие чувства, полные, гладкие колени, ощущение от которых остаётся в руках, караванные движения дивана, в короткой борьбе возня пружинная и сытая тишина.

Самый отвратительный звук для такой тишины – звук ключа в замочной скважине. Возникает обостренное чувство долгопоротого.

Звук возник, пеньюар, завизжав раздавленной торговкой, вспорхнул, оставив Архимеда одного оплакивать себя.

Архимед Ашотыч вскочил и заметался по комнате так, будто он затаптывает стадо неприятельских тараканов. В конце концов, ничего не придумав, он юркнул в шкаф, убеждая стартерно заработавший желудок помягче мяукать, и затих там платяной молью.

В дверях стоял циклоп! Пойманный за лацканы пеньюар перестал визжать уже в табурете. В комнате ходило только кадило. Маятника.

Глаз у циклопа было два, но они так близко росли и выглядывали друг от друга, что если посмотреть взволнованно, то сливались в один; череп пещерного медведя, чугунная нижняя челюсть, нос и общая физиономия викинга, получившего веслом по голове: тяжёлый, пышущий убийством квадрат.

Желудок Архимеда Ашотыча совсем уже собирался взять и чем-нибудь разрядить обстановку, когда долго колебавшаяся дверь шкафа решилась и, закатив задумчивую трель, верноподданнически открылась.

«А-а...» – сказал «квадрат», увидев в платьях живое, и шагнул всего один раз.

Архимед Ашотыч, выставив вперёд ручонку, заёрзал, совершая ею фехтовальные движения до тех пор, пока рука циклопа не протянулась медленно и не достала Архимеда не поймёшь за что. Архимед Ашотыч развеялся в той руке ящерицей круглоголовкой всего одну секунду.

«Только не бей!» – взял он самую последнюю ноту самой последней

октавы, с иканьем перебрал всю клавиатуру. Грянуло! Прямо в лоб, туда, где кость. Горный обвал. Сель. Архимед Ашотыч быстро улетел по воздуху и, погасив все вешалки в шкафу, оторвал внизу щёлкнувшими зубами кусок пурпурного платья. Все волосы на груди, собравшись в пучок, дружно болели.

«Только не бей!!!». Свет уличного фонаря отразился в страдальческом оскале, щетинистый кадык проглотил, наконец, душившие его слюни. В окно смотрела ночь, и Архимед Ашотыч, только теперь понявший, что как всё-таки хорошо, что он жив, жив! упал в подушки и мелко залился, закатился счастливым щебечущим смехом, вздрагивая плечами в волосатых эполетах.

В небесах горел Воз, однажды в шутку названный Медведицей, и лорд Байрон из другого века смотрел с обоев, возвышенный и одухотворенный.

Вот она, Турция!

Это случилось недалеко от Турции. Пехотный, уже немолодой капитан лежал, свернувшись калачиком, на грядке и по-детски улыбался во сне. Военнослужащий во сне сильно похож на ребёнка. Так его тепленького, калачиком, взяли с грядки, перенесли в комендатуру и положили в камеру.

Начальник караула и его помощник решили над ним подшутить. Они подождали, пока он проспится.

Сделав свой первый вздох и оторвав голову от сладких деревянных нар, капитан вдруг обнаружил себя в камере; мало того: рядом с ним сидели двое в белых чалмах, и разговаривали эти двое на иностранном, скорее всего турецком, языке.

У нашего капитана голова тут же перестала болеть; глаза стали, как два рубля, челюсть отвисла до нижней пуговицы, слюна непрерывно потекла.

Наконец «турки» заметили, что капитан проснулся, и оторвались от своей Турции.

Один из них был величественен, как утренний минарет.

«Турок» спросил через переводчика: как уважаемый капитан оказался на территории славной Турции; не хочет ли он попросить политического убежища, а если хочет, то что он может предложить турецкой разведке?

Когда капитан услышал о турецкой разведке, он, ни секунды не сомневаясь, вскочил на ноги. От хмеля ничего не осталось.

– Я, может быть, пьяница! – заорал он туркам. – Но не предатель!

После этого он так удачно стукнул стареньким армейским сапогом «турецкого» капитана, похожего на утренний минарет, туда, где у того кончался человек и начиналось размножение, что «турка» сразу не стало: отныне и навсегда он занимался только собой.

«Переводчик» обомлел; теперь у него отвисла челюсть до нижней пуговицы.

Наш капитан схватил его за кимоно и, шлёпнув изумлённой турецкой мордой об грязную стенку, с криком: «Русские не сдаются!», вылетел в коридор и там попал в часового.

– А-а-а-а, – закричал проворный капитан, – и форму нашу одели?! (Это возмутило его больше всего).

Возмущение придало ему титанические силы, и он тут же разоружил

часового.

Если б он не забыл, как снимается с предохранителя, он положил бы полкараула насмерть: те выбегали из караулки, а капитан их просто укладывал прикладом вдоль стенки. Наконец его скрутили и побили. Это было в воскресенье. На следующее утро комендант, прибыв на службу, произвёл разбор этих полётов.

Нашего капитана, как человека надёжного и проверенного, выпустили сразу, а искалеченные «турки» сразу же сели.

Я всё ещё помню

Я всё ещё помню

Я всё ещё помню, что атомные лодки могут ходить под водой по сто двадцать суток, могут и больше – лишь бы еды хватило, а если рефрижераторы отказали, то сначала нужно есть одно только мясо – огромными кусками на первое, второе и третье, предварительно замочив его на сутки в горчице, а потом – консервы, из них можно долго продержаться, а затем в ход пойдут крупы и сухари – дотянуть до берега можно, а потом можно прийти – сутки-двое на погрузку – и опять уйти на столько же.

Я помню свой отсек и всё то оборудование, что в нём расположено; закрою глаза – вот оно передо мной стоит, и все остальные отсеки я тоже хорошо помню. Могу даже мысленно по ним путешествовать. Помню, где и какие идут трубопроводы, где расположены люки, лазы, выгородки, переборочные двери. Знаю, сколько до них шагов, если зажмурившись, затаив дыхание, в дыму, наощупь отправиться от одной переборочной двери до другой.

Я помню, как трещит корпус при срочном погружении и как он трещит, когда лодка проваливается на глубину; когда она идёт вниз камнем, тогда невозможно открыть дверь боевого поста, потому что корпус сдавило на глубине и дверь обжало по периметру. Такое может быть и при «заклинке больших кормовых рулей на погружение». Тогда лодка устремляется носом вниз, и на глубине может её раздавить, тогда почти никто ничего не успевает сделать, а в центральном кричат: «Пузырь в нос! Самый полный назад!» – и тот, кто не удержался на ногах, летит головой в переборку вперемешку с ящиками зипа.

Я помню, что максимальный дифферент – 30 и как лодка при этом зависает, и у всех глаза лезут на лоб и до аналов всё мокрое, а в лёгких нет воздуха, и тишина такая, что за бортом слышно, как переливается вода в лёгком корпусе, а потом лодка вздрагивает и «отходит», и ты «отходишь» вместе с лодкой, а внутри у тебя словно отпустила струна, и ноги уже не те – не держат, и садишься на что-нибудь и сидишь – рукой не шевельнуть, а потом на тебя нападает веселье, и ты смеёшься, смеёшься...

Я знаю, что через каждые полчаса вахтенный должен обойти отсек и доложить в центральный; знаю, что если что-то стряслось, то нельзя из отсека никуда бежать, надо остаться в нём, задрать переборочную дверь и бороться за живучесть, а если это «что-то» в отсеке у соседей и они выскакивают к тебе кто в чём, безумные, трясущиеся, то твоя святая обязанность – загнать всех их обратно пинками, задрать дверь на

кремальеру и закрыть её на болт – пусть воюют.

И ещё я знаю, что лодки гибнут порой от копеечного возгорания, когда чуть только полыхнуло, замешкались – и уже всё горит, и из центрального дают в отсек огнегаситель, да перепутали и не в тот отсек, и люди там травятся, а в тот, где горит, дают воздух высокого давления, конечно же тоже по ошибке, и давятся почему-то топливные цистерны, и полыхает уже, как в мартене, и люди – надо же, живы ещё – бегут, их уже не сдержать; и падает вокруг что-то, падает, трещит, взрывается, рушится, сметается, и огненные вихри несутся по подволоку, и человек, как соломинка, вспыхивает с треском, и вот уже выгорели сальники какого-нибудь размагничивающего устройства, и отсек заполняется водой, и по трубопроводам вентиляции и ещё чёрт его знает по чему заполняется водой соседний отсек, а в центральном всё ещё дифферентуют лодку, всё дифферентуют и никак не могут отдифферентовать...

Воскресенье

Воскресенье. Сегодня воскресенье. А чем оно отличается от других дней недели? Всё равно с корабля схода нет. И сидят все по углам, а в кубрике идёт фильм, а завтра понедельник, и опять всё затянется на неделю. Вот так вот, лейтенант Петрухин. Стук в дверь.

– Да.

Входит рассыльный:

– Товарищ лейтенант, вас к старпому.

По дороге он думал: за что? Сосало под ложечкой.

Вроде бы не за что. Хотя кто его знает. Он уже год на корабле, а старпом только и делает, что дерёт его нещадно за всякую ерунду, а при встрече смотрит, как удав на кролика. Может, он опять в кубрике побывал и нашёл там что-нибудь?

– Разрешите?

Старпом сидел за столом, но, несмотря на массивный взгляд, лейтенант понял: драть не будут. Сразу отпустило.

Старпом пихнул через стол бумагу:

– На, лейтенант, читай и подписывай, ты у нас член комиссии.

Интересно, что это за комиссия? Акт на списание сорока литров спирта. За квартал. Из них три литра и ему, лейтенанту Петрухину, лично выдавали. Он их в глаза не видел. Ясно. Всё сожрано без нас.

Стараясь не смотреть на тяжкое лицо старпома, он подписал этот акт. После этого ему подсунули ещё один. О наличии продовольствия. Краем уха доходило: недостача девяноста килограммов масла, а здесь всё гладко, как в сказке; а на дежурстве в прошлый раз видел: интендант в несколько заходов выносил с корабля в вещмешках что-то до боли похожее на консервы. Выносил и укладывал в «уазик». Да чёрт с ними! Пусть подавятся. В конце концов, что творится в службе снабжения – не нашего ума дело. По акту всё сходится. Правда, матросы вторую неделю жрут только комбижир, а утренние порции масла тают, родимые; а вместо мяса давно в бачке какие-то волосатые лохмотья плавают, но на этом долбаном корабле есть, в конце концов, командир, зам и комсомольский работник (вот, кстати, и его подпись). Тебе что, больше всех надо? Да катись оно... закатись. Что там

ещё? Акт о списании боезапаса. За полгода – сто пятьдесят сигнальных ракет! Вот это бабахнули! Куда ж столько? Друг в друга, что ли, стреляли?

Старпом проявляет нетерпение:

– Давай, лейтенант, подписывай быстрее. Чего читаешь по десять раз? Не боись, я сам проверил. Сам понимаешь, времени нет вас всех собирать. Время-то горячее.

Ладно. Оружие? Так его же каждый день считают. Куда оно денется? Боезапас? Так стрельбы же были. Любой подтвердит. А случись что – всегда можно сказать, что проверяли и тогда всё было на месте. Ладно.

Старпом кладёт бумаги в стол и достаёт оттуда ещё одну.

– На ещё.

Нужно списать один из двух новеньких морских биноклей, позавчера полученных. По этому поводу и составлен этот акт. А вот и административное расследование, приложенное к акту: матрос Кукин, вахтенный сигнальщик, уронил его за борт. Лопнул ремешок, и все усилия по спасению военного имущества оказались тщетны. Вахтенному офицеру – «строго указать», Кукину – воткнуть по самые уши, остальным – по выговору, а бинокль предлагается списать, так как условия были, прямо скажем, штормовые, приближенные к боевым, и вообще, спасибо, что никого при этом не смыло.

Старпом находит нужным объяснить:

– Нашему адмиралу исполняется пятьдесят лет. Сам понимаешь, нужен подарок. Нам эти бинокли и давались только с тем условием, что мы один спишем. Ну, ты лейтенант, службу уже понял. Вопросы есть? Нет? Вот и молодец, – бумаги в стол. – Ну, лейтенант, тащи свою бутылку.

Он вышел от старпома и подумал: при чём здесь бутылка? И тут до него дошло: он хочет мне спирт налить.

Бутылка нашлась в рундуке.

– Разрешите? Вот, товарищ капитан второго ранга.

Старпом берёт бутылку, и начинается священнодействие: он открывает дверь платяного шкафа и извлекает оттуда канистру. На двадцать литров. Потом появляются: воронка и тонкий шланг. Один конец шланга исчезает в канистре, другой – во рту у старпома. Сейчас будет сосать. Морда у старпома напрягается, краснеет, он зажмуривается от усердия – старпомовский засос, и – тьфу, зараза! – серебристая струйка чистейшего спирта побежала в бутылку.

Старпом морщится – ему не в то горло попало, – кашляет и хрипит сифилисно:

– Вот так и травимся... ежедневно... едри его... сука... в самый корень попало, – на глазах у старпома слёзы, он запивает приготовленной заранее водой и вздыхает с облегчением, – фу ты, блядь, подохнешь тут с вами. На, лейтенант, в следующий раз сам будешь сосать. А теперь давай, спрячь, чтоб никто не видел...

...Вечереет. «Звёзды небесные, звёзды далекие...» Город светится. Огоньки по воде. А люди сидят сейчас в теплых квартирах... От, сука...

Он вызвал рассыльного. Прислали молодого: низенький, взгляд бессмысленный, губы отвислые, руки грязнющие, сам – вонючий-вонючий, шинель прожжённая в десяти местах, брюки – заплатка на заплате, прогары разбитые, дебил какой-то: вошёл и молчит.

- Чего молчишь, холера дохлая, где твоё представление?
- Матрос Кукин по вашему приказанию прибыл.
- А-а, старый знакомый. Ты старый знакомый? А? Понаберут на флот...

Этот и утопил бинокль, в соответствии с расследованием. А что, такой и голову свою может потерять совершенно свободно. Как нечего делать. А бинокль завтра подарят «великому флотоводцу». «От любящих подчиненных». И он примет и даже не спросит, откуда что взялось. Все всё знают. Курвы. Сидишь здесь, и рядом ни одного человека нет, все ублюдки. И это ещё, чмо, стоит. Уши оттопырены, рожа в прыщах. Чуча лаздренючая. А ресницы белёсые, как у свиньи. И бескозырка на два размера больше. Болтается на голове, как презерватив после употребления. Разве это человек?

- А ну, чмо болотное, подойти ближе. По сусалам хочешь?

Матрос подходит ближе, останавливается в нерешительности. Боится. Хоть кто-то тебя на этом корабле боится. Боится – значит уважает.

- В глаза надо смотреть при получении приказания! В глаза!

За подбородок вверх его.

– Может, ты чем-нибудь недоволен? А? Чем ты можешь быть недоволен, вирус гнойный. А ну, шнурок, пулей, разыскать мне комсомольца корабельного, и скажешь ему, чтоб оставил на мгновение свой комсомол и зашёл ко мне. Пять минут даю.

Через пятнадцать минут в каюте рядом уже сидел самый младший и самый несчастный из корабельных политработников – комсомолец – тот самый, которому доверяют все, кроме собственной жены.

Каюта заперта, иллюминатор задраен и занавешен; на столе – бутылка (та самая), хлеб, пара консервов, тяжёлый чугунный чайник с камбуза с тёмным горячим чаем (на камбузе тоже свои люди есть).

- Откуда? – комсомолец покосился на бутылку.

Небрежно:

- На протирку выдают. Положено.

– Хорошо живёшь, – комсомолец вздыхает, – а вот мне не выдают, протирать нечего.

– Ничего, ты у нас вырастешь, станешь замом, и тебе будут выдавать. На протирку. Протирать будешь... подчиненным...

После первых полстакана комсомолец расчувствовался и рассказал, как сегодня утром зам орал на него при матросах за незаполненные учётные карточки. Помолчали, поковыряли консервы. Потом пошло про службу, про службу...

А старпом сегодня какой ласковый. С актами. Бинокль им нужен был. Когда им нужно, они все сладкие...

Допили. Потом был чай, а потом комсомолец ушёл спать.

Он вызвал рассыльного. Подождал – не идёт. Где он, спрашивается, шляется? Он позвонил ещё раз, ему ответили: уже ушёл.

– Как это «ушёл»? А куда он ушёл? Да что вы мне там мозги пачкаете? Ушёл – давно бы был.

Вошёл рассыльный.

– Кукин, сука, ты где ходишь, скот? Как ты смеешь заходить к офицеру в таком виде зачуханном? Тобой что, заняться некому? Что ты там бормочешь? Ближе подойди. Где шлялся?

Матрос молчит. Подходит робко. Голову он держит так, чтоб легко можно было отшатнуться.

Его испуг бесит, просто бесит.

– Закрой дверь! Закрыл.

– И снимай ремень.

Снял. Штаны падают, и он их пытается подхватить.

– Дай сюда! – он сам сдёргивает с него бескозырку, нагибает за плечи, суёт его стриженую, дохлую голову себе между ног и с остервенением бьёт ремнем по оттопыренным ягодицам. Тот не сопротивляется. Скот потому что, скот!

– А теперь сделаешь здесь приборку!

Ползает, делает. Проходит минут десять.

– Сделал?

– Так точно.

– Пошёл вон отсюда...

Святее всех святых

После того как перестройка началась, у нас замов в единицу времени прибавилось.

Правда, они и до этого на экипажах особенно не задерживались – чехардились, как всадники на лошади, а с перестройкой ну просто как перчатки стали меняться: полтора года – новый зам, ещё полтора года – ещё один зам, так и замелькали. Не успеваешь к нему привыкнуть, а уже замена.

Как-то дают нам очередного зама из академии. Дали нам зама, и начал он у нас бороться. В основном, конечно, с пьянством на экипаже. До того он здорово боролся, что скоро всех нас подмял.

– Перестройка, – говорил он нам, – ну что не понятно?

И мы свою пайку вина, военно-морскую – пятьдесят граммов в море на человека, – пили и помнили о перестройке.

И вот выходим мы в море на задачу. Зам с нами в первый раз в море пошёл. Во всех отсеках, как в картинной галерее, развесил плакаты, лозунги, призывы, графики, экраны соревнования. А мы комдива вывозили, а комдива нашего, контр-адмирала Батракова, по кличке «Джон – вырви глаз», на флоте все знают. Народ его иногда Петровичем называет.

Петрович без вина в море не мог. Терять ему было нечего – адмирал, пенсия есть, и автономок штук двадцать, – так что употреблял.

Это у них в центре там перестройка, а у Петровича всё было строго – чтоб три раза в день по графину. Иначе он на выходе всех забодает.

Петрович росточка махонького, но влить в себя мог целое ведро. Как выпьет – душа-человек.

Сунулся интендант к командиру насчёт вина для Петровича, но тот только руками замахал – иди к заму. Явился интендант к заму и говорит:

– Разрешите комдиву графин вина налить?

– Как это, «графин»? – зам даже обалдел. – Это что, целый графин вина за один раз?

– Да, – говорит интендант и смотрит преданно. – Он всегда за один раз графин вина выдувает.

– Как это, «выдувает»? – говорит зам возмущенно. – У нас же

перестройка! Ну что не понятно?

– Да всё понятно, – говорит интендант, а сам стоит перед замом и не думает уходить, – только лучше дайте, товарищ капитан третьего ранга, а то хуже будет.

У интенданта было тайное задание от командира: из зама вино для Петровича выбить. Иначе, сами понимаете, жизни не будет.

– Что значит «хуже будет»? Что значит «будет хуже»? – спрашивает зам интенданта.

– Ну-у, товарищ капитан третьего ранга, – заканючил интендант, – ну пусть он напьётся...

– Что значит... послушайте... что вы мне тут? – сказал зам и выгнал интенданта.

Но после третьего захода зам сдался – чёрт с ним, пусть напьётся.

Налили Петровичу – раз, налили – два, налили – три, а четыре – не налили.

– Хватит с него, – сказал зам.

Я вам уже говорил, что если Петрович не пьёт, то всем очень грустно становится.

Сидит Петрович в центральном, в кресле командира, невыпивший и суровый, и тут он видит, как в центральный зам вползает. А зам в пилотке. У нас зам считал, что настоящий подводник в походе должен в пилотке ходить. С замами такое бывает. Это он фильмов насмотрелся.

В общем, крадётся зам в пилотке по центральному. А Петрович замов любил, как ротвейлер ошейник. Он нашего прошлого зама на каждом выходе в море гноил нещадно. А тут ему ещё кто-то настучал, что это зам на вино лапу наложил. Так что увидел Петрович зама и, вы знаете, даже ликом просветлел.

– Ну-ка ты, хмырь в пилотке, – говорит он заму, – ну-ка, плыви сюда.

Зам подошёл и представился. Петрович посмотрел на него снизу вверх мутным глазом, как медведь на виноград, и говорит:

– Ты на самоуправление сдал?

– Так точно, – говорит зам.

– Ну-ка, доложи, это что? – ткнул Петрович в стяжную ленту замовского ПДУ.

Зам смотрит на ПДУ, будто первый раз его видит, и молчит.

– А вот эта штука, – тыкает Петрович пальцем в регенерационную установку, – как снаряжается?

Зам опять – ни гугу.

– Так! – сказал Петрович, и глаза его стали наливаться дурной кровью, а голова его при этом полезла в плечи, и тут зам начинает понимать, почему говорят, что Петрович забодать может.

Приблизил он к заму лицо и говорит ему тихо:

– А ну, голубь лысый, пойдём-ка, по устройству корабля пробежимся.

И пробежались. Начали бежать с первого отсека, да в нём и закончили. Зам явил собой полный корпус – ни черта не знал. Святой был – святее всех святых.

В конце беседы Петрович совсем покраснел, раздулся, как шланг, да как заорёт:

– Тебя чему учили в твоей академии? Вредитель! Газеты читать? Девизы

вас за рукав, увлекая за собой. При этом он смотрит вам за ухо так, словно вас сзади именно в этот момент переезжает автокар.

Вы инстинктивно оборачиваетесь; ничего там сзади нет, а офицер уже исчез. Пуговицу себе срезал, за которую вы держались, и исчез. Можете её сохранить на память.

Мой лучший друг, Саня Гудинов, – редкий интеллигент, два языка, – когда его вот так берут на улице, напускает на себя дурь, начинает заикаться и называет себя так:

– Го... го... гоша... Го... го... го... лованов!

Патруль тут же прошибает слеза от жалости к несчастному офицеру-заике, и он от него отстаёт: грех трогать калеку.

– Заикой меня делает служба, – говорит в таких случаях Саня.

Но лучше всего действует напористый нахрап, ошеломляющая наглость и фантастическое хамство.

Вот мой любимый рыжий штурман, который вошёл в мое полное собрание сочинений отдельной главой, тот полностью согласен с Конечким: с патрулем спорят только салаги.

– Главное в этом деле, – любил повторять рыжий, – чётко представиться. Чтоб не было никаких дополнительных вопросов.

– Туполев! – бросал он патрулю быстро с бодрой наглостью. – Я. Ка... ве-че сорок ноль сорок.

И патруль усердно записывает: Туполев, ЯК-40...

Только полные идиоты требовали от него документы: штурман обладал монументальной внешностью, и его ужасные кулаки сообщали любому врождённое уважение к ВМФ!

Должен вам заметить, что страх перед своей фамилией, или, лучше скажем, бережное к ней отношение – это условный рефлекс, воспитываемый в офицере самой жизнью с младых ногтей: начиная с курсантских будней.

– Товарищи курсанты, стойте! – останавливал нас когда-то дежурный по факультету. – Почему без строя? Почему через плац? Почему в неполюженном месте? Фамилии? Рота?

Этот дежурный у нас был шахматист-любитель. Страсть к шахматам у него была патологическая. Кроме шахмат он ничего не помнил и рассеянный был – страшное дело. А всё потому, что он в уме всё время решал шахматные кроссворды. Но главное: он был начисто лишен фантазии, столь необходимой офицеру. Полёта у него не было.

– Курсант Петросян, – прогундосил Дима, стараясь походить на армянина.

– Курсант Таль, – поддержал его Серёга.

Мне пришлось сказать, что я – Ботвинник, чтоб не выпасть из общего хора. Дежурный, ни слова не говоря, нас задумчиво записал и отпустил. Наверное, перед ним в этот момент явился очередной кроссворд.

Когда он доложил начальнику факультета, что у него Таль, Петросян и Ботвинник пересекли плац в неполюженном месте, то наш славный старый волкодав воскликнул:

– Хорошо, что не Моцарт и Сальери! Твердопятов, ковырять ты некому, я когда на тебя смотрю, то я сразу вспоминаю, что человек – тупиковая ветвь эволюции. Ты со своими шахматами совсем дошёл. Очумел окончательно. Рехнёшься скоро. Что за армейский яйцеголовизм, я тебя спрашиваю?

Прочитай ещё раз, я ещё раз эту музыку послушаю, и ты сам, когда читаешь чего-нибудь, ты тоже слушай, чего ты читаешь. Это иногда очень даже интересно. Ну, начинай!

И тот прочитал снова.

– Понял?

– Понял.

– Вот до чего дошло. Видишь? Мой тебе совет: забудь ты свои шахматы. Они ж тебя до ручки доведут. А теперь давай иди... Знаешь куда?

Тот кивнул.

– Вот и давай, двигай с максимально-малошумной скоростью, осторожненько, не заезжая в кусты. И не буди во мне зверя... Ботвинник...

Джоконда

Когда я пришёл на флот, я был такой маленький, пионер, не ругался матом, уступал дорогу девочкам, помогал старшим донести сетки... И вдруг – флот.

Я – робкое человеческое растение – увидел вот это вот в натуральную величину. Ай-яй-яй! В один миг можно прожить целую жизнь. Пропасть! Сразу же, в первый же день, – на камбуз!

Человека нельзя сразу на камбуз! Он умирает мучительно, человек; сначала – пионер, потом – «уступающий дорогу девочкам», потом умирают мультфильмы, «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?»; человеческое растение корёжится и в конце дня ругается матом!

– Это... что?...

На меня посмотрели безумно, как на тёмную шаль.

– Это макароны по-флотски.

– Вот это... едят?!

– Не хочешь – не ешь!

В алюминиевой миске, давно приняв её форму, лежала серая, слипшаяся, местами коричневая, блестящая, как разрытая брюшина, масса, сверху жёлтыми бигудями кудрявилось сало, казалось, что всё это, вместе с миской, только что достали из брюха кашалота, успевшего всё ж полить это всё своим собственным соком.

Человек не знает, не хочет знать, что даже праздничное блюдо, попадая к нему в рот, больше не будет выглядеть так аппетитно, а пройдя все стадии увлекательного процесса, вообще может получиться навоз!

А на камбузе «праздничное – в навоз» происходит по несколько раз в день! На сотне столов, в разделочной! в варочной! в зале! в мгновение – в мусор!

В разделочной на столах грязными, ленивыми потоками оттекает бордовое мясо. В варочной – «Давай! Давай!». В мойке в ванну ныряют тарелки, и ты за ними, с красными, толстыми, распаренными руками! Кошки! Крысы! Кошка сдуру – в котёл, её оттуда – чумичкой!

– Бачки-и-и!!!

На раздаче Джоконда ругается матом! А ты привык к женщине хрупкой, незнакомке, тебя воспитывали, воспитывали...

– Сынки-и-и!!! – кричит Джоконда. У неё не рот, а пещера! Сталактиты! Сталагмиты! Катакомбы! Её голосом можно валить деревья! Они сами будут

вязаться в снопы!!!

У неё не раздача, а песня! Второе – на автомате; хлоп! шлёп! – поехало!

– Бачки-и-и!!! – Пустые бачки летят по полу!

– Сынки-и-и!!! – Не дай бог, не хватит второго, на том месте, где только что стояла Джоконда, будет стоять Анаконда!

А я был такой маленький, пионер, не ругался матом, не во! ро! вал! уступал дорогу девочкам, помогал доживать старушкам!...

Есть повесть поужаснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...

Мамонтёнок Дима

О мамонтенке Диме не слышали? Ну, как его в тундре откопали, а потом в Англию к английской королеве повезли? Слышали, наверное. Нам о нём в автономке сообщили.

Дело в том, что наша подводная красавица всплывает иногда на сеанс связи: не совсем, правда, всплывает, просто подвсплывает и вытаскивает из-под воды антенну, на которую, с риском для жизни, принимается всякая всячина о жизни в нашей стране и за рубежом.

Почему с риском для жизни? А подводники всё делают с риском для жизни: всплывают, погружаются, ходят, бродят, дышат... и потом, при всплытии лодку могут обнаружить, а в боевой обстановке это равносильно её уничтожению.

Так что с риском для жизни всплываем, вытаскиваем из воды пипку, и из центра полётов нам сообщают, что в нашей стране зерновые собраны на восьмидесяти процентах площадей.

Но иногда сообщают что-нибудь этакое, например: «На орбиту запущены два космонавта и Савицкая. На завтра запланированы биологические эксперименты».

Информацию у нас подписывает командир и зам, после этого её вывешивают в третьем отсеке на средней палубе.

Когда вывесили про Савицкую, наши стали ходить кругами и очень плоско шутить. Некоторые до того опускались в своём безобразии, что изображали эти биологические эксперименты мануально, и при этом гомерически гоготали.

Зам тогда не выдержал и изменил фамилию «Савицкая» на «Савицкий».

Но вообще-то я вам должен сказать, что информацию из родного отечества мы очень любим: каждый день с нетерпением ждем; жаль только, что она доходит к нам часто по кускам: то срочное погружение помешает, то антенну зальет, то ещё что-нибудь...

Вот однажды вывесили: «Министр обороны США вылетел на...» – а дальше не успели принять. Так и вывесили, и зам подписал: ночь была, ему спросонья подсунули, а он и подмахнул.

Наши сначала изменили предлог «на» на более удобный предлог «в», а потом, вместо многоточия, написали то место, куда он вылетел.

Заму пришлось всё срывать. Хоть и не наш министр обороны, но всё-таки неудобно.

И тут мы принимаем известие насчёт мамонтёнка Димы, мол, отрыли его, отряхнули, и теперь он по Англии путешествует и английская королева его там наблюдает.

И решили наши люди среди радистов зама разыграть.

Дело в том, что зам у нас безудержно верил каждому печатному слову. Просто завораживало его.

Вот они и напечатали ему, что в нашей стране, известной своим отношением к материнству и детству, отрыли из вечной мерзлоты мамонтёнка, оживили его, назвали Димой и отправили его в Англию, чтоб побаловать английскую королеву.

Как только зам прочел про Диму, у него все мозги перетряхнуло: до того он обрадовался насчёт советской науки. Он даже бредить начал. С ума сошёл. Тронулся. Всё ходил и заводил соответствующие разговоры. Встанет рядом и начнёт вполголоса бубнить: «Мамонтёнок Дима, мамонтёнок Дима... Советская наука, советская наука...».

У нас потом вся автономка была уложена на этого мамонтёнка Диму: и тематические вечера, и диспуты, и концерты – всё шло под лозунгом: «Мамонтёнок Дима – дитя советской науки!».

Народ у нас на корвете подлый: все знали про Диму, все, кроме зама.

И что интересно: ну хоть бы одна зараза не выдержала. Ничего подобного: всю автономку все продержались с радостными, за нашу науку, рожами.

Когда мы пришли к родным берегам, зам тут же примчался в политотдел и сунул начпо под нос свой отчет за поход. А там на каждом листе был мамонтёнок Дима.

– Какой мамонтёнок? – остолбенел начпо.

– Дима! – обрадовался зам.

– Какой Дима? – не понимал начпо.

– Мамонтёнок, – веселился зам.

– Какой мамонтёнок?!

– Советский...

– М-да... – сказал начпо, – сказывается усталость личного состава, сказывается...

Зам потом радистам обещал, что они всю жизнь, всю жизнь, пока он здесь служит, будут плакать кровавыми слезами; на что наши радисты мысленно плюнули и ответили: «Ну, есть...».

Сатэра⁴

После автономки хочется обнять весь мир. После автономии всегда много хочется... Петя Ханыкин бежал ночевать в поселок. Холостяка из похода никто не ждёт, и потому желания у него чисто собачьи: хочется ласки и койки.

И хрустящие, скрипящие простыни; и с прыжка – на пружины; и – одеялкой, с головой одеялкой; и тепло... везде тепло... о, господи!... Петя глотал слюни, ветер вышибал слёзы...

...И Морфей... Морфей придёт... А волосы мягкие и душистые... И поцелует в оба глазика... сначала в один, потом сразу в другой...

Петя добежал. Засмеялся и взялся за ручку двери. А дверь не

⁴ Сатэра – синоним слова «кореш».

поддалась. Только сейчас он увидел объявление: «В 24.00 двери общежития закрываются». Чья-то подлая рука подцарапала: «навсегда!». Тьфу! Ну надо же. Стоит только сходить ненадолго в море – и всё! Амба! За три месяца на флоте что-то дохнет, что-то меняется: появляется новое начальство, заборы, инструкции и бирки... зараза... Петя двинулся вдоль, задумчивый. Окна молчали.

– Вот так в Америке и ночуют на газоне, – сказал Петя, машинально наблюдая за окнами. В пятом окне на первом этаже что-то стояло. Петя остановился. В окне стояло некое мечтающее, пятилапое, разумное в голубом. Над голубыми трусами выпирал кругленький животик с пупочком, похожим на пуговку; наверху животик заканчивался впадиной для солнечного сплетения; под голубыми трусами, в полутенях, скрывались востренькие коленки с мохнатой голенью, в которые, по стойке «смирно», легко вложился бы пингвиненок; грудь, выгнутая куриной дужкой; руки цеплялись за занавески, взгляд – за великую даль. Разумное раскачивалось и кликушечьи напевало, босоного пришлёпывало. Разумное никак не могло выбраться из припева: «Эй, ухнем!».

В окно полетел камешек. «Эй! На помосте!» Песня поперхнулась. «Эй» чуть не выпало от неожиданности в комнату сырым мешком; оно удержалось, посмотрело вниз, коряво слезло с подоконника, открыло окно и выглянуло. До земли было метра три.

– Слышь, сатэра, – сказал Петя из-под фуражки, – брось что-нибудь, а то спать пора.

Фигура кивнула и с пьяной суетливой готовностью зашарила в глубине.

Через какое-то время голая пятка, раскрыв веером пальцы, упёрлась в подоконник, и в окно опустилась простыня. Пете почему-то запомнилась эта пятка; такая человеческая и такая беззащитная... Ыыыы-х! Поддав себе в прыжке по ягодицам, Петя бросился на простынь, как акробат на трапецию. Тело извивалось, физиономия Пети то и дело чиркала по бетону, ноги дёргались, силы напрягались в неравной борьбе: простыня ускользала из рук. Ыыыы-х! Бой разгорался с новой силой. Дециметры, сантиметры... вот он, подоконник, помятое, покореженное железо... Нет!

И вот тогда сатэра, совершенно упустив из виду, что он упирается пяткой, нагнулся вперёд, собираясь одной рукой подхватить ускользающего Петю.

Всего один рывок – и сатэра, с криком: «А-а-а-а-м!», простившись со своей осиротевшей комнатой, сделав в воздухе несколько велосипедных движений, вылетел через окно и приземлился рядом с Петей. Всё. Наступила колодезная тишина.

Когда Петя открыл глаза и повернулся к корешу, он увидел, что тот смотрит в звёзды космическим взглядом.

Петя встал сам и поднял с земли своего сатэру, потом он осмотрел его пристально и установил, что ничего ушиблено не было.

– Прости, мой одинокий кореш, сатэра, – воскликнул Петя после осмотра; ему стало как-то легко, просто гора с плеч, – что так тебя побеспокоил. Пойду ночевать на лодку, в бидон. Не получилось. Мусинги⁵

⁵ Мусинги – узлы.

нужно было на твоей простыне вязать, мусинги. Ну ладно, не получилось. Не очень-то и хотелось.

Петя совсем уже собирался уходить, когда его остановил замерзающий взгляд. Кореш молчал. Взгляд втыкался и не отпускал.

Эх, ну что тут делать! И Петя вернулся. Кореш встретил его, как собака вернувшегoся хозяина.

Скоро они топтались, как стадо бизонов: кореш взбирался на Петю, пытаясь при этом одной рукой во что бы то ни стало перехватить ему горло, а другой рукой дотянуться до подоконника, но, как только он выпрямлялся, откуда ни возьмись появлялась амплитуда. Амплитуда грозила его обо что-нибудь сгоряча трахнуть, и он малодушно сползал. Разъярённый Петя с разъярёнными выражениями поставил бедолагу к стенке. Но когда Петя влез к нему на плечи, бедняга сложился вдвое. Петя в отчаянии пытался с прыжка достать подоконник: спина у сатэры гнулась, как сетка батута. В конце концов энергия кончилась: они шумно дышали друг на друга, разобрав на газоне тяжёлые...

Вставшее солнце освещало притихшие улочки маленького северного городка, дикие сопки цепенели в строю. Далеко в освещённом мире маячили две странные фигуры: они уже миновали вповалку спящее КПП. Первая была задумчивой, а у второй из-под застегнутой доверху шинели виднелись мохнатые голые ноги, осторожно ступавшие в раскинувшуюся весеннюю грязь, – такие беззащитные и такие человеческие...

Весёлое время

Господи! Как мы только не добирались до своей любимой базы. Было время. Я имею в виду то самое славное время, когда в нашу базу вела одна-единственная дорога и по ней не надрывались автобусы, нет, не надрывались: по ней весело скакали самосвалы и полупорки – эти скарабеи цивилизации. По горам и долам!

Стоишь, бывало, в заводе, в доке, со своим ненаглядным «железом», за тридцать километров от того пятиэтажного шалаша, в котором у тебя жена и чемоданы, а к маме-то хочется.

– А мне насрать! – говорил наш отец-командир (у классиков это слово рифмуется со словом «жрать»). – Чтоб в 8.30 были в строю. Хотите, пешком ходите, хотите, верхом друг на друге ездите. Как хотите. Можете вообще никуда не ходить, если не успеваете. Узлом завязывайте.

Только подводнику известно, что в таких случаях нам начальство рекомендует узлом завязывать. Пешком – четыре часа.

Мы сигналили машинам руками, запрыгивали на ходу, становились цепью и не давали им проехать мимо, ловили их, просили издалека и бросали им вслед кирпичами. Мы – офицеры русского флота.

– Родина слышит, Родина знает, где, матерясь, её сын пропадает, – шипели мы замёрзшими голосами и влезали в самосвалы, когда те корячились по нашим пригоркам.

Однажды влетел я на борт полупорки, а она везла трубы. Сесть, конечно же, негде, в том смысле, что не на что. Хватаюсь за борт и, подобрав полы шинели в промежность, чтоб не запачкать, усаживаюсь на корточки в пустом углу. Начинает бросать, как на хвосте у мустанга. Прыгаю вверх-вниз, как

дрессированная лягушка, и вдруг на крутом вираже на меня поехали трубы. На мне совсем лица не стало. Я сражался с трубами, как Маугли. Остаток пути я пролежал на трубах, удерживая их взбрыкивание своим великолепным телом.

А как-то в классическом броске залетаю на борт и вижу в углу двух приличных поросят. Мы – я и поросята – взаимно оторопели. Поросята что-то хрюкнули друг другу и выжидательно подозрительно на меня уставились.

«Свиньи», – подумал я и тут же принялся мучительно вспоминать, что мне известно о поведении свиней. Я не знал, как себя с ними вести. Вспоминалась какая-то чушь о том, что свиньи едят детей.

Дёрнуло. От толчка я резво бросился вперёд, упал и заключил в объятия обеих хрюшек. Ну и визг они организовали.

А вот ещё: догоняем мы бедную колымагу, подышающую на пригорке (мы – два лейтенанта и капдва, механик соседей), и плюхаемся через борт. То есть мы-то плюхнулись, а механик не успел: он повис на подмышках на борту, а машина уже ход набрала, и тогда он согнул ноги в коленях, чтоб не стукаться ими на пригорках об асфальт, и так ехал минут десять.

И мы, рискуя своими государственными жизнями, его оторвали и втащили. Тяжело он отрывался. Почти не отрывался – рожа безмятежная, а в зубах сигарета.

А вот ещё история: догоняем бортовуху, буксующую в яме, и, захлебываясь от восторга, вбрасываемся через борт, а последним из нас бежал связист – толстый, старый, глупый, в истерзанном истлевшем кителе. Он бежал, как бегемот на стометровке: животом вперёд, рассекая воздух, беспорядочно работая локтями, запрокинув голову; глаза, как у бешеной савраски, – на затылке, полные ответственности момента, раскрытые широко. Он подбегает, ударяется всем телом о борт, отскакивает, хватается, забрасывает одну ножку, тужится подтянуться.

А машина в это время медленно выбирается из ямы и набирает скорость, и он, зацепленный ногой за борт, скачет за ней на одной ноге, увеличивая скорость, и тут его встряхивает. Мы в это время помочь ему не могли, потому что совсем заболели и ослабели от смеха. Лежали мы в разных позах и рыдали, а один наш козёл пел ему непрерывно канкан Оффенбаха.

Его ещё раз так дёрнуло за две ноги в разные стороны, что той ногой, которая в канкане, он в первый раз в жизни достал себе ухо. Брюки у него лопнули, и показались голубые внутренности.

Наконец, один из нас, самый несмешливый, дополз до кабины и начал в неё молотить с криком: «Убивают!».

Грузовик резко тормозит, и нашего беднягу со всего маху бросает вперёд и бьёт головой в борт, от чего он теряет сознание и пенсне...

А раз останавливаем грузовик, залезаем в него, расселись и тут видим – голые ноги торчат. Мороз на дворе, а тут ноги голые. Подобрались, пощупали, а это чей-то труп. Потом мы ехали в одном углу, а он в другом. У своего поворота мы выскочили, а он дальше поехал. Кто это был – чёрт его знает. Лицо незнакомое. Вот так мы и служили. Эх, весёлое было время!

В динамике

Дружеский визит наших кораблей на Остров Свободы был в самом

разгаре, когда наших моряков пригласили на крокодилю ферму. Это местная кубинская достопримечательность, которая даже участвовала в освободительной борьбе. Как-то американский десант десантировался прямо в то болото на ферме, где мирно доживают до крокодиловой кожи племенные гады.

Десантники владели приёмами каратэ, кун-фу и прочими криками «кей-я». Их сожрали вместе с парашютными стропами.

На ферме крокодилы воспитываются с сопливого детства до самого товарного состояния. Чудное зрелище представляет собой трёхметровая гадина; брось в неё палкой – и только пасть хлопнет, а остатки палки продолжат движение.

Но когда они греются на солнышке, то людей они почти не замечают, и можно даже войти за ограду. Наши попросились и вошли.

– Интересно, а какие они в динамике? – сказал штурман. – Я слышал, что крокодилы здорово бегают.

С этими словами он поднял палку и кинул её в спящего в пяти метрах от него типичного представителя.

Палка угодила представителю прямо в глазик. Крокодил в один миг был на ногах и с разинутой пастью бросился на делегацию.

В человеке заложена от природы масса не востребуемых возможностей. Трёхметровый сетчатый забор вся делегация преодолела в один длинный прыжок. На сетке забора потом долго висел крокодил, так и не успевший добыть влёт нашего штурмана.

Перед делегацией извинились и на следующий день отвели их туда, где крокодилы ещё совсем маленькие. Штурману, как наиболее пострадавшему, даже предоставили возможность сфотографироваться с крокодилёнышем. Ему протянули гадёныша и проинструктировали, как его и за что держать.

Все построились перед фотоаппаратом в одну шеренгу. Штурман на первом плане. Перед самым снимком он посадил гадёныша к себе на плечо и улыбнулся. Все тоже улыбнулись. Это была последняя фотография штурмана со своим правым ухом. От щелчка фотоаппарата гадёныш подскочил и отхватил его штурману.

Дождь

Небо навалилось на крыши своей серой, ноздреватой, словно перезревшая квашня, грудью.

Слышится шелест листьев. Таких остреньких листьев. Кажется, ясеня. Охапки листьев. Вот одну подхватывает, ворошит ветер, и от этого рождается переливчатый звук; он то слабеет, то усиливается, кажется, что ветер и листья исполняют какую-то мелодию. Это дерево стоит у дороги. Оно видно из окна его комнаты. Он сам его посадил в детстве, а теперь оно вымахало выше крыши.

Неужели за окном действительно есть дерево с копной листьев? Иллюзия его существования была так велика, что он – один из спящих в комнате лейтенантов – выскользнул из-под одеяла и подошёл к окну. Никакого ясеня нет, разумеется. Показалось. Здесь тундра. Край земли. Какие тут ясени.

По стеклам бежали струйки. Некоторые бежали быстро, резво, иные

замедляли своё течение, и сразу же возникало ощущение чего-то медицинского, анатомического: казалось, будто это движется лимфа. Ерунда, конечно. И тот лейтенант не мог всё это видеть, вернее всё это он, наверное, видел, но никогда так не думал. Да и думал ли он тогда? Скорее, чувствовал. Как животное. Кожей. Холодно, по ногам дует, зябко, на улице дождь, а к стеклам прилип чахоточный рассвет. Воскресенье. Выходной день. Лужи. Ветер, соединив усилия с каплями дождя, создаёт иллюзию шороха листвы. Вот, оказывается, в чём вся штука.

– Чего там? – скрипнув, заговорила раскладушка в углу.

– Дождь.

– Давай спать.

Это их первый выходной за три месяца. Тот, что стоит у окна, возвращается и втекает под одеяло. Постель уже успела остыть – влажная, противная, бельё несвежее. Нужно накрыться с головой, подышать, и тогда станет тепло. Сейчас одиннадцать утра, можно ещё поспать часик, а потом, когда окончательно рассветет, можно встать. Они имеют право поваляться. У них сегодня выходной; сейчас можно лежать не шевелясь, а сознание пусть бродит себе под закрытыми веками – и даже не бродит, а ворочается там светловатым комочком, а возможно, сквозь закрытые веки так виден рассвет? Может быть. Сегодня отдых. А потом они встанут. Они сегодня ночуют вдвоём в этой комнате. Впервые за три месяца в комнате, а не каюте без окон. Оттого-то так странно слышится за окнами дождь. Им дали здесь пожить. Пустили на время. Хозяева в отпуске. Вот они и живут теперь. Спят в кроватях. Они сварят себе на завтрак креветок. Пачку креветок и чай из огромных кружек, а заедят всё это изюмом. Красота. Можно принять душ, но это потом, когда захочется проснуться. Не сейчас. Вчера до того хотелось поскорей лечь, что он не помнит, как разделся. Спал так сочно, что правая рука онемела, сделалась каучуковой, бескостной куклой, и ухо тоже болело – отлежал.

А потом они пойдут погулять. Вокруг озера. Озеро в середине посёлка. Круглое, а вокруг него – дорожка. По ней все гуляют. Там они встретят знакомых. Ха! Знакомые, как же. Очень знакомые. До боли. Все они из одного экипажа. У них сегодня выходной. Командир дал.

«Здравствуйте! Отдыхаете?» – «А вы?». И сейчас же все начинают смеяться. Так, без причины. Просто хорошо. А гулять будут только они. Только они одни. Только их экипаж. Остальных жителей посёлка на улицу калачом не заманишь. Идёт дождь, и сквозь плащ предательски влажнеет спина. Наверное, так можно сказать. Остальные спят по домам, и только их экипаж, с женами, принаряженный, будет кружить вокруг озера под дождём, будет встречаться друг с другом, всхотнув, здороваться.

– Здравствуйте! Гуляете? Давно не виделись.

Действительно, давно.

Когда лежишь, то хорошо отсчитываются минуты и день так долог. Хочется налегаться. Господи, какое счастье, что можно так безалаберно обращаться со временем – растягивать минуты. Для этого нужно только твердить себе: «Ничего не нужно делать. Никуда не надо бежать». Вот блаженство! И минута увеличивается, растягивается, её можно почти что потрогать, ощутить. А можно, лежа, смотреть, как движется стрелка на часах. Прошло пять минут, ещё пять. А потом в душу будто бы втыкают

тоскливую тростиночку, и становится так невыносимо, словно ты плачешь, а ветер в лицо, и ты рывком поворачиваешься, защищаясь от ветра, и где-то в шее, у основания, заныли мышцы, оттого что ты так быстро, рывком повернул голову. И вдох, словно всхлип. Но от этого можно избавиться. Нужно вспомнить что-нибудь. Представить себе, скажем, зелень, цветы, солнце. Закрывать глаза и направить самого себя туда глубоко, далеко внутрь. Там хорошо.

А вечером они возьмут бутылку и пойдут в гости. К кому-нибудь, у кого есть жена. Чтоб не готовить самим. Но это вечером. Хороший будет день.

После обеда

Шифровальщик с секретчиком, ну и идиоты же! Пошутить они вздумали в обеденный перерыв, набрали ведро воды, подобрались в гальюне к одной из кабин и вылили туда ведро сверху. А там начальник штаба сидел. Они этого, конечно же, не знали, а в соседней кабине минёр отдыхал. Тот от смеха чуть не заболел, сидел и давился. Он-то знал, кого они облили.

Вылили они ведро – и тишина. Начштаба сидит, тихонько кряхтит и терпит. А эти дурни ничего лучше не придумали – «эффекту-то никакого», – как ещё одно ведро вылить. Минёр в соседней кабине чуть не рехнулся, а эти вылили – и опять тишина.

Постояли они, подумали и набрали третье ведро.

Двери у нас в гальюне без шпингалетов, их придерживать надо, когда сидишь, а начштаба после двух вёдер перестал их придерживать, и двери открылись как раз в тот момент, когда эти придурки собирались третье ведро вылить. Открылась дверь, и увидели они мокрого начальника штаба, сидящего орлом. Когда они его увидели, их так перекосило, что ведро у них из рук выпало. Выпало оно и обдало начштаба в третий раз, но только не сверху, а спереди. Подмыло его.

Он так орал на них потом в кабинете, куда он прошёл прямо с толчка и без штанов, что просто удивительно. Я таких выражений никогда ещё не слышал.

А минёра из дучки вывели под руки. Он от смеха там чуть не подох.

Про кишки

Русские забавы. Знаете ли вы, что такое русские забавы? Это когда кто-то согнутый пополам собирает во время приборки что-то с полу и стоит так, что самой верхней точкой у него является «анус» (изучай латынь); необходимо ткнуть его ногой в этот «анус». Ткнувший должен немедленно бежать, ибо за ним на расстоянии прыжка следует тот, кого ткнули, – дикий, как ирокез. Первый, бегущий с быстротой молнии минует входные двери, разделяющие кубрик на две равные половины, и закрывает их, а в этот момент кто-то другой, мгновенно учуяв ситуацию, наклонно ставит за дверью швабру. Одичавший рвёт на себя дверь и бросается. Швабра падает и попадает ему в живот или ниже куда-нибудь. В финале все падают, держась за что-нибудь.

А хорошо ещё проснуться утром и обнаружить, что рядом с тобой на подушке мирно дремлют твои собственные ботинки с запахом свежеснятой с

ноги кирзы, а на спинке койки на расстоянии вытянутого пальца от носа висит грязный носок типа «карась».

Тем, кто любит, раздевшись и вымыв ноги на ночь, с прыжка спиной попадать в коечку, хорошо бы под сетку коечки поставить баночку, сиречь табуреточку. Тогда, прыгнув, они в спине выгнутся и всем телом – пятки направились к голове – опояшут эту баночку. (Интереснее всего в таких случаях наблюдать его лицо. Следы глубокого изумления останутся при нём на всю жизнь.) А можно ещё снять сетку койки, а потом наживить её слегка на спинки. Койка стоит как живая. Завалившийся в неё, с улыбкой предвкушающий сладостный сон в доли секунды оказывается вместе с сеткой на полу, а на него с обеих сторон задумчиво и медленно падают спинки.

Вот теперь, когда вы уже достаточно подготовлены к восприятию русских забав, мы вам и расскажем про кишки.

Суббота. Большая приборка. В кубрике на втором ярусе двухъярусной койки на животе, ягодицами в проход лежит курсант Серёга – неловкий коротковатый малый – таким так и тянет для бодрости дать подзатыльник. Он только что протирал плафон. Серёга не просто лежит на животе, он слезает со второго яруса на пол, вернее, пытается это сделать, для чего, болтая ногами, он пытается достать до первого яруса. На флоте, если один мучается, то минимум трое наблюдают и украшают чем-нибудь его мучения.

И за Серёгой тоже наблюдали. Один из наблюдателей, подставив вертикально под Серёгу швабру, – этот неизменный инструмент для шуток – крикнул ему истошно: «Серёга, прыгай!» Если военнослужащему вот так неожиданно над ухом крикнуть: «Прыгай!», он прыгнет. Серёга прыгнул и попал на кол. В таких случаях писатели пишут: «Раздался ужасный крик».

Но зря вы про нас думаете плохо: весь кубрик бросился на помощь.

Если у нас на флоте с товарищем случается неприятность подобного рода, все бросаются ему на помощь, все как один человек. Над Серёгой, в конце концов потерявшим сознание, сгрудилась толпа. Что делают на флоте, если у товарища, я извиняюсь, сзади торчит что-то длиной в полтора метра? На флоте тянут. Пять человек схватили Серёгу, остальные – его швабру и стали тянуть. Если сразу не вынимается осторожными рывками, то силу рывков необходимо увеличить. От этих рывков Серёга ещё глубже терял сознание. Наконец палку решили отпилить; самые глупые пытались её сначала сломать о колено. Палку отпилили и Серёгу вместе с тем, что у него осталось торчать, положили на простынь и отнесли в санчасть.

Дежурная медсестра Сонечка сидела и плакала изумрудными глазами. Дежурный врач ушёл на обед, и Сонечка осталась единственной на всю санчасть прислужницей милосердия. Перед ней лежал платок, куда, побродив по щекам, стекали слёзы. Сонечка шумно тянула носом, отчего влага на щеках её шла рябью, изменяя направление. Эпизодически Сонечка вздыхала и оглушительно сморкалась на весь коридор. Она оплакивала любовь.

Сонечка не сразу смогла понять, что от неё хотят, когда перед ней на белой простыне, как рождественский кабан, появился Серёга с палкой. Сонечка потрогала пальчиком палку и удивилась.

Ей наперебой начали объяснять, что личный состав кубрика здесь ни при чём, что стояла где-то палка и рука судьбы взяла Серёгу за шиворот и

надела его на эту палку, и вот теперь он здесь с нетерпением ожидает, когда же он будет без палки. Сонечка ещё раз потрогала палку и ещё раз ничего не поняла.

Трудно от своих переживаний с ходу перейти к чужим.

В задних рядах испытывали нетерпение.

– Давай вынимай! – кричали в задних рядах. – Человеку же больно!

Тому, кто поставил палку и крикнул: «Прыгай!», давно набили рожу, и теперь, с набитой рожой, он суетился больше всех. «Лечи!» – кричал он.

Пришёл дежурный врач, выгнал всех и расспросил Сонечку. И Сонечка поведала ему, что личный состав кубрика здесь ни при чём, что стояла где-то палка...

«Скорая помощь» пришла всего-то через часок. В госпитале ещё два часа искали хирургов: они куда-то исчезли. В это время Серёга лежал под простыней, а шофер «скорой помощи» выравнивал живую очередь, идущую к телу, и объяснял, что личный состав кубрика, самое смешное, здесь ни при чём...

Все подходили, смотрели, трогали палку и удивлялись, как это она прошла через штаны. Палку потрогало минимум сто рук. (Некоторые трогали двумя руками).

Серёге вырезали полтора метра кишок и уволили в запас.

– Почему в запас? – спросите вы, может быть. Потому что то количество кишок, которое было рассчитано на двадцать пять лет безупречной службы, ему выдернули за один раз.

Ох, уж эти русские!

Нашему командиру дали задание: в походе сфотографировать американский фрегат, для чего его снабдили фотоаппаратом с метровым объективом и научили, как им владеть.

Командир вызвал начальника РТС и обучил его, чтоб самому не забыть.

Начальник РТС вызвал старшину команды и, чтоб где-то отложилось, провёл с ним тренировку.

Старшина команды вызвал моряка и провёл с ним занятие, чтоб закрепить полученные навыки.

Словом, всё было готово: люди, лодка, плёнка. И фрегат где-то рядом был.

Как-то днём всплыли. Средиземное море. Духотища. Солнце жарит в затылок. В глазах круги.

И вдруг американский фрегат, чёрт возьми, вот же он, собака, взял и пошёл на сближение. Командир с мостика заорал:

– Аппарат наверх! Жива!

Фрегат приближался исключительно быстро. Аппарат притащили.

– Сейчас мы его нарисуем, – сказал командир и припал к аппарату. Видно было, конечно, но всё-таки лучше бы повыше.

– Как РДП, старпом?

– В строю, как всегда, товарищ командир.

– Знаю я ваше «как всегда». Давай его наверх. Я сяду на поплавок, а вы медленно поднимайте. И скажешь там этим... сынам восходящего солнца, если они меня уронят, я им башку оторву.

РДП – это наше выдвижное устройство. Оно удлиняет наши возможности, и без того колоссальные. Это большущая труба. А сверху на ней поплавок, там действительно человека можно поднять.

Такого Средиземное море ещё не видело: наш голый худющий командир, с высосанной грудью с метровым аппаратом на шее, медленно плывущий вверх.

– Хватит – крикнул командир, и движение застопорилось.

Фрегат был уже совсем рядом, и командир снова припал к аппарату.

– Давай вниз, – крикнул командир через две минуты.

Что-то не получилось вниз. Заклинило что-то.

– Смазан же гад, ездил же вчера, – чуть не плакал старпом.

Фрегат уже давно умчался, а наш полуголый командир всё ещё торчал высоко поднятый над морской гладью, размахивая аппаратом и вопя что есть силы.

На следующий день итальянские газеты вышли с огромной фотографией. На ней была наша лодка с поднятым РДП, а на нём наш мечущийся командир с высосанной грудью; на шее у командира висело чудо техники – фотоаппарат с метровым объективом. Отдельно была помещена вопящая командирская физиономия. Надпись под ней гласила: «Ох, уж эти непонятные русские».

А вот наши снимки не получились, впопыхах забыли в аппарат вложить плёнку.

Пенообразователь

Настоящий офицер легко теряет ботинки. Выходит из дома в ботинках, а потом, смотришь, уже карабкается, уже ползёт в коленнолоктевом преклонённом суставе, без ботинок, в одних носках.

У меня командир любил без ботинок лазить по торцу здания. Скинет ботиночки – и полез. Сейчас он уже адмирал. Должен же кто-то служить в жутких условиях вечного безмолвия. Вот и служит, а чтоб сам лучше служил да ещё и других заставлял, – адмирала дали.

Все его считали балбесом. Он ни бельмеса ни в чём не понимал. Даже за оскорбление считал что-то понимать, но мог потребовать со всей строгостью, привлечь, понимаешь, мог к ответственности.

Кличка у него была – Пенообразователь. Когда он вырывался на трибуну речь говорить, то из всего сказанного, кроме «ядрёна вошь!», ничего не было понятно. Но зато все первые ряды были усеяны слюнями и пену он ронял буйными хлопьями, как хороший волкодав.

Скажет речь, коснется падения нравов с основным упором на безобразном отношении, завопит на трибуне: «Ядрёна вошь!!!» – забьётся, слюнями изойдёт, погрозит народу, потычет, взбодрит, а сам, смотришь, в два часа ночи уже готов, уже пополз на свежем воздухе, как по ниточке, на одном мозжечке. Дотянет на автомате до торца здания и начинает подниматься, поднимается и падает, ползёт-ползёт и падает. Инстинкт у него такой был, у балбеса, рефлекс. И дополз. Теперь адмирал в скотских условиях вечного безмолвия...

Ой, что будет! Ой, что будет, если адмиралы этот мой рассказик прочитают. Отловят они меня и начнут, как всегда, орать: «Кто вы такой?!

Кто вам дал право?! Вон отсюда!».

И я выйду вон. Я так здорово умею выходить вон, мой дорогой читатель, что, наверное, никто в мире лучше меня это делать не умеет.

УМЛ

УМЛ – это университет миллионов. Университет марксизма-ленинизма. И занимались мы этим делом по ночам. То есть по вечерам, я хотел сказать. А действительно, чего не заняться, если все остальные в это время чапают в бидон? То есть в подводную лодку, я хотел сказать. Но самое сладкое в этом моменте – это сон в понедельник до обеда. Хрюкаешь – просто стекла резонируют. Народ с утра корячится на галере, а ты занимаешься самоподготовкой. Колоссально хорошо!

Правда, расплата всё равно будет, но сначала она где-то там, на горизонте.

Когда меня сватали в этот УМЛ уродов, я серьёзно хотел обогатить свой внутренний мир, или там развить свой духовный потенциал и вооружить себя самой передовой, поступательно-наступательной идеологией, но через пару занятий я уже видел, что уровень преподавания не выше уровня моря и приближается к «устному народному творчеству». Утомило меня это деревянное зодчество, честно говоря, такая зубная боль, я не знаю. Раскатывают мозг в папиросную бумагу, пудрят его пылью. Ну, невозможно же! Захотелось сохранить себя. Не ходил я туда. Университет для миллионов, а среди миллионов легко потеряться.

Потерялся я до экзаменов. И вот экзамены. Все наши ходят с толстыми конспектами первоисточников и делают из конских рож умные лица, а у меня даже конспекта нет. Не написал я его... ещё. А тут квартиру у меня залило из прорвавшейся батареи, всё мое барахло погибло, и под этот залив я решил списать все свои конспекты. На стихийное бедствие.

И тут начпо флотилии позвонил начпо нашей дивизии:

– У вас там есть такой Петров, так вот он занятия в УМЛе не посещает и экзамены не сдаёт.

– Петров? – переспросил наш НачПо. – Сейчас разберёмся и доложим.

А НачПо у нас вечно был рассеянный, несобранный, вечно у него что-то терялось, торчало, что-то он всё время не помнил. Ни одного подводника он в лицо не знал, ни одна фамилия у него не откладывалась.

К офицерам он обращался «Эй, вы!», а к мичманам – «Эй, ты».

Вот он меня и вызвал.

Запасся я наглостью, захожу к нему, а он в это время стоя разговаривает по телефону.

– Да, да, да, – говорит он в трубку, поворачивается ко мне и кивает, мол, давай, заходи быстрее, – да, да, да, я его сейчас к вам прямо и направляю скоренько, да... – Потом прикрывает трубку рукой и говорит мне шёпотом:

– Пет-ров, ты почему УМЛ не посещаешь?

А я ему тоже шёпотом:

– Потому что конспектов нет.

И он в трубку громко:

– Потому что конспектов нет. Да, да, да...

И тут до него самого доходит, и он мне возмущенно опять шёпотом:

– А почему это у тебя их нет?

– Потому что утопли.

Он в трубку быстро:

– Потому что утопли... да...

– Как это «утопли»? – видимо, спрашивают его там.

– Как это «утопли»? – спрашивает он у меня.

– А так, – говорю, – батарею прорвало и всё залило, и все конспекты развалились.

– Батарею у него прорвало, – торопится он в трубку, – и все конспекты залило, и они развалились.

– А как они развалились? – спрашивает он у меня.

– А совсем, – делаю я брезгливую рожу, – в кашу.

Он делает точно такую же рожу в телефон.

– А совсем, – говорит он, – в кашу... да... ага... ага... так я вам его посылаю?

– Ну давай, – говорит он мне, – пулей туда, ждут.

Вздыхнул я и пошёл туда пулей, мечтая по дороге, чтоб кто-нибудь там сдох. Но не дошёл я. Меня отловили и в тот же день отправили в автономку. На три месяца. Правда, не совсем отловили, я сам отловился: зашёл к флагману и узнал, не нужно ли вместо кого-нибудь в автономку сходить. Оказалось, нужно.

Экзамены я потом сдал, естественно, задним числом, чтоб окончательно не задолбали, а вот за дипломом так и не явился. Некогда было. Начальник этого вечернего сборища придурков и наш НачПо просто рыдали непотребно. На каждом собрании меня клеймили. Просто удила грызли, честное слово.

Так и пропал мой диплом. Сожгли его. Да и пёс с ним, на кой он мне...

Методически неверно

Продать человека трудно. Это раньше можно было продать. Несёшь его на базар – и всё! Золотое было время. Теперь всё сложно в нашем мире бушующем.

Его звали Петей. По фамилии – Громадный. Петя Громадный. Он выговаривал через «х» и без последней – «Хромадны» – и вытягивал шею вперёд, как черепаха Тортила, жрущая целлофановый пакет. «Ну-у, чаво там», – говорил он. Лучше б «му-у», так ближе к биологии вида. Он был радиоэлектронщик и жвачное одновременно. А ещё он был мичманом. Наемным убийцей.

Он говорил «мыкросхэма» – и тут же засыпал наповал. Так мелко он не понимал. А командир группы общекорабельных систем – группман – всё проводил с ним занятия, всё проводил. Оглянулся – спит! Чем бы его? Журналом в кило по голове – раз!

– Ты что, спишь, что ли?!

– Я-та?...

– Ты-та...

– Не-е...

– Ах ты...

– Всё! Не могу! – группман сверкал глазами перед командиром БЧ-5 и сочно тянул при этом носом. – Хоть режьте, не могу я проводить с ним занятия.

– Ну как это?

– А так! Не могу.

– Значит, не так учишь! Неправильно. Методически неверно. Вот тебе «Волгу» ГАЗ-24 дай за него – наверное, тогда бы выучил. И потом он жалуется, что вы его за человека не считаете. Оскорбляете его человеческое достоинство. Ну, это вообще... методически неверно.

– Ме-то-ди-чес-ки?! – группман заикался не от рожденья, не с детства заикался. Дальше он шипел носом, как кипяtilьник перед взрывом. Одним носом. Ртом уже больше не мог.

– Да. Методически. Вот давайте его сюда, я вам покажу, как проводится занятие.

Целый час бэчепятый бился-бился и разбился, как яйца об дверь, и тогда в центральном заорало:

– Идиот, сука, идиот! Ну, твёрдый! Ну, чалдон! Чайник! Ну, воц-ще! Дерево! Дуремар! Ты что ж, думаешь!

Петя моргал и смотрел в глаза.

– Презерватив всмятку, если лодку набить таким деревом, как ты, она не утонет?! А?! Ну, страна дураков! Поле чудес! Ведро!!! Не женским местом тебя родило!!! Родине нужны герои, а... родит дураков! – бэчепятый плеснул руками, как доярка, и повернулся к группману. – Ведро даю. Спирта. Ректификата. Чтоб продал его. – Он ткнул Петю в грудь: – Продать! За неделю. Я в море ухожу. Чтоб я пришёл и было продано! Куда хочешь! Кому хочешь! Как хочешь! Продать дерево. Хоть кубометрами. Вон!!!

До Петинной щекастой рожи долетели его теплые брызги.

– Вон!!! На корабль с настоящего момента не пускать! Ни ногой. Стрелять, если полезет. Прoberётся – стрелять! Была б лицензия на отстрел кабана – сам бы уложил! Уйди, убью!!! – (Слюни – просто кипяток.) – Ну, сука, ну, сука, ну, сука... – бэчепятый кончался по затухающей, в конце он опять отыскал глазами группмана: – Ну я – старый дурак, а твои глаза где были, когда его на корабль брали? Чего хлопаешь? Откуда его вообще откопали? Это ж мамонт. Ископаемое. Сука, жираф! Канавы ему рыть! Воду носить! Дерьмо копать! Но к матчасти его нельзя допускать! Поймите вы! Нельзя! Это ж камикадзе!...

– Я же докладывал... – зашевелился группман.

– «Я же – я жо»... жопа, докладывал он...

Петю сразу не продали. Некогда было. В автономку собирались. Но в автономку его не взяли. Костями легли, а не взяли.

– Петя, ты чего не в море?

– Та вот... в отпуск выгнали...

Он ждал на пирсе, как верный пёс. Деньги у него кончились. После автономки наклевывался Северодвинск. Постановка в завод с потерей в зарплате. С корабля бежали, как от нищеты. Группман сам подошёл к командиру:

– Товарищ командир, отпустите Громадного.

– Шиш ему. Чтоб здесь остался и деньги греб? Вот ему! Пусть пойдёт. Подрастратится. Вот ему ... а не деньги!

– Товарищ командир! Это единственная возможность! По-другому от него не избавиться. Хотите, я на колени встану?!

Группман встал:

– Товарищ командир! Я сам всё буду делать! Замечаний в группе вообще не будет!

– А-а... чёрт...

В центральный группман вошёл с просветлённым лицом. Петя ждал его, как корова автопоилку. Даже встал и повёл ушами.

– Три дня даю. – сказал ему группман, – три дня. Ищи себе место. Командир дал добро.

Через три дня группмана нашёл однокашник;

– Слушай, у тебя есть такой Громадный?

Группман облегченно вздохнул, но тут же спохватился. Осторожный, как старик из моря, Хемингуэя. Забирает. Так клюет только большая рыба.

– Ну, нет! – возмутился группман для видимости. – Все разбегаются. Единственный мужик нормальный. Специалист. Не курит, не пьёт, на службу не опаздывает. Нет, нет... – и прислушался, не сильно ли? Да нет, вроде нормально...

Петю встречали:

– Петя, ты, говорят, от нас уходишь?

– А чаво я в этом Северодвинске не видел? Чаво я там забыл? За человека не считают!

Скоро они встретились: группман и однокашник.

– Ну, Андрюха, вот это ты дал! Вот это подложил! Ну, спасибо! Куда я его теперь дену?

– А ты его продай кому-нибудь. Я как купил – в мешке, так и продал.

– Ну да. Я его теперь за вагон не продам. Все уже знают: «не курит, не пьёт, на службу не опаздывает»...

М-да... теперь продать человека трудно. Это раньше можно было продать: на базар – и всё. Золотое было время.

Бомжи

(собрание офицеров, не имеющих жилья; в конспективном изложении)

Офицеры, не имеющие жилья в России, собраны в актовом зале для совершения акта. Входит адмирал. Подаётся команда:

– Товарищи офицеры!

Возникает звук встающих стульев.

Адмирал:

– Товарищи офицеры. (Звук садящихся стульев.)

Затем следует адмиральское оглядывание зала (оно у адмирала такое, будто перед ним Куликово поле), потом:

– Вы! (Куда-то вглубь, может быть, поля.) Вы! Вот вы! Да... да, вы! Нет, не вы! Вы сядьте! А вот вы! Да, именно вы, рыжий, встаньте! Почему в таком виде... прибываете на совещание?... Не-на-до на себя смотреть так, будто вы только что себя увидели. Почему не стрижен? Что? А где ваши медали? Что вы смотрите себе на грудь? Я вас спрашиваю, почему у вас одна медаль? Где остальные? Это с какого экипажа? Безобразие! Где ваши начальники?... Это

ваш офицер? а? Вы что, не узнаете своего офицера?... Что? Допштатник? Ну и что, что допштатник? Он что, не офицер?... Или его некому привести в чувство?... Разберитесь... Потом мне доклад... Потом доложите, я сказал... И по каждому человеку... пофамильно... Ну, это отдельный разговор... Я вижу, вы не понимаете... После роспуска строя... ко мне... Я вам объясню, если вы не понимаете. Так! Товарищи! Для чего мы, в сущности, вас собрали? Да! Что у нас складывается с квартирами... Вопрос сложный... положение непростое... недопоставки... трубы... сложная обстановка... Нам недодано (много-много цифр) метров квадратных... Но! Мы – офицеры! (Едрёна вошь!) Все знали, на что шли! (Маму пополам!...) Тяготы и лишения! (Ы-ы!) Стойко переносить! (Ы-ых!) И чтоб ваши жены больше не ходили! (М-да...) Тут не детский сад... Так! С квартирами всё ясно! Квартир нет и не будет... в ближайшее время... Но!... Списки очередности... Всем проверить фамилии своих офицеров... Чтоб... Никто не забыт! Кроме квартир ко мне вопросы есть? Нет? Так, все свободны. Командование прошу задержаться.

– Товарищи офицеры!

Звук встающих стульев.

Свинья!

Утро. Сейчас наш командир начнет делить те яйца, которые мы снесли за ночь.

Вчера было увольнение. Отличился Попов. За ним пьяный дебош и бегство от дежурного по училищу по кустам шиповника.

– Разрешите войти? Курсант Попов...

Во рту лошади ночевали, в глазах – слизь, рожа опухла так, будто ею молотили по ступенькам. Безнадёжно болен. Это не замаскировать.

Попов волнуется, то есть находится в том состоянии, которое курсанты называют «не наложить бы». Он виноват, виноват, осознал...

– Попов!!!

– И-я-я!

– Вы пили?

Вопрос кажется Попову до того нелепым – по роже же видно, – что он хихикает, кашляет и говорит неожиданно: «Не пил».

От этого дикого ответа он ещё раз хихикает и замолкает, с беспокойством ожидая.

– Нехорошо, Попов!

И тут вместо мата, вместо обычного «к херам из списков» Попов выслушивает повесть о том, что вредно пить, как потом приходишь домой и жена не разговаривает, дети шарахаются и вообще, вообще...

Командир внезапно вдохновляется и, заломив руки своему воображению, говорит долго, ярко, красочно, сочно. Картины, истинные картины встают перед Поповым. Он смотрит удивленно, а затем и влюбленно.

Души. Души командира и подчиненного взлетают и парят, парят... воедино...

И звучат, звучат... вместе...

Они готовы слиться – сливаются. Как два желтка.

Оба растроганы.

– Попов... Попов... – звучит командир.
Слёзы... Они готовы пролиться (и затечь в яловые ботинки).
Проливаются...
– Попов... Попов...
Горло... его перехватывает.
Да. Кончилось. Необычно, непривычно. М-да.
Попов чувствует себя обновленным. Ему как-то хорошо. Пьянит как-то.
Ему даже кажется, что за пережитое, за ожидание он достоин поощрения, награды.
– А в увольнение можно? – повернулся язык у Попова, к удивлению самого Попова.
– Можно, – вдруг кивает командир, – скажите старшине.
Все удивляются. Попов не чувствует под собой ног. А ночью дебош, и дежурный по училищу, и кусты...
Строй замер. Строй щурится. По нему бродит солнце, закатав штаны, как сказал бы настоящий поэт.
Командир, покрытый злыми оспинами, проходит вдоль. На траверсе Попова он останавливается и буравит его двумя кинжалами.
Попов смотрит перед собой: подбородок высоко и прямо, плечи развернуты, грудь приподнята, живот подобран, тело напряжено и слегка вперёд. Пятки вместе – носки врозь. Чуть-чуть приподняться на носки... замереть!
– Попов!
Истошно, по уставу:
– И-я-я!!!
– Вы свинья-я- я!!!
Занавес.
Из-под занавеса сдавленное:
– Сучёныш-ш-ш!!!

Чайник

При уходе и переводе с флота принято воровать что-нибудь на память: какой-нибудь кусочек сувенирного краеугольного кирпича могучего исполина, именуемого – «флот», кусочек чудовища...

Командир Криволапов – а такие ещё встречаются среди командиров – готовился к переводу со своего ракетного подводного крейсера, то есть: лихорадочно воровал.

Он уже украл себе домой: холодильник «Морозко» с отвалившейся дверцей, лучшее украшение радиосвалки проигрыватель «Аккорд», бухточку провода и простынь дерматинового покрытия, которым в доме всегда найдётся что покрыть.

Он утащил с корабля, потя от восторга, банки с воблой, компоты, сухофрукты, доски, шкафчики, нержавеющие трубы и наших дырявых тапочек двадцать пар.

Детские бульканья с пузырями вызывало в нём желание подчиненных помочь ему в этом ночном грабеже.

– Стой! – говорил он командиру боевой части, встречая его недалеко от лодки на снегу.

– Что-то я хотел тебе поручить, что-то хотел... какое-то задание... – мучился он.

– У меня уже есть задание, – старался командир БЧ, – списываю прибор...

– При чём здесь прибор? – досадливо махал рукой командир, как Диоген, которому мешали изобретать формулу счастья.

– Да, – вспоминал он наконец, – отправляйся сейчас на корабль и оторви мне там две железные полоски. Вот такие!

– Угольники? – участвовал командир БЧ в командирских исканиях.

– И угольники тоже, а это – вот такие! – и в воздухе рисовался чертёж очередной жертвы клептомании.

Прости, природа: когда ты создавала некоторых капитанов первого ранга, командиров лодок, ты вложила в них столько почек, что, распустись они все, – и можно было бы легко заблудиться в листве командирской души.

Пока мы отвлеклись, он увидел чайник. Тот стоял на палубе дебаркадера, перед дверью: крупный, никелированный, великолепный экземпляр. Гордость племени чайников: носик, крышка, зеркальные бока, гнездо под розетку – три литра внутрь, и можно ставить хоть на олимпийский огонь.

– Так! – сказал командир Криволапов, чувствуя желание немедленно обнять зазевавшийся чайник.

– Эй, кто там?! – крикнул он, обернувшись.

На этот зов откуда-то вылез матрос.

– Так, – сказал командир Криволапов, – возьми его – и ко мне в каюту!

Матрос подхватил беспризорника, а командир помчался дальше, навстречу восходящим лучам восходящей военной славы.

– Стой! – раздалось из потустороннего мира. – Куда!

Грязно-серая дверь дебаркадера открылась, и оттуда вылез грязно-серый работяга. Мать природа одела его в ватник, сапоги и кроличью шапку и, прежде чем пихнуть его в спину, подарила ему вечную щетину, мешки под глаза и жажду.

– Куда, говорю! – схватил он проходящий мимо чайник.

– Товарищ командир! – заверещал матрос. – Я, как вы сказали, так и сделал! Товарищ командир!

Командир Криволапов медленно повернулся спиной к серебристым лучам восходящей военной славы; на лбу его обозначились ребра жесткости, и лицо начало отчаянно принимать командирское решение.

– Ах, енто ты, значить? – прогундосил работяга...

Опустим занавес над этой душераздирающей картиной; занавес тёмный, с кистями, как цыганская шаль. Пусть наступит ночь и всё затопит. Не будем рассказывать, как работяга, держа одной рукой чайник, а другой – командира за пуговицу, докладывал ему, в идиоматических выражениях, одну библейскую притчу.

Работяга был огромный-огромный, а командир такой маленький, мокренький, в шапке с ручкой...

За что, природа?

Как становятся идиотами

Шла у нас приёмопередача. Не понимаете? Ну, передавали нам корабль: лодку мы принимали от экипажа Долгушина. Передача была срочная: мы на этой лодке через неделю в автономку должны были идти.

И вот, чтоб мы быстренько, без выгибонов приняли корабль, посадили нас – оба экипажа – на борт и отожили лодку подальше; встали там на якорь и начали приёмопередачу.

Поскольку всем хотелось домой, то приняли мы её – как и намечалось, без кривлянья: часа за четыре.

Командир наш очень торопился в базу, чтоб к «ночному колпаку» успеть. «Ночной колпак» – это литровый поток на ночь: командир у нас пил только в базе.

Тронулись мы в базу, а нас не пускают – не даёт «таможня» «добро».

В 18 часов добро не дали, и в 20 – не дали, и в 21 – не дали: буксиров нет.

В 22 часа командир издёргался до того, что решил идти в базу самостоятельно: без буксиров.

Только мы пошли, как посты наблюдения и связи – эти враги рода человеческого – начали стучать о нас наверх.

Наверху всполошились и заорали:

– Восемьсот пятьдесят пятый бортовой! Куда вы движетесь?

«Куда, куда»... в дунькину кикку, «куда». В базу движемся, ядрёна мама!

Командир шипел радистам:

– Молчите! Не отвечайте, потом разберёмся!

Ну и ладно. Идём мы сами, идём – и проходим в базу.

А оперативный, затаив дыхание, за нами наблюдает; интересно ему: как же эти придурки без буксиров швартоваться будут.

– Ничего, – говорил командир на мостике, – ошвартуемся как-нибудь...

И начали мы швартоваться «как-нибудь» – на одном междометии, то есть на одном своём дизеле: парусность у лодки приличная; дизель молотит, не справляется; лодку сносит; командир непрерывно курит и наблюдает, как нас несёт на дизелюхи: их там три дизельных лодки с левого борта у пирса стояло; правая часть пирса голая, а с левой – три дизелюхи торчат, и нас ветром на них тащит, а мы упираемся – ножонки растопырили – ничего не выходит.

На дизелюхах все это уже заметили: повылезали все наверх и интересуются: когда мы им врежем? Эти дизелюхи через неделю тоже в автономку собирались. Ужас! Сейчас кокнемся! Сто метров остаётся... пятьдесят... двадцать пять... а нас всё несёт и несёт...

Командир в бабьём предродовом поту руки ломает и причитает:

– Ну, всё... всё... всё... с командиров снимут... из партии выкинут... академия накрылась... медным тазом... под суд отдадут... и в лагерь, пионервожатым... на лесоповал... в полосатом купальнике...

И тут лодка замирает на месте... зависает... до дизелюх – метров двенадцать...

– Назад, – бормочет командир в безумье своём, – назад, давай, милая... давай... по-тихому... давай, родная... ну... милая, ну... давай...

И лодка почему-то останавливается и сантиметр за сантиметром каким-то чудом разворачивается, тащится, сначала вперёд, а потом она

останавливается, её сносит и прижимает к пирсу. Всё! Прилипли!

– Фу! – говорит командир, утирая пот. – Фу ты... ну ты, проклять какая... горло перехватило... мешком её задави... Фу-у-у-у... Вот так и становятся идиотами... Отпустило... даже не знаю... Никак не отдышаться... Ну, я вообще... чуть не напустил под себя... керосину... да-а-а-а... Пойду... приму на грудь. Что-то сердце раззвонилось...

Пошёл командир наш и принял на грудь. Одним литровым глотком.

Пять раз подряд

Северный ветер – аквилон – развернул на шинели сзади большие срамные губы и ворвался туда, угрожая предстательной железе. Не ходите в патруль, и у вас будет всё в полном порядке с предстательной железой: она доживет до глубокой старости и помрет своей собственной смертью.

Лейтенант Сидоров Вова справился с ветром в хвостовой своей части, вернул полы шинели на место и, обернув ими себе ноги, продолжил путь во мгле.

Снежинки, твёрдые, как алмазная крошка, отскакивали от задубевшего лица и противно скрипели на шее.

Лейтенант Вова шёл домой из патруля. Два часа ночи. Его патрульные, отпущенные ночевать в казарму, уже минут десять месят снег в нужном направлении, мечтая о вонючей подушке, а вот Вову ждёт постель, супружеское ложе.

Всё-таки хорошо стоять в патруле: хоть в два часа ночи, а жена под боком. Вова улыбнулся поземке и поправил тяжёлую португую. В ней лежал «пистоль». Она оттянула весь бок уже сегодня, то ли будет завтра.

Вот именно – завтра. Флотское завтра. Как много оно может с собой принести, это наше «завтра». Его караулит сомнительный друг подводника – случай, этот верный пёс лентяйки Фортуны.

«Человек – электрохимическая система. Ей нужны падения напряжения. Испытав эти падения, человек вырабатывает устойчивые состояния для своих атомов. Эти состояния он передаст потомству».

Вот какие мысли пришли к Вовае посреди полярной ночи; Вова с малолетства был философом.

Но философов не любит Фортуна: кому же понравится, если мешаются под ногами и всё время подглядывают.

Лучшие, самые крупные куски напряжений Фортуна бережет для философов.

Вова вошёл в пятиэтажную железобетонную времянку, поднялся на четвёртый этаж и, осторожно открыв дверь, вдохнул сразу двести пятьдесят органических составляющих, которые принято считать «теплом домашнего очага».

Стараясь не загреметь, он зажег свет в микроскопической передней и, не раздеваясь, вошёл в комнатку, чтоб обнаружить и поцеловать теплую жену.

Глаза вскоре привыкли к темноте, но на вожделённой подушке они увидели сразу две головы. Женщины тоже не любят философов. Философов никто не любит. Разглагольствования хороши только в начале той затяжной драки, которую называют супружеством.

Вова остолбенел. Рухни сейчас пятиэтажное бунгало, он и не заметил бы: внутренний грохот оглушил Вову; упали высокие мечты – пять тонн хрусталя с высоты километра.

Вова чисто машинально, слепыми движениями вынул свой верный «пистоль» и, как говорили в древности, «сильно посыпал порошу на полку».

Он поймал в прорезь прицела подушку, зажмурился и нажал на курок. Оглохший заранее Вова ничего не услышал; «пистоль» пулял и пулял, как во сне, в скачущую, издыхающую, издающую ржанье кровать... А потом Вова тихо вышел и пошёл... в никуда...

В комендатуре, под стеклом, вместе с настольной лампой, физиономией наружу сидел старый капитан, дежурный по гарнизону.

Военная физиономия всегда решалась в широком ракурсе: от некоторой неподвижной опрокинутости или свежайшей отшлёпанности до суровой решительности лба в полпальца величиной.

У дежурного капитана всё было в порядке со лбом: надбровные дуги образовывали такие надолбы, что не страшна никакая лобовая атака.

Капитан впадал в коматозное состояние, обычное для дежурной службы и для двух часов ночи.

Чтоб голова при падении не раздробила стол, он подложил под неё стопку засаленных дежурных журналов; устроившись сверху, он засопел, разметав по обложкам влажные губы и оставив бодрствовать лишь одну сторожевую точку в спинном мозгу.

Через двадцать минут точка затеребила остальной организм: кто-то вошёл и сел. Капитан, видимо, почувствовал спиной инфракрасное излучение, потому что он моментально поднял голову и открыл глаза. Через тридцать секунд он проснулся, а ещё через двадцать к нему вернулось сознание: перед ним сидел Вова, а перед Вовой лежал «пистоль».

– Я убил человека... и даже двух человек... вдребезги, – сказал Вова, простой как правда, и кивнул на «пистоль».

– Что-о-о?! – капитан взвился вверх и влёт ткнул увязавшийся за ним табурет.

Через секунду он уже рысью исступленно бежал по адресу: дом 55, квартира 90 – и на бегу рисовал себе одну картину за другой. И что самое трагичное, хреновое, – что всё это на его дежурстве, чёрт!

От расстройства капитан птичкой взлетел на четвёртый.

Дверь была открыта. Капитан осторожно вошёл: не наступить бы на трупы.

В комнате стоял запах расстрелянного унитаза, целой стайей летали меркаптаны⁶ и, летая, поражали обоняние, зрение и воображение.

От волнения капитан не зажёл свет и шарил впотьмах. В комнате царил беспорядок. В подушке (наощупь) сидело пять пуль. Трупы исчезли. Посреди комнаты, вытянувшись, лежали две огромные лужи. Они тянулись от кровати до порога и были затоптаны босыми ногами. Кровь!

Капитан опустился на четвереньки, торопливо макнул палец в лужу и осторожно поднёс его к лицу: это была не кровь; меркаптаны взлетали именно отсюда.

⁶ Меркаптаны – химические соединения, которые сообщают фекалиям их неповторимый запах.

Счастливым капитан легко засмеялся, как в чирикающем детстве, поднялся на ноги и вытер палец об обои. Вова промахнулся. Пять раз подряд...

Командующий, когда ему обо всем доложили, сначала испытал сильнейший удар под дых, потом, придя в себя, он тут же объявил Вова десять суток ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Чуть позже командующий подумал, и, успокоившись, он приказал каждый день водить Вову на стрельбище, чтоб научился стрелять.

Вот такое у нас «флотское завтра». Кто же на истинном флоте в нём уверен? Разве что тот сосущий вкусную грудь лентяйки Фортуны. Но на флоте ли он? И из нашей ли он песочницы?...

Стас

Стас меня утомил. Вся плешь проел, пока шли. Есть три темы, которые будут волновать старых каптри, пока существует подводный флот: сволочи-начальники и личное здоровье, перевод и демобилизация. Причём все темы плавно перетекают одна в другую, пока дело не дойдёт до демобилизации, и дальше – сплошные розовые слюни.

– Если я опять пролечу с переводом, как фанера над Парижем, тогда рапорт и дембель, – слышится у уха Стас.

Ходит он шаркающей походкой, и голос у него гнусный-прегнусный; прикосновение тех звуков; которые он издаёт, для окружающих барабанных перепонок губительно. Его как-то заслали читать лекции по гражданской обороне директорам заводов. В первом же перерыве директора собрались в кучу, выбрали старшего, и тот, рыдая в голос, помчался и добился у начальства, чтоб Стаса убрали.

Сколько помню Стаса, он всё время находится в состоянии перевода, то есть он всё время ходит, канючит и у всех спрашивает: не слышал ли кто-нибудь о том, что он куда-нибудь переводится. Ему нужна должность, Ленинград и оклад. Ни много ни мало! В отделе кадров ему сказали: «За Уралом всё ваше», – на что он заявил, что «за Уралом для офицера земли нет».

Он был старше меня лет на десять и в подводниках просидел уже лет двадцать. Представляете, что это был за ужас! Эта рептилия мезозойской эры, уцелевшая под ногами у мамонтов, надоела своим вечным плачем не только мне – она надоела всем своим родственникам, себе и природе. Боже, сохрани нас от бессмертия!

– Ты понимаешь, в чём, собственно говоря, дело? – гундосил Стас, а я кивал и кивал.

Шли мы после обеда на построение, и он портил мне то, что с таким превеликим трудом растворило мой желудочный сок. Витамины мои находились под угрозой исчезновения. Стас своей рожей напоминает лошадь. «Ах ты, – думал я, предварительно выделив ему полуха, чтоб кивать впопад, – чучело галапагосское! Надо же было нам встретиться!» В общении со Стасом должно быть одно железное правило: увидел его – беги. Стас не может без слушателя. Обязательно вцепится. Хватка у него железная: вцепится и повиснет, и вместе с ним повиснут на тебе все его заботы, мысли, горести, неудачи, переводы, и через пять минут ты уже ощущаешь, как

тяжело тебе идти и жить. После автономки Стаса лучше не встречать: тогда он бывает в тридцать раз разговорчивей.

– А может, мне написать в ЦК?... ещё раз, а? Я же национальный кадр! «Господу Богу напиши! Во вселенский совет. Детеныш диплодока!» – чуть не подумал я вслух, но спохватился и сказал только:

– Конечно, напиши.

Стас, по-моему, не писал о своём переводе только Саманте Смит, остальные уже в курсе. Например, он уже давно не даёт безмятежно жить Совету Национальностей. Спокойно слушать Стаса невозможно, всё тянет дать ему в ухо. Когда он стоял вместе с лодкой в ремонте, то тамошний флагманский даже приставил к нему специального лейтенанта, чтобы тот вместо него, флагманского, слушал Стаса. Обалдевший лейтенант ходил за ним, как Эккерман за Гете, и записывал его мысли в блокнот.

– ...и запишите! – талдычил Стас, и лейтенант, потеряв всякую сопротивляемость, записывал.

Настоящее имя Стаса – Генрих-Мария-Леонардо-сын-Леонардо. Матросы называют его Машкин Леопардо, а офицеры – почему-то Стасом. Он из прибалтийских немцев или что-то вроде этого, но, по-моему, на его генеалогическое дерево влезло несколько пьяных испанских конкистадоров, и влезли они не одни – прихватили ещё с собой и итальянских бандитов. Стаса никто не любит. Однажды он одолжил кому-то прибор, и его обманули, не вернули. (Офицеру вообще верить нельзя. Способный офицер способен на все). И вот лодка собирается в завод, идёт приготовление корабля «к бою и походу», на пирсе появляется Стас, он явился за прибором; приготовление, «швартовные команды наверх!», беготня, последние ящики с продовольствием, что-то ещё не списано, акты летают по воздуху, аттестаты, все снуют туда-сюда – появляется Стас и говорит в «каштан»:

– Где мой прибор?

– Что такое? – слышится из «каштана». – Почему «каштан» верхнего вахтенного на месте? Связисты! До каких пор?! Немедленно убрать «каштан»!

– Отдайте прибор! – не отстаёт Стас, но его уже никто не слышит, команды так и сыпятся:

– От-дать! Концы!

– Перестаньте отдавать концы! Отдайте прибор! – не унимается Стас.

– Стас! – кричит с рубки командир. – Двух автоматчиков наверх! Отогнать его короткими очередями!

Свой собственный экипаж Стаса единодушно ненавидит. Стас – зануда, он способен кого хочешь достать. У них в экипаже давно существует группа, которая поклялась донимать Стаса. В автономке кто-то из этой банды посоветовал Стасу сухую мойку головы – Стаса с рожденья одолевает перхоть, и волосы, облезая, обнаруживают под собой ребристый остов. И вот, чтобы они не облезали и не обнаруживали, нужно посыпать их – волосы – мукой и потом (чтоб вы думали?) вычесывать их гребешком. Французское патентованное средство.

Стас сел на затылок интенданту и не слез с него, пока не добыл муку. Вычесыванием он занимался на ночной вахте перед зеркалом, что висит над умывальником. Мука летела в умывальник, где-то там, далеко в

трубопроводе, превращалась в тесто и забивала трубу. Прибегали трюмные, отворачивали трубу, пробивали-продували и ругали Стаса площадно, как водопроводчики не ругают ни одно живое существо. После всех этих скандалов Стас стал вычесывать свою мукомольную голову в огромную банку из-под сухарей. Садился, обхватив её руками и ногами, и, опустив в неё башку, чесал всё это часа четыре. Через месяц такой интеллектуальной работы у него созрела одна-единственная мысль: помыть голову. Он взял её и помыл, и получилось тесто, из которого трудно было достать даже оставшиеся волосы. С такой головой среди ночи Стас явился в безмятежно хрюмивший в глубинах Атлантики центральный пост и, удивив его насмерть, потребовал доктора. Голову побрили, но группа по уничтожению Стаса не успокоилась и, когда всё улеглось, предложила Стасу японское патентованное средство: чеснок, настоенный на спирте. Всё это льется опять на башку, и волосы растут как бешеные.

Стас развёл чеснок в трёхлитровой банке со спиртом и стал его лить на себя кружками. Лечение должно было продлиться целый месяц. Соседи по каюте нюхали Стаса только два дня, а потом выбросили его в проход между каютами.

– Напишу-ка я в ЦК... всё-таки... – сказал Стас, подводя меня к моему пирсу.

Наконец-то я от него избавлюсь.

– Давай, Стас! – сказал я ему с чувством, чувствуя близкое своё освобождение.

Стасу сюда, а нам, пardon, отсюда. Слава Богу!

– Пишите! – сказал я ему с ещё большим чувством. – Рыдайте, и вас услышат. Бейте себя наотмашь коленом по лицу! Побольше эмоций. Взывай к сердцу и к разуму. Кричи в каждой строчке: «Я! Так! Больше Не! Могу!» Где правда? Где справедливость? Да что ж это такое, санта ляпинда дельмоно моэрто, что в переводе на русский означает: сколько ж можно! Служите на «железе» сами! Стойте по пятьдесят лет в строю! Переведите меня куда хотите! Состарился, отупел, исподличался, дурно пахну! Барабанные перепонки воспринимают только барабаны, отвыкли от флейты напрочь! Дети родные не узнают после автономки папу, кидают в меня кирпичами! Семья – ячейка общества – рушится: жена который год хронически беременна моим переводом, не может мне простить моего национального происхождения, грызет ежедневно мои тонкие кишки, неприлично урча. Кричи: «Дедушка в Америке завещал завод ядохимикатов!». Звонили, скажи, предлагают вступить в права наследства. Кричи: «Кругом заговор! Молчания! Кругом враги!». Угрожай, шантажируй, юродствуй, ерничай, трясись исподним. Все средства хороши, потому что цель – святая.

– Как ты хорошо сказал! – обнял меня Стас, и я почувствовал, что где-то переборщил. – Как ты хорошо сказал! Я же чувствую, чувствую, а сказать не могу. Я же никогда не мог так сказать! Я же национальный кадр! Я не могу так по-русски, как ты! Слушай! – осенило его. – Напиши для меня всё это! Прямо сейчас! Я выучу наизусть! Для ЦК!

И он подхватил меня своей железной рукой и поволок за собой.

– Как ты хорошо сказал! – орал он по дороге.

– Точно! – орал он. – Дедушка! В Америке! Ядохимикаты! Лахудры! Пускай проверяют!

Вечером он сошёл с ума.

ВРИО

(неприличный рассказ)

Я стоял перед зданием санпропускника, из каждого окна которого выглядывала какашка, и думал: «И чего я такой несчастный? Не везёт. Стоит только флагманскому химику намылиться в отпуск, оставив меня за себя в качестве тела, как на следующий день сваливаются комиссии, проверки, инспекции. И хватают меня бедного, визжащего за ножонки тонкие и кривые, и бьют молекулярными мозгами об асфальт. Вот, пожалуйста, санпропускники завтра проверяет командующий, а сегодня – конечно же – замкомандира дивизии плюс начпо. Стекол нет, рам нет, электричества нет, батарей нет! Одни глазницы пустые, как в Сталинградском сражении, и на каждом этаже наложено, потому что когда возводили это удивительное строение для окружающего северного ансамбля, забыли в нём сделать туалет. И над всем этим приютом на крыше облупившейся – лозунг «Слава КПСС». Каждая буква – метра на три».

Весь в тоске собачьей, я повернулся и увидел знакомого особиста, рисующего мимо штрихпунктирную по направлению к штабу. За такую прыгающую походку его называют Джоном Сильвером.

– Привет, – сказал я со скуки, – хочешь, антисоветский лозунг покажу?

Джон застыл с поднятой ножкой. Эти ребята с детства начисто лишены чувства юмора. Осторожней с ними вообще-то надо, но мне-то, честно говоря, плевать.

– Ногу-то опусти, – сказал я ему, – смотри, дарю бесплатно; видишь, написано «Слава КПСС», а под ней какая кака? А? Это ж прекрасный фотомонтаж для Дикого Запада.

– А-а... – сказал он, – вот ты о чём. Ладно, скажу ребятам.

«Хоть кого-то укусили, – подумал я ему в спину, – теперь лозунг или снимут, или покрасят».

Между прочим, я кроме обязанностей врио флагманского химика ещё и старшим в экипаже числюсь, и дежурным по дивизии я только вчера отстоял. За это время отопление в казарме сделал. Пришёл в тыл к этому прохвосту с батареями, сел на диван и сказал:

– Ну-у?... И когда же я буду целовать ваше длинное тело?

– Вы по какому вопросу, товарищ? – спросила меня эта сволочь красная.

Я неторопливо отпил у него из графина, взял со стола овсяное печенье, зажевал и потом, глядя ему прямо в очи, достал из своего баула пустую трёхлитровую банку и поставил её ему на стол.

– Видишь? – показал я ему на банку.

Он не видел, тогда я объяснил:

– Пока у меня в казарме будет пять градусов жары, я у тебя здесь на диване жить буду и никуда не выйду, даже по нужде. А в эту банку я гадить буду.

– А ну-ка! – сказал он.

– Сядь! – сказал я ему. – А то начну гадить сейчас и мимо банки.

В тот же день батареи стояли. А вчера на дежурстве меня искали, чтоб наказать. Правда, уже по другому поводу. Схватили перед самой сменой.

– Ты где шхерился?! – набросился на меня начальник штаба. – Тебя командующий с вахты снял.

– Так я же уже отстоял!

– Неважно! Беги в зону.

– Так я только оттуда!

– Ты слушай, что тебе говорят! Беги в зону. Там где-то третьи сутки лежит коробка.

– Какая коробка?

– Не знаю, картонная. Найдёшь коробку и скажешь мне её название. Из-под чего эта коробка. Понял? Я на тебя приказ о наказании струячу, и мне в нём надо эту коробку обозначить. Давай, рысью.

– А где она лежит?

– А я откуда знаю?

– Так это из-за коробки меня сняли?

– Ну да, давай в темпе. Позвонишь оттуда.

И я сдуру отправился в зону. Обшарил её всю, ни черта не нашёл, позвонил и сказал:

– Пишите: коробка из-под банок сгущёнки.

На следующий день меня чуть не загрызли. Во-первых, коробка как лежала, так и лежит, и, во-вторых, она не из-под банок сгущёнки, а из-под компота.

Ну что ж, нужно подниматься на эти проклятые санпропускники. Пошли попку готовить. Сейчас заявятся и разнесут её в клочья. На командующего лучше не нарываться. Он меня уже щупал однажды на камбузе за влажное вымя. Я там был, конечно же, в качестве дежурного по дивизии, а дежурным по камбузу стоял молодой лейтенант.

Камбуз – это тот кингстон, в который с диким визгом вылетает многолетний безупречный офицер. Здесь можно очень крупно пасть в глазах начальства.

Дежурным по камбузу, по инструкции, может быть не ниже, чем капитан-лейтенант. Но наша дикая дивизия давно обезлюдела, поэтому я стою дежурным по дивизии, а лейтенант – по камбузу.

Вот только командующему не объяснишь, что у нас людей в наряды не хватает. Он как разинет свою у-образную глотку.

– Пулей, – сказал я лейтенанту, – радостно бляя! Даю две минуты, чтоб сделал из себя капитан-лейтенанта.

Лейтенант замешкался. Он меня, видно, не понял.

– Объясняю медленно, – сказал я, – для круглых интеллигентов и золотых медалистов. Берешь себя и ещё одного лейтенанта. Раздеваешь его. То есть звездочки с него снимаешь и из двух по две делаешь одного по четыре. Понял? – (Дошло.) – Ну, слава Богу. В темпе вальса! Рысью!

Через пять минут у меня лейтенант превратился в капитан-лейтенанта. Но командующий его всё равно прихватил. За расстояние между звездочками.

Ну что ж! Посмотрим, за что нас сегодня будут драть по срамным местам. Между прочим, у меня обостренное чувство долго поротой жопы. Начнем с пятого этажа.

Дверь, за которую я легкомысленно потянул, рухнула на меня вместе с трёхметровым косяком, возмущив многолетнюю пыль, но моя природная реакция была на месте, и я уцелел. Под ногами битое стекло. Здесь не жили лет триста. Загаженные шкафы сгрудились печально вокруг кучи сношенных ботинок, ветоши. Всё это покрыто бархатной плесенью. В оконные проемы врываются лохмотья полиэтилена, рождая шелест. В углу средневековым факелом, видимо, долго-долго горел рубильник. А потолок какая-то сволочь выкрасила в шаровую краску. От мороза краска лопнула и теперь отваливается целыми рулонами. В середине пирамида возведена не руками человеческими, а другим плодоносным местом. Всё это уже давно перешло в перегонной. Кусок лопаты я нашёл за дверью. Ну что ж! За работу. Не так уж всё и сумрачно вблизи. Нужно устранить хотя бы эти следы устного народного творчества, чтоб не возмутить глубинных процессов в недрах организма командующего. Может быть, он излишне брезглив.

Через двадцать минут я всё убрал. Мусор я выбросил. Там в углу есть заколоченная дверь на нехоженный трап. Туда все всё выбрасывают. Последней туда полетела лопата. Дверь я поставил на место и забил ногой. Так. До посещения замкомандира дивизии и начпо у вас ещё два часа тридцать минут. Успеем.

Ровно в 12.00 наверху послышалась какая-то возня. По-моему, замкомдив и начпо уже мечтают на меня посмотреть.

Замкомдив – старый матерщинник и клинический балбес – уставился на меня. Из-за него выглядывал начпо. Сейчас этот Тянитолкай что-нибудь изрыгнет в два голоса, что-нибудь поражающее своей новизной. Что-то не видно радости на их рожах. Ах, они уже побывали наверху.

– Как же здесь люди раздеваются?

Это начпо. Ну, он у нас с планеты Сириус недавно прилетел.

– Хымик! – начал замкомдив, и в течение следующих двадцати минут самым порядочным словом в мой адрес было слово «хуй».

Мне захотелось встать по стойке «смирно», сказать: «Есть! Так точно! Прошу разрешения!» – а потом расстегнуть штаны и помочиться прямо на «товарища капитана первого ранга» тугой струей, стряхнуть на него последние капли и сказать: «Есть, товарищ капитан первого ранга, есть! Все ваши замечания устраним!»; застегнуть штаны и добавить: «Ночевать здесь будем, а устраним» – и встать по стойке «смирно», едя глазами. Интересно, что б мне было? Наверное, ничего бы не было.

– Ночевать здесь будешь! Жить! Я тебя здесь поселю! Вы что, добиваетесь, кусок лохматины, чтоб нам навсегда сделали козью рожу?!

«Сын трахомной собаки, – подумал я, на него глядячи, – таких орлов, как ты, у нас до Пекина раком не переставить», – а вслух сказал:

– Товарищ капитан первого ранга, хорошо, что вы не пришли сюда два часа назад. Это я ещё убрал здесь немного, и сейчас здесь уже пейзаж по сравнению с тем, что здесь до этого было.

Всё-таки я люблю, когда начальство бьётся передо мной в истерике, выкидывая коленца и одновременно пытаюсь сформулировать стоящие передо мной задачи. Я люблю выключить звук и наблюдать человеческое лицо. На нём оживают все его активные центры. Они так и пульсируют, так и пульсируют. Ладно. Ночевать так ночевать. В сутках 24 часа. 25 не может сделать даже командующий Северным флотом.

Когда я вышел на улицу, я обернулся и посмотрел на «Славу КПСС». Её уже красили.

В кармане

Учитесь спать в кармане. Для того чтобы спать в кармане, нужно сидя привалиться к стенке и в распахнутый китель положить голову; через несколько минут голова упадёт ниже, нос зацепится за внутренний карман, а ещё через парочку вдохов он заурчит накопившимся, рассказывая ближайшей сисе, что он вообще по всему этому поводу думает...

Командир спал в кармане, как беспризорник. Из кармана виднелся полуоткрытый рот, и, куда-то внутрь изо рта потянувшись, удлинившись, лениво капало.

Жизнь подводника отличается особой полосатостью. Быстрая смена светотеней всегда утомляет, и подводник высыпается впрок. Пусть даже он спит пунктиром. Всё равно впрок. На долгие года. Даже если он спит на стуле. Даже если на кресле. Стул и кресло придуманы целиком для сна. Как хорошо на них спится...

Тело командира, причмокнув, застонало, повернулось, ощутило тревогу, выпало из кармана и – не проснулось; ноги упёрлись в прибор, голова, заскользив по засаленной спинке, успокоилась на подлокотнике кресла, шея жилисто натянулась, и руки обнялись...

Автономка не спеша разматывала свою нить. Центральный не спеша плыл, увязая в грезах; со всех сторон мерно шипело, свистело, гудело, отпотевало; что нужно – перегонялось, что не нужно – откачивалось.

Командир спал, пока ему не приснилось. То, что снится подводнику, нигде почему-то до сих пор не учтено. Он дёрнулся убиваемым бараном! Шток, на котором сидит командирское кресло, переломился сухим бамбуком, и прилипшее тело грохнулось головой в палубу, щёлкнув внизу зубами. Вскочивший командир был просто страшен.

– Ну, сука! – рубанул он воздух, азартно полуприсев. – Боевая тревога, мать её наизнанку! Ракетная атака! Сейчас мы им покажем... Сейчас...

Онемевший центральный застыл в рабочих позах. Лица, наконец, засветлели узнаванием.

– Товарищ командир, так это ж только кресло отломилось...

– Да?

– Да.

– Отставить, а то б мы им показали...

Командир, послонявшись и намучившись, согнал вахтенного офицера с нагретого места. Едва его тело коснулось сиденья, из глаз пропало пони-ма-ни-е; действительность пое-хала, а через мгновение он уже спал в кармане...

Папа

Корабельный изолятор. Здесь царствует огромный как скала наш подводный корабельный врач майор Демидов. Обычно его можно найти на кушетке, где он возлежит под звуки ужасающего храпа. Просыпается он только для того, чтоб кого-нибудь из нас излечить. Излечивает он так:

– Возь-ми там... от живота... белые таблетки.

Демидыч у нас волжанин и ужасно окает.

– Демидыч, так они ж все белые...

– А тебе не всё равно? Бери, что дают.

Когда у механика разболелись зубы, он приполз к Демидычу и взмолился:

– Папа (старые морские волки называют Демидова Папой)... Папа... не могу... Хоть все вырви. Болят. Аж в задницу отдаёт. Даже гемор-рой вываливается.

– Ну, довай...

Они выпили по стакану спирта, чтоб не трусить, и через пять минут Демидов выдернул ему зуб.

– Ну как? Полегчало? В задницу-то не отдаёт? – заботливо склонился он к меху. – Эх ты, при-ро-да... гемо-р-рой...

Механик осторожно ощупал челюсть.

– Папа... ты это... в задницу вроде не отдаёт... но ты это... ты ж мне не тот выдернул...

– Молчи, дурак, – обиделся Демидыч, – у тебя все гнилые. Сам говорил, рви подряд. В задницу, говорил, отдаёт. Сейчас не отдаёт? Ну вот...

Когда наш экипаж очутился вместе с лодкой в порядочном городе, перед спуском на берег старпом построил офицеров и мичманов.

– Товарищи, и последнее. Сейчас наш врач, майор Демидов, проведёт с вами последний летучий инструктаж по поведению в городе. Пожалуйста, Владимир Васильевич.

Демидов вышел перед строем и откашлялся:

– Во-о-избежание три-п-пера... или че-го похуже всем после этого дела помочить-ся и про-по-лос-кать сво-ё хозяйство в мор-гон-цов-ке...

Голос из строя:

– А где марганцовку брать?

– Дурак! – обиделся Папа. – У бабы спроси, есть у неё моргонцовка – иди, нет – значить, нечего тебе там делать...

– Ещё вопросы есть?...

Наутро к нему примчался первый и заскребся в дверь изолятора. Демидыч ещё спал.

– Демидыч! – снял он штаны. – Смотри, чего это у меня от твоей марганцовки все фиолетовое стало? А? Как считаешь, может, я уже намотал на винты? А? Демидыч...

Демидов глянул в разложенные перед ним предметы и повернулся на другой бок, сонно забормотав:

– Дурак... я же говорил, в мор-гон-цов-ку... в моргонцовку, а не в чернила... Слушаете... жопой... Я же говорил: вопросы есть? Один только вопрос и был: где моргонцовку брать, да и тот... дурацкий...

– Так кто ж знал, я её спрашиваю: где марганцовка, а она говорит: там. Кто же знал, что это чернила? Слышь, Папа, а чего теперь будет? А?

Отведавший фиолетовых чернил наклонился к Демидову, стараясь не упустить рекомендаций, но услышал только чмокание и бормотание, а через минуту в изоляторе полностью восстановился мощный, архиерейский храп Папы.

Полудурок

Вас надо взять за ноги и шлёпнуть об асфальт! И чтоб череп треснул! И чтоб всё вытекло! А потом я бы лично опустился на карачки и замесил ваши мозги в луже! Вместе с головастиками!

Военные разговоры перед строем

Капитан третьего ранга на флоте – это вам не то, что в центральном аппарате. Это в центре каптри – как куча в углу наложена, убрать некому, а на флоте мы, извините, человек почти. Конечно, всё это так, если ты уже годок и тринадцать лет отсидел в прочном корпусе.

Вот пришёл я с автономки, вхожу в штабной коридор на ПКЗ и ору:

– Петровского к берегу прибило! В районе Ягельной! Срочно группу захвата! Брать только живьём! – и из своей каюты начштаба вылетает с готовыми требуками на языке, но он видит меня и, успокоившись, говорит:

– Чего орёшь, как раненый бегемот?

А начштаба – наш бывший командир.

– Ой, Александр Иванович, – говорю я ему, – здоровья желаю. Просто не знал, что вы здесь, я думал, что штаб вымер: все на пирсе, наших встречают. Мы ведь с моря пришли, Александр Иваныч.

– Вижу, что как с дерева сорвался. Ну, здравствуй.

– Прошу разрешения к ручке подбежать, приложиться, прошу разрешения припасть.

– Я тебе припаду. Слушай, Петровский, ты когда станешь офицером?

– Никогда, Александр Иваныч, это единственное, что мне в жизни не удалось.

Начштаба у нас свой в доску. Он старше меня на пять лет, и мы с ним начинали с одного борта.

– Ладно, – говорит он, – иди к своему флагманскому и передай ему всё, что я о нём думаю.

– Эй! Покажись! – кричу я и уже иду по коридору. – Где там этот мой флагманский? Где это дитя внебрачное? Тайный плод любви несчастной, выдернутый преждевременно. Покажите мне его. Дайте я его пощупаю за тёплый волосатый сосок. Где этот пудель рваный? Дайте я его сделаю шиворот-навыворот. Сейчас я возьму его за уши и поцелую взасос.

Вхожу к Славе в каюту, и Слава уже улыбается затылком.

– Это ты, сокровище, – говорит Слава.

– Это я.

Мы со Славой однокашники и друзья и на этом основании можем безнаказанно обзывать друг друга.

– Ты чего орёшь, полудурок? – приветствует меня Слава.

– Нет, вы посмотрите на него, – говорю я. – Что это за безобразия? Почему вы не встречаете на пирсе свой любимый личный состав? А, жабёныш? Почему вы не празднично убраны? Почему вы вообще? Почему не спрашиваете: как вы сходили, товарищ Петровский, чуча вы растребученная, козёл вы этакий? Почему не падаете на грудь? Не слюнявите, схватившись за отворот? Почему такая нелюбовь?

Мои монологи всегда слушаются с интересом, но только единицы могут сказать, что же они означают. К этим единицам относится и Слава. Монолог сей означает, что я пришёл с моря, автономка кончилась и мне хорошо.

– Саня, – говорит мне Слава, пребывая в великолепной флегме, – я тебя по-прежнему люблю. И каждый день я тебя люблю на пять сантиметров длиннее. А не встречал я тебя потому, что твой любимый командир в прошлом, а мой начштаба в настоящем, задействовал меня сегодня не по назначению.

– Как это офицера можно задействовать не по назначению? – говорю ему я. – Офицер, куда его ни сунь, – он везде к месту. Главное, побольше барабанов. Больше барабанов – и успех обеспечен.

– Пока вы там плавали, Саня, у нас тут перетрубаии произошли. У нас тут теперь новый командующий. Колючая проволока. Заборы у нас теперь новые. КПП ещё одно строим. А ходим мы теперь гуськом, как в концлагере.

– Заборы, Слава, – говорю ему я, – мы можем строить даже на экспорт. Кстати, политуроды на месте? Зам бумажку просил им передать. (Политуроды – это инструкторы политотдельские: комсомолец и партиец.)

– На месте, – говорит мне Слава. – Держитесь прямо по коридору и в районе гальяна обнаружите это гнездо нашей непримиримости.

– Не закрывайте рот, – говорю я Славе, – держите его открытым. Я сейчас буду. Только проверю их разок на оловянность и буду.

Заменышей я нашёл сидящими и творящими. Один лучше другого. Оба мне неизвестны. Боже, сколько у нас перемен. А жирные какие! Чтоб их моль сожрала! Их бы под воду на три месяца да на двухсменку, я бы из них людей сделал.

– Привет, – говорю я им, – слугам кардинала от мушкетеров короля. Наш зам вам эту бумажку передаёт и свой первый поцелуй.

– Слушай, – обнял я комсомольца, – с нашим комсомолом ничего не случилось, пока я плавал?

– Нет, а чего?

– Ну, заборы у вас здесь, колючая проволока, ток вроде подведут.

Чувствую, как партия напряглась затылком. Пора линять.

– Всё! – говорю им. – Работайте, ребята, работайте. Комплексный план, индивидуальный подход, обмен опытами – и работа закипит. Вот увидите. Новый лозунг не слышали? «Все на борьбу за чистоту мозга!»

Я вышел и слышу, как один из этих «боевых листков» говорит другому:

– Это что за сумасшедший?

– Судя по всему, это Петровский. Они сегодня с моря пришли. Страшный обалдуй.

Штапки

Когда у нас появляется новый командующий, жизнь наша сразу же усугубляется.

Именно для этого усугубления и меняются командующие.

А как она усугубляется?

А очень просто. Например, в городок теперь в рабочее время не попадёшь: граница на запоре, из зоны тебя не выпустят, а чтоб выпустили, должен быть специальный вкладыш в пропуске, который придумал новый

командующий для поднятия нашего настроения. И в отпуск в очередной так просто не улизёшь, потому что на отпускном билете кроме подписи и печати командира должен быть маленький штампик бюро пропусков.

А бюро пропусков в городке, за пять километров от зоны, и работает оно в то же самое время, что и мы, то есть: чтоб туда прорваться и штампик на отпускной поставить, нужно этот проклятый вкладыш иметь.

Захожу я к помощнику, падаю на стул и интересуюсь:

– Как там наш отпуск? Двигается?

– Двигается, – говорит пом. – В обратную сторону. Со вчерашнего дня пошёл. Эти придурки из штаба решили нас отпустить вчерашним числом, чтоб мы и в отпуск успели, и в автономку не опоздали.

– Так чего же мы сидим? – говорю я ему. – Помчались, ломая переборки! Закон жизни: отпустили – беги.

– На отпускных штампиков нет.

– Так иди и ставь!

– Не могу. Через КПП не прорваться. Вкладышей нет. Командир уехал в штаб флота, а штурман с штурманёнком укатили в гидрографию. И всё – три вкладыша на экипаж.

– Ах ты... – должен заметить, что удобных выражений для облегчения души офицера ещё не придумали и потому самыми безобидными сочетаниями из всего набора будут: «сука криволапая» и «зануда конская».

– Ах ты... сука криволапая, зануда конская, ах ты...

Отобрал я у помощника пачку чистых бланков отпускных и сам помчался в бюро пропусков. Я к тому времени был уже капитан третьего ранга – настоящий офицер, – а такой везде пройдёт.

При следовании в городок нужно миновать целых два КПП.

Влетаю на первое и ору вместо вкладыша:

– Где старший!!!

– Там, – говорит вахтенный.

– Быстрее! – хватаю его за рукав и тащу за собой, а там уже и старший обеспокоенно поднимается навстречу.

Говорить с ним нужно уверенно и без остановок.

– Где все?!

– Все здесь.

– Потехин звонил?!

Старший говорит: «А-а?»

– Что «а»? Вы что, плохо слышите? Я говорю: Потехин звонил?

Потехин – это их начальник режима. Действовать нужно со скоростью вихря, иначе они успеют сообразить. Вопросы должны бросать их мозг из стороны в сторону в таком ритме, какой нормальный человек не выдерживает.

– Вы что, онемели?

– Никак нет!

– Связь не работает?

– Так точно!

– Что «так точно»?

– Никак нет! Не работает!

Связи у них всё время нет. Этот вариант беспроектный.

– Почему не налажена визуальная связь? – Чем больше непонятных

слов, тем лучше. – Почему человек не отправлен на АТС? Почему у вас нет голосовой связи со вторым КПП? Почему грязь в дежурке? Почему ватники валяются? Жратва почему на столе? В тумбочке что?! – Заглянул с размаху в тумбочку. – Кабак! Инструкцию всем выучить! Повесить её на видное место! В рамочку! Что?! Немедленно достать рамочку! И наведите порядок вообще! Что за бардак! Что вы себе здесь позволяете?! У вас КПП или юрта пьяного тунгуса?!!

И тут я замечаю чайник. Под столом. Электрический. Раз есть чайник, значит есть нештатная розетка, а это источник пожаров. Они загораживают телами чайник, а я его всё замечаю и замечаю.

– Это что?! – подхватываю я этот чайник двумя пальчиками, медленно выношу его и ногой по нему – на-а – как по мячику, чтоб не сомневались. Чайник – кубарем в сопки.

Они уже не сомневаются – торчком торчат! Я их краем глаза пронаблюдал, когда чайник футболил, – очень они впечатлились. Чайник футболил только начальник.

Но пора смываться, а то они оттают и начнут соображать. Напоследок надо сильно крикнуть. Ору:

– Десять минут даю! Для наведения порядка! Десять минут! В 10 часов – доклад Потехину об устранении замечаний! В 10.30 здесь на «Волге» будет начальник режима флота! Седой капитан первого ранга. Он вас может проверить, а у вас ещё конь не валялся! За работу! Связь сейчас вам восстановят! Я этим займусь. А пока послать человека на АТС! Всё! Все за дело, ребята! Я – в комендатуре!

На втором КПП всё повторяется, но с ещё большей скоростью. Влетаю и ору:

– Где?!

Пока они соображают, беру первого попавшегося за плечо и волоку за собой. Старшему:

– Всех построить! Всех сюда! Проверить знание статей 22, 23 дисциплинарного устава! Дисциплинарный устав есть?

Немая сцена.

Опять чайник со стола – хватъ, по нему ногой – хрясь!

– Порядок! – ору. – Немедленно навести везде порядок! Доложить Потехину! В 10.30 здесь будет начальник ОУС и режима флота! На первое КПП направить человека, чтоб предупредил там! Людей расставить! Инструкцию – на видное место! Я – в комендатуре. Всё!!!

И здесь никому в голову не пришло проверить у меня документы.

В бюро пропусков я сунул в окошко тётке пачку бланков отпускных и приказал их отшлёпать, а пока она не успела возразить, попросил у неё телефон, тут же при них набрал АТС и разнёс их там по кочкам от имени командующего за отсутствие связи между КПП-1 и КПП-2.

– **Потеря связи**, – завывал я в трубку, – **потеря управления!**

А в бюро пропусков слушали меня, имея при этом исполнительные рожи, и штамповали мне отпускные.

Когда я возвращался, на КПП меня уже поджидали; телефонисты восстанавливали связь, а кэпепешники стояли полукругом.

– Товарищ капитан третьего ранга, – нерешительно двинулся мне навстречу старший.

– Да-а? – сказал я, чувствуя недоброе.
– А... проверяющий... из ОУС флота на какой машине поедет? Вы номер машины забыли сказать.
– М-да?
Отлегло. Я остановился, посмотрел внимательно на старшего и почувствовал себя хорошо.
– Повезло вам, ребята! – сказал я старшему и похлопал его по плечу. – Отложена проверка, отложена. До завтра. Завтра они приедут. М-да. Так что своим сменщикам можете передать мои поздравления. Потехин-то звонил?
– Нет ещё.
– Некогда ему. Небось, наложил полботфорта, теперь выгребает. Позвонит – успокойте его. Скажите: отбой тревоги до завтра. Звонили из штаба флота. Связь вам восстановили? Ну и отлично. Если я завтра не пробегу здесь, как сегодня, значит вообще проверку отложили.
После этого я рассмеялся. Кэпепешники подхватили. Всем стало радостно жить. Все вздохнули – ух, пронесло!
Помощнику я, как пришёл, сунул пачку отпускных:
– Держи, Неофитыч, проштамповано.
– Прорвался? Ну, ты даёшь! Как тебе удалось?
– Исключительно с использованием врождённого обаяния и массового гипноза. А в работе мы опирались на чувство стадности, которое развито в нашем личном составе до замечательных пределов.
– Ну да?
– Не «ну да», а «так точно».
И я рассказал ему всё в подробностях. Он хохотал как бешеный. Особенно его восхитил мой финт с чайниками. Еле успокоился. Он потом целый день ходил по казарме и мерзко хихикал.

Академия

Собрался я в академию поступать: у командира рапорт подписал, и осталось подписать его у комдива. Я даже специально на вахту вместе с нашим помощником встал: пом – по дивизии, а я – по части. Нарядом с Костей Барановым поменялся и встал, потому что мне сказали, что у комдива сегодня настроение отличное. Редкое это явление, так что надо ловить момент. К нашему комдиву, если у него настроение плохое, лучше не соваться.

Зашёл я к нему в кабинет вечером, после заступления, представляюсь, рапорт протягиваю и говорю, что, мол, разрешите мне в академию поступать.

– Ну что ж, – говорит комдив, – надо тебе расти, надо. Нормальный офицер. С инициативой. Служишь хорошо. Но с твоим рапортом всё-таки пусть ко мне твой командир придёт. Командиру положено представлять офицера.

Набрался я наглости и говорю:

– Товарищ комдив! Так командир же уже подписал рапорт, значит он согласен меня отпустить.

– Всё! – говорит комдив. – Я тебе что сказал? Завтра. Завтра командир представит мне твой рапорт. Передашь ему мое приказание.

Комдив уехал домой, а я остался служить. Ближе к 21 часу наш

помощник мне говорит:

– Слушай, Геша, давай мы плац от снега очистим. Комдив завтра приедет, а у нас – чисто, и у него к нам никаких вопросов не будет. А снег мы вдоль плаца по периметру разместим, и завтра он сам растает.

Так мы и сделали: вызвали народ, взял народ в руки грейдеры – ручные совки – и начал плац пидарасить.

Полночи провозились, очистили, и к утру вокруг плаца горы снега выросли: короче, работа видна.

Утром я уже совсем хотел к командиру обратиться, чтоб он к комдиву сходил и мой рапорт подписал, но ровно в 8 часов утра нам позвонили и сообщили, что у нас ночью мичман шкертанулся – пришёл домой и на почве любви повесился. Представляете? Коз-з-зёл!

Комдив приехал чернее ночи. Приехал, вылез из машины, увидел, что мы с плацем сделали, и сказал:

– Это что?

– Очистили... вот, – проблеял наш помощник, почувствовав, как у нас говорят, свой конец.

– А зачем вы очистили? – сказал комдив. – Я что, давал приказание очистить? Очистили они! Ждут они! Стоят они! Лучше б вы мозги себе очистили! Или жопу себе очистили! Лучше б вы за людьми следили как положено. Очистили они! Очистители! Страдают они. Я на вас дивизию оставил! Дивизию! На одну ночь. А вы мне за ночь всё развалили. Что ж мне, не спать, что ли? Когда это мудро повесилось? Что? Вы даже не знаете, когда оно повесилось? Оно, оно... да... оно... да... мичман... да... ну?

Снял он помощника с вахты и за меня принялся:

– Академия? Какая на хер академия? У нас здесь у самих академия. Академическое образование. Бардак повсеместный. Сральник здесь развели! Матросы-годки молодежь по роже бьют. Матрос у вас вонючий ходит, понимаешь? Вонючий! Вы своих матросов чему учите, а?

Тут я изловчился и сказал, что у меня в подчинении матросов нет.

– Ну и что? Ну и что, что нет? А в казарме что, их тоже нет? В академию он намылился! Вот тебе академия, вот! – и комдив показал мне условный знак «до локтя». – Служить надо как положено!...

Шёл я от комдива и думал:

– Хорошо бы, если б сейчас что-нибудь взорвалось бы или чтоб утонуло бы хоть что-нибудь. Тогда бы комдив быстренько переключился бы и про меня забыл. А то ведь год будет мне это помнить. Плакала тогда моя академия ещё на год, а то и навсегда...

Конспект

Всё! Попался-таки! Мой конспект попался на глаза заму. Я увлёкся и не успел его спрятать. Зам вошёл, взял его в руки и прочитал название – красное, красивое, в завитушках:

– «Падение Порт-Артура», В.И. Ленин, ПСС, т..., стр...

Под ним почерком совершенно безобразным шло: «Он упал и загремел в тазу...».

Зам посмотрел на меня и опять в конспект: «Голос: И хорошо, что упал, а то б туда служить посылали».

– Это что? – спросил зам. – Конспект?

– Конспект, – отважно ответил я. Отчаяние придало мне силы, и какое-то время мне даже было жаль зама.

Он тем временем снова углубился в изучение текста:

«Ночь плывёт. Смоляная. Чёрная. Три барышни с фиолетовыми губами. Кокаиновое безумство. Лиловые китайцы. Погосы-кокосы. Сотня расплавленных лиц громоздится до купола. Распушенная пуповина. И зубами за неё! И зубами! Красные протуберанцы. Ложатся. Синие катаклизмы. Встают. Болван! Не надо читать. Надо чувствовать. Брюши-ной. Стихи: Ландыш. Рифма – Гадыш. Неба нет. Вместо него серая портянка. И жуешь её, и жуешь! «Кого? Портянку?» – «Это уж кто как понимает».

– Александр Михайлович, что это?

Видите ли, весь фокус в том, что у меня два конспекта в тетрадях совершенно одинакового цвета. В одной я пишу настоящий конспект первоисточников, а в другой – свои мысли и всякую белиберду из прочитанного и храню всё это вместе с секретными документами, потому что у нас же свои мысли просто так не сохранить: обязательно через плечо влезет чья-нибудь рожа. Поэтому над мыслями я писал наиболее удачные заголовки работ классиков марксизма. Писал крупно и красиво. Влезет кто-нибудь: «Что пишешь?» – и ударит ему в глаза красный заголовок, после чего он морщится и гаснет. А с замом осечка произошла: сунулся и вчитался. Просто непруха какая-то!

– Что-о де-лать! – по складам прочитал зам осевшим голосом. – Полное собрание сочинений... так... что делать...

«И встал! И тут во всей своей безобразной наготе встал вопрос: что делать? Потом он взял и сел».

«Ради Бога! Ради Бога, не надо ничего делать! Ради Бога! Сидите тихо и не шевелитесь...»

«Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного труда...»

«Члены моего кружка – кружки моего члена».

«Кавказ: «Слушай-а! Па иному пути пайдём! Не нада нам этой парнаграфии – «Горе от ума», Ревизор», Гоголи-моголи!»

« – Ах, не могу я, Рюрик Львович, ах, не могу...»

« – Увы вам, Агнесса Сидоровна...»

Я закатил глаза и приготовился к худшему, а зам тем временем читал, всё убаюкиваясь:

«Материализм и эмпириокритицизм».

«Тысячи вспугнутых ослов простирались за горизонты. Произошло массовое отпадение верующих. Множество их лежало там и сям в самых непотребных позах. Остальные были ввергнуты в блуд и паскудство. Сучизм процветал. И повинны в том были сами попы, дискредитировавшие в лоск не только себя, но и свет истинной веры. Мрак сочился. Тени неслись. Мерзость липла. Пора! Мама, роди меня обратно».

«Великий почин».

«Панданусы стояли колючей стеной. Цвели агавы. Царица ночи распустила повсюду свои мясистые, сахарные лепестки. Удушливо пахли рододендроны и орхидеи. Свисали розалии. Кричали тапиры. Тарахтели коростели. Кряхтели обезьяны-носачи. Со стороны неторопливо несло

амброзией. Жаба, скрипя сердцем, напозла на жабу. Напозла и брякала. Напозла и брякала. Рай да и только. Ну как в таких условиях, я вас спрашиваю, схватить на себя бревно и потащить его неведомо куда? Совершенно невозможно даже помыслить, чтобы схватить...»

Дальше сдавленный зам лихорадочно выхватывал из-под заголовков только первые строчки.

«Три источника – три составные части марксизма».

«Только не надо трогать могилы...»

«Карл Маркс».

«Он открыл свой рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче!... Нет. Нет слов для описания черного бюста этого чудовища, поставленного перед Думой в обрамлении арки. Сын гибели. Отец мрака. Брат отца сына безумства. Изы-ди! Антрациты! Помоечные блики ложатся. Пляшут гиганты!»

«Кто такие «друзья народа» и как они воют против социал-демократов».

« – Приветливо запахло шашлыком.

– Это жареным запахло.

– Вы ошибаетесь. Пахнет шашлыком. Шашлык обладает огромной притягательной силой.

«Очередные задачи советской власти».

«Умоляю! Только не это! Что угодно, но только не это! Только не трепет новой жизни.

– Гесь! – крикнул кучер во сне. – Сарынь на кичку! – и лошади в струпяных пятнах понесли, и полторы версты голова мертвеца колотилась о ступени.

Приехали! Поле чудес в Стране Дураков. Выбирай себе любую лунку, садись и кидай в неё золотой. Наутро вырастет дерево, и на нём будет полным-полно золотых для Папы Карло. Просто полно.

Сто миллионов буратин! Столько же миллионов пап карл!»

«Как нам реорганизовать Рабкрин».

«А-На-Хе-Ра?! И так полная жопа амариллисов! Робеспьеры! Ну, решительно все Робеспьеры!»

«Все на борьбу с Деникиным!»

«Увесистый мой! Ну, зачем нам такой примитив. Не будем падать от него на спину вверх ногами».

«О соцсоревновании».

« – Вип-рос-са-лий!!! Шампанского сюда! Я буду мочить в нём свою печаль.

– Звезда души моей, временно не ложьте грудь ко мне в тарелку, я в ней мясо режу».

Хлоп! Это зам захлопнул мой конспект, тяжело дыша. Тут же потянуло гнилью. Кошмар что было после. Но всё вскоре обошлось. Все мои замы рано или поздно приходили к мысли, что я слегка не в себе.

Погрузка

Подводнейший крейсер. Идёт погрузка продуктов. Людей не хватает. Спешка.

В рубке, у верхнего рубочного люка, на подаче находятся боцман и молодой матрос Алиев. Алиев одной рукой придерживает в пазах толстую железную балку (постоянно выскакивает, собака). Через балку перекинута веревка. Другой рукой Алиев спускает на веревке в чрево лодки мешки, паки, ящики, всё это: «Давай, Давай!», а третьей рукой...

– Задержаться наверху! – кричат снизу.

Это командир. Он уже сунул голову в шахту люка, и хорошо, что посмотрел наверх; от его крика: «Задержаться!», мешок у Алиева срывается и летит вниз. Командир едва успевает выдернуть голову. Мешок трахается, и сахар разлетается по палубе.

– Боцман! – орёт командир, опять сунув голову в шахту люка. – Что у вас там происходит?!

– Ты чё эта?! – говорит боцман, ощерившись, матросу Алиеву и приближается к нему. – Бол-тя-ра конская... – но не успевает закончить. Матрос Алиев от страха делает «руки по швам», и железная балка, которую уже ничто не удерживает, выскакивает из пазов и бьёт боцмана в лоб – тук!

– Боцман! – орёт снизу командир.

Боцман, закатив глаза, – постояв секунду, молча падает в люк вниз головой, в один миг пролетает десять метров, огибая всякие препятствия, и на последних метрах, придя в себя, хватается за вертикальный трап и, ободравшись, головой вниз сползает по нему, появляясь перед носом у командира. Он видит командирское изумление и, продолжая движение, говорит:

– Вызывали... Товарищ командир?

Не для дам

Тема...

Тема дерьма на флоте неисчерпаема...

В автономке она начинается всегда с гальюна: ты лёг в четыре утра, а уже в шесть нуль-нуль, весь слипшийся, поднятый непобедимым утренним гномиком (проклятый чай), путаясь в собственных тапочках, задевая головой обо всякие трубопроводы, эпизодически приходя в сознание, ты сползаешь по трапу и направляешься в гальюн. В гальюне располагается унитаз. Он оборудован педалью, чтобы всё наделанное проваливалось по трубам – по трубам – и в специальный баллон, литров на двести, а потом воздухом оно транспортируется за борт, если, конечно, открыли забортные клапаны, а если их не открыли, то...

Но нет, сначала хочется рассказать о педали. Итак, сполз ты в гальюн, а там – педаль. На неё нужно нажать, чтоб провалилось к чертовой матери то, что от прошлых посещений осталось и какой-то сволочью не убралось. Наваливаешься на педаль – ма-а-а! Подавленность, растерзанность, расслабленность, расстроенность, сон на ходу – всё это делает так, что ты давишь, а нога соскальзывает. Педаль тоже делает: «Ма-а-а!» – но обратно и вверх, и если ты отращиваешь бороду, то она будет вся в кусках. Глаза на лоб, как у кота в скипидаре, и бодрость непроходящих флотских выражений, и – никакого сна до обеда.

– Хорошо ещё, что я зажмурился, в глаз не попало, – успокаиваешь

себя, неутомимо стирающий, но, оценив всё подряд ещё раз, добавляешь всегда: – Хорошо ещё, что никто ничего не видел, – и только после этого мощно и запрокидываясь непрерывно – счастливо смеёшься...

Кордильеры

Гальюн первого отсека – это командирский гальюн. В него ходят только: командир, зам, старпом, пом и командиры боевых частей – отличники боевой и политической подготовки, знающие, что бумажку в унитазик бросать нильзя-я!

Старпом. Старпом – всегда орёл. Но в гальюне, наедине, он превращается в кондора, в белоголового грифа он превращается. И всё это потому, что так сидеть приходится: доски-то нет! Вернее, есть, но куда-то её трюмные задевали.

Старпом сидел, превратившись в грифа. При этом он не забывал держаться рукой за ручку-задрайку: защёлка на двери не работала, и все, сидя в гальюне, держались за эту ручку, а то у нас как? подойдут и выломают в одну секунду, а когда за ручку держишься, то, может быть, и не выломают.

Старпом закричал и пропел: «Да-ааа, Кор-диль-еее-ры!» И вдруг! О, мать прародительница! Такое бывает только в Кордильерах! Когда старпом, без штанов, держась за ручку, совсем уже собирался подвести итоги за три прошедших дня, кто-то так дёрнул – а ручка у старпома была дожата не до конца, и выдернулась на свободу не только дверь, но и старпом, превратившийся в кондора, в белоголового грифа превратившийся, вылетел, держась за ручку, взмахнув ужасными крыльями, путаясь, лоя, не попадая, и упал на четвереньки связанной птицей перед отличником боевой и политической подготовки. Рух! Рухнул.

Первое, что он сделал, стоя на четвереньках и дрожа кожей, как лошадь, – это надел штаны. И правильно! А то что же это за кондор, это ж не кондор, а чёрт-те что...

Об этой ручке и ещё

С этой ручкой-задрайкой у нас в гальюне постоянно происходят подобные неприятности: вырывают, выдирают, выпадают...

Но, сидя на насесте, все за неё всё равно держатся: сами видите, народ у нас дикий, он в гальюн не входит, а с лязганьем вламывается, так что – чтоб не выдернули – все держатся за ручку, как мартышки за ветку, – изо всех сил.

Подойдёшь, бывало, к двери гальюна и осторо-ожненько так за ручку попрубуешь (она с двух сторон двери выходит), осторожненько так надавил её вверх – и чувствуешь напряжение живой плоти, оживает ручка.

А ты опять, вежливо так, усомнился, а она опять на место – тух! А ты опять её вверх давишь. Тут ручка совсем с ума сходит, свирепеет и несколько раз с шумом опускается-поднимается, опускается-поднимается, бьётся-жмётся-дожимается.

Теперь самое время постучать в дверь и спросить:

– Слушай, ты чего там, сидишь что ли?...

Заму нашему

Заму нашему новому сколько раз объясняли, что бывает в трубе остаточное давление воздуха, что всё это проверяется по манометрам: есть там давление воздуха или его там нет; сколько раз ему говорили: если ты удачно сходил в гальюн, так ты головку-то свою подними и посмотри на манометры: если стрелка отклоняется, значит давление в трубе есть и его надо стравить вот этим клапаном, и пока не стравил, нечего на педаль давить, как на врага, потому что воздух вырвется и всё это дело удачное из унитаза как даст! – и будешь ты весь в... как уже говорилось, в пене морского цвета. Так нет же! Наш зам вечно рот свой откроет и давит на педаль, как очарованный.

Ну и попадало ему. Ежедневно. В это отвисшее отверстие.

А мы его утешали, что, мол, тот не подводник, кого из унитаза не обливало.

Каждый день утешали.

О клапанах

Вы ещё не устали о дерьме читать? Ну, если не устали, то теперь самое время поговорить о клапанах: о клапанах на трубопроводе выброса за борт содержимого баллона гальюна. Обещаю, что будет интересно: тема сама по себе интересная. Конечно, интересная, особенно если дуешь гальюн, то есть – я хотел сказать: сжатым воздухом дуешь баллон гальюна, а клапана открыть забыл, я имею в виду забортные клапана. Очень интересная ситуация. А переживаний в связи с этим сколько будет... Но по порядку. Сначала заметим: клапана – это ответственный момент. И открывают их ответственные люди – трюмные.

А где у нас родина всех ответственных трюмных?

Родина всех трюмных – Средняя Азия и Закавказье. Именно там ежегодно рождаются новые трюмные. И если в отсеке один гальюн, то они с ним справляются, но, если в отсеке два гальюна, то на каждый гальюн нужно по одному трюмному.

В пятом отсеке у нас два гальюна: отсечный гальюн на верхней палубе и докторский – гальюн изолятора – на средней.

Оба они сидят на одной забортной трубе и продувают их по очереди. Происходит это так: наверху находится Алиев Мамед, прослуживший два года, родина – Закавказье; внизу, на забортных клапанах, сидит Ходжимуратов Ходжи, прослуживший один год, родина – Средняя Азия. Ходжи должен открыть забортные клапана и отсечь докторский гальюн. Для этого он и посажен в трюм. Мамед ему сверху кричит:

– Ходжи! Ходжи! Ходжи!

Ходжи его не слышит.

– Ходжи!!!

– Ха-а... – Ходжи услышал.

– Ход-жи! Чурка нерусский! Ты клапана открыла?

– Да-а! – кричит Ходжи. – Открыла!

– А ты доктур закрыла?

– Да-а...

– Сма-атри – ха-а...

Всё это происходит в 7 часов утра при всплытии на сеанс связи и определение места. Орут они так, что не могут не разбудить доктора. Они его будят. Доктор садится на койке и спросонья говорит только одно слово. Он говорит:

– Су-ки...

В это время дуется верхний гальюн, и так как Ходжи отсек докторский гальюн совсем не там, где он отсекается, и забортные клапана открыл тоже не те, то всё содержимое баллона верхнего гальюна передавливается не за борт, а, подхватив с собой содержимое гальюна изолятора, начинает поступать в изолятор: сначала появляется коричневый туман, а потом – потоки. Доктор – через какое-то время – начинает проявлять интерес к происходящему: он нюхает воздух, как спаниель, а потом он спускает ноги с койки и скользит в чём-то мерзостном и с криком: «Ах, ты... (наверное, жизнь моя молодецкая)», – выпадает и погружается. А потом доктор в таком виде приходит в центральный и требует, чтоб ему нацедили крови трюмных – целое ведро...

Творог

Вы ещё не видели, каким творогом питают на береговом камбузе героя-подводника, защитника святых рубежей? Если не успели до сих пор, то и смотреть не надо. «Оно» серого цвета, слипшееся. Привозится на камбуз в тридцатилитровых флягах. Открываешь крышку, а там сверху – трупная плесень. Разгребаешь её немножко (сильно не надо, а то смешается), а под ней – творог. Его и едим. Замешиваем со сгущёнкой (так его природный серый цвет не просматривается) и хрумкаем.

В кают-компании старших офицеров у нас те же отруби, что и на всем камбузе, но только на тарелочках и со скатертями. Сейчас сядем ужинать. Я – дежурный по камбузу, мой старпом – дежурный по дивизии.

Лично я творог не ем. Я тут вообще ничего не ем. Достаточно простоять сутки на камбузе, чтоб надолго потерять интерес к творогу, сметане, к первому, ко второму. На камбузе можно есть только компот. Он из сухофруктов. Там разве что только червячок какой-нибудь сдохший плавает, или, на худой конец, вестовой рукавом в лагун залезет, но в остальном отношении в компоте – стерильная чистота.

– Я буду только творог, – говорит мой старпом, потирая руки.

Никогда не видел, чтоб на одном лице было написано столько эмоций сразу. У моего старпома на лице сейчас и терзающее душу ожидание, и радость встречи, и умеренная жадность. А в движениях-то какая суетливая готовность. И всё из-за творога. Он никогда не стоял по камбузу, вот и хочет съесть. Может, предупредить этого носорога помягче? Не враг всё-таки, а родной старпом.

– Александр Тихоныч, – говорю я с постным лицом, наблюдая, как он всё накладывает и накладывает, – говорят, в таких количествах творог вреден.

– Свис-тя-а-т, – радуется он, уродуя на тарелке только что возведенную башню, – творог – это хорошо!

– А вот я читал...

– Че-пу-ха-а...

Старпом поглощает творог, растянув до упора пасть. Вот обормот! Этот на халяву сожрет даже то, что собака не станет есть.

Назавтра старпом пропал. Подменился на дежурстве и пропал. Трое суток его несло, как реактивный лайнер. Лило, как в Африке в период дождей. Пил только чаек. Чайком они питались: выпьют глоточек – и потрусили скучать на насест.

– Я буду только творог, – слышу я в следующее своё дежурство. Оборачиваюсь – наш помощник. Этого только не хватало. Неужели он не знает про старпома? Точно, он тогда в море пропал. Я никогда не скатываюсь до панибратства с начальством, но данный случай особый.

– Виктор Николаевич, – говорю я с большим чувством, – вы всегда были для меня примером в исполнении своего служебного долга.

– А что такое? – настораживается он.

– Светлая память о вас навсегда останется в наших сердцах, – говорю я и горестно замолкаю. Приятно, чёрт побери, сознавать, что ты вызвал тень мысли на лице начальства.

– Об этом твороге, – замечаю я тонко, – я могу часами рассказывать одну очень грустную историю.

– Ну-у нет! – говорит помощник. – Только после того, как я поем. Не портить аппетит. Это у меня единственная положительная эмоция.

Так я ему и не рассказал. Жаль было прерывать. Как всё-таки группа командования у нас однородна. Утром он нашёл меня по телефону.

– Сво-лочь! – сказал он мне. – Звоню тебе из туалета. Чай пью по твоей милости.

– Роковое совпадение... – начинаю я.

– Заткнись, – говорит он, – с утра сифоню. Мчался на горшок, как раненый олень, не разбирая дороги. И не известно ещё, сколько так просижу.

– Известно, – сказал я как можно печальней, – вот это как раз известно. По опыту старпома – трое суток. Сказочная жизнь.

Деревянное зодчество

Наше начальство решило в одно из летних воскресений одним махом окончательно нас просветить и облагородить.

Для исполнения столь высокой цели оно избрало тему, близкую нашему пониманию, оно избрало автобусную экскурсию в Малые Карелы – в центр архангельского деревянного зодчества.

И вот рано утром все мы, празднично убранные, частично с женами, частично с личным составом, приехали в этот музей под открытым небом.

Матросы, одетые в белые форменки, тут же окружили нашего экскурсовода – молодую, симпатичную девушку. Лёгкое, летнее платье нашего экскурсовода, насквозь прозрачное, в ласковых лучах северного солнышка, волновало всех наших трюмных, мотористов, турбинистов чёткими контурами стройных ног. Турбинисты пылали ушами и ходили за ней ошалевшим стадом.

И она, раскрасневшаяся и свежая от дивного воздуха и от присутствия столь благодарных слушателей, увлеченно повествовала им об избах,

избушках, лабазах, скотных и постоянных дворах, о банях, колокольнях и топке по-черному.

– А как вас зовут? – спрашивали её смущающиеся матросы в промежутках между бревнами.

– Галина, – говорила она и вновь возвращалась к лабазам.

– Галочка, Галочка, – шептали наши матросы и норовили встать к ней поближе, чтоб погрузиться в волны запахов, исходивших от этих волос, падающих на спину, от этих загорелых плеч, от платица и прочих деталей на фоне общего непереносимого очарования.

Мы с рыжим штурманом осмотрели всё и подошли к деревянному гальюну, который являлся, наверное, обязательной частью предложенной экспозиции: сквозь распахнутую дверь в гальюне зияли прорубленные в полу огромные дырищи. Они были широки даже для штурмана.

– Хорошая девушка, – сказал я штурману, когда мы покинули гальюн.

– Где? – сказал штурман, ища глазами.

– Да вон, экскурсовод наш, неземное создание.

– А-а, – сказал штурман и посмотрел в её сторону.

Штурман у нас старый женоненавистник.

– Представь себе, Саня, – придвинулся он к моему уху, не отрываясь от девушки, – что это неземное создание взяло и пошло в этот гальюн, и там, сняв эти чудные трусики, которые у неё так трогательно просвечивают сквозь платье, оно раскорячилось и принялось тужиться, тужиться, а из неё всё выходит, выходит. Вот если посмотреть из ямы вверх, через эту дырищу, как оно выходит, то о какой любви, после этого, может идти речь? Как их можно любить, Саня, этих женщин, когда они так гадят?!

– М-да, – сказал я и посмотрел на него с сожалительным осуждением.

Наш рыжий штурман до того балбес, что способен опозлить даже светлую идею деревянного зодчества.

Х-хья!

Укачиваюсь я. А старпом не верит. Ему не понять. Он не укачивается. Нечем ему укачиваться. У него там серого вещества – кот наплакал, на чайную ложку не наскребешь. А я вот укачиваюсь. Не могу. Мозг у меня не успевает за кораблем. Лежу в каюте, зелёный, как герметичка, всё из меня уже вышло, только слюна идёт, и тут вдруг появляется он, он, наш родной, появляется и орёт:

– Встать! Я кому говорю? Перестать сопли жевать! Распустились! Как это не можете работать? Какая распушенность! Встать! Что это такое? Я вам приказываю!

А у меня уже идёт, понимаете? Вот сейчас будет. Встать не могу. Я старпома рукой отодвигаю, а он всё передо мной маячит, всё перед лицом норовит, всё лезет и лезет. Вот глупый! Я сильнее, а он всё придвигается и придвигается.

Ну что с тобой сделаешь, ну, может, нравится ему. Изловчился я, учел его в фокусе и кэк хякнул: «Х-хья!» – мимо старпома на дверное зеркало. Очень наглядно. Его как выключили. Посмотрел он, сказал: «Ну, есть!» – и вышел.

Плохо быть бестолковым!

Боже, храни моряка!

Солнце. В мире ничего нет, кроме солнца. Подводник, как приговоренный, любит солнце. Для него нет дорожке награды, не придумали ещё.

Верный друг солнце. Оно розово греет сквозь полузакрытые веки, отражается от воды тысячью слепящих зайчиков, рассыпается в мягкой зелени трав, раскрывается улыбками цветов и щедро дарит покой размягшей подводной душе; душе бедной, подводной.

Штаб тоже любит солнце, но не так примитивно, конечно, как простой подводник – штаб любит его гораздо сложнее: ах, если б в базе не осталось ни одного корабля, выпихнуть бы их в море всех, как было бы хорошо, сколько бы было солнца; сколько бы было радости ежедневного штабного труда; сколько бы родилось порывов в порывистой штабной душе, сколько бы в ней всего улеглось.

Поэтому каждое новое выпихивание новой подводной лодки в море – это маленький штабной праздник, волнение которого сравнимо только с волнением птичьих перелетов и собачьих свадеб.

Наступит ли всеобщее выпихивание? Наступит ли праздник большого солнца? Хочется... хочется... и верится...

Штаб прощался с лодкой. Для этого он выстроился на пирсе в одну шеренгу и грел заливки: тепло расползлось по спине, как слеза по промокашке, и, продвигаясь к впадине меж ягодиц, цепляло мозг за подушку. В такие минуты хорошо стоит в строю.

Все штабные офицеры уже отпрощались с корабельными специалистами, и только командир дивизии всё никак не мог нацеловаться с командиром лодки; они всё гуляли и гуляли по пирсу.

– Матчасть?

– В строю, в строю...

– Личный состав?

– На борту, на борту...

– Смотри: бдительность, скрытность, безаварийность. Чтоб всё чётко. Понял? Отличного тебе выполнения боевой задачи. Семь футов под килем и спокойного моря.

Они подержались за руки, и адмирал позволил себе улыбнуться. Добрыми глазами. Не удержался и похлопал по плечу. И тепло адмиральских глаз, ну и похлопывание, разумеется, передалось командиру и разошлось у него по груди, и раздвинуло улыбку широко, как занавеску; грудь набрала побольше воздуха и упрямо обозначилась под рабочим платьем.

– По местам стоять, со швартовых сниматься!

В такие минуты хорошо глотается сладкий с горчинкой морской воздух. «Отдать носовой...» Гложет, гложет... щипет, щемит, скребется... И в голову лезут самые неожиданные мысли, поражающие своей примитивностью. К примеру: а что будет, если с места, вот так, сейчас размахнуться и с отходящей лодки прыгнуть на пирс? Прыг – и нету. Допрыгнул бы. Интересно, какая будет физиономия у штаба? Они там тоже вроде за что-то отвечают. А что было бы потом? Потом, наверное, выяснят, что ты всегда носил в себе эту ненормальную склонность прыжкастую.

«Отдать кормовой...» Хорошо бы при этом что-нибудь крикнуть. Интересно, есть в медицине понятие: временное затмение?

– На буксире, на буксире...

Поехали... пропало солнце... не будет больше солнца...

Между телом лодки и пирсом уже образовался зазор метров пять-шесть зелёной портовой воды.

И вдруг размягчение сломалось: на нос выбежал командир. На лице у него – растерзанность. Он простёр руки к пирсу:

– Боцмана... боцмана на борту нет!!!

Так кричит убиваемое животное. Зарезали. Штаб скомкался. Адмирал зарыдал во всем адмиральском. А может, это он так зарычал:

– Да иди ты ввв... – полуприсел он, срываясь на крик.

Простите, хочется спросить: куда «иди ты»? А всё туда же: в то самое место, откуда, по индийской легенде, всё это и началось: ввв... пи-ззз-дууу!

А так хотелось солнца.

Малина

Хрясь!

– А-а... ма-му... вашу... арестовали!... Какая падла люк открыла?!!

Попался. Помощник наш опять в люк попался. Там в коридоре люк есть между галюном и каютой помощника командира. Фамилия помощника – Малиновский. Кличка – Малина. Он как накушается днём, так его непременно ночью в галюн потянет, а по дороге в галюн – люк. И вечно этот люк открыт. Малина его ещё ни разу не миновал. Люк ведёт в первый гидроакустический отсек, внизу под люком – рефрижераторная машина. На неё-то он всё время и садится. Причём дважды за ночь – сначала по дороге в галюн, а потом – из галюна.

Это уже лет десять подряд длится, и мы это слушаем каждую ночь.

Тихо! Слышите, будто кабан кричит? Это он так сморкается. Значит, добрался до галюна. Теперь назад. Шлёп, шлёп, шлёп – пошёл!

Хрясь! Есть. Попался. А где звуки?

– А-а... ма-му... вашу... а-рес-това-ли!...

Посылка

Минёру нашему пришла посылка. А его на месте не оказалось, и получали её мы. С почты позвонили и сказали:

– Ничего не знаем, обязательно получите.

Ох и вонючая была посылка! Просто жуть. Кошмар какой-то. Наверное, там внутри кто-то сдох.

Запихали мы её минёру под койку и ушли на лодку. Минер наутро должен был появиться, он у нас в командировке был.

Жили мы тогда в казарме, без жён, так что вечером, когда мы вернулись в своё бунгало, то сразу же вспомнили о посылке. Дверь открыли и – отшатнулись, будто нас в нос лягнуло, такой дух в помещении стоял сногшибательный.

Кто-то бросился проветривать, открывать окна, но дух настолько впитался в комнату и во все стены, что просто удивительно.

С такой жизни потянуло выпить. Выпили, закусили, старпом к нам зашёл, опять добавили.

– Слушайте, – говорит нам старпом минут через тридцать, – а чем это у вас воняет? Сдохло что-нибудь?

– У нас, – говорим мы ему, – ничего не сдохло. Это у минёра. Ему посылку прислали с какой-то дохлятиной.

– А-а-а... – говорит старпом.

Долго мы ещё говорили про минёра и про то, что раньше не замечали, чтоб он такой гадостью питался, выпили не помню уже сколько, и тут вдруг запах пропал. Ну просто начисто исчез. И даже наоборот – запахло чем-то вкусненьким.

– Интересно, – сказали мы друг другу, – чем это так пахнет замечательно?

Достали мы посылку и тщательно её обнюхали. Точно, отсюда, даже слюнки у нас побежали.

Вскрыли мы посылку. Всех заинтересовало такое чудесное превращение. В ней оказался крыжовник – ягода к ягоде. Сеном он был переложено. Сено, конечно же, сгнило, а крыжовник был ещё в очень даже хорошем состоянии. И пах изумительно. Наверное, его просто проветрить нужно было.

Вытащили мы крыжовник и съели, а сено покидали минёру назад в посылку, заколотили её и затолкали ему под койку. Вкусный был крыжовник. Отличная закуска. Ничего подобного я никогда не ел.

А утром, мама моя разутая, глаз не открыть. Во-нищ-ща! Голова раскалывается. Жуть какая-то. Даже открытое окно не спасает. И тут открывается дверь – и появляется наш минный офицер. Вошёл он, и, видим, повело его от впечатления. Наши, глядя на него, даже лучше себя почувствовали.

– Что это у вас тут? – говорит он, а у самого глаза слезятся. – Ну невозможно же... Что вы тут всю ночь делали?

– У тебя надо спросить, – говорим мы ему. – Слушай, минёр, а ты сено, вообще-то, ешь?

– Какое сено?

– Как это какое? – говорим мы. – Тебе сено в посылке прислали. А оно по дороге сдохло, не дождалось, когда ты его счавкаешь. Вон, под кроватью лежит. Мы его, сдуру, вчера открыли – думали, лечебное что-нибудь, так чуть концы не отдали.

Достал минёр посылку, сморщился и пошёл выбрасывать. А мы даже смеяться не могли. Ослабели сильно. Больно было в желудках.

Гадость какая...

В этой автономке мы жили в третьем отсеке в четырёхместной каюте: Ленчик Кривошеев, комдив, – раз, я и два пультавика – Веня и Карасик. А через переборку у нас жил командир БЧ-5. Бэчпятого мы через переборку ежедневно доставали: пугали его. Ленчик у нас ба-альшой специалист; ляжет на коечку, примерится, скажет: «Стартует первая!» – и в переборку кулаком как двинет! Как раз на уровне головы спящего меха – и только глухой стук падающего тела: мех с коечки вывалился.

Мех у нас мелкий был и лёгкий как пушинка. Падать там не далеко, так что он себе никогда ничего не отбивал. Он спросонья долго не мог понять, что это такое с ним регулярно происходит: всё ходил к доку и жаловался на нервный сон.

И тут к нему на чай однажды зам забрел. А мы только позавтракали после смены с вахты, легли в каюте и лежим. Не спится. Жара: за бортом – двадцать восемь градусов; в отсеках духотища; вентиляция не чувствуется, холодильник не справляется.

Спали мы тогда голышом: простынками прикроемся только чуть – и всё.

Слышим, зам о чём-то с мехом договаривается. И решили мы зама разыграть. Он у нас вредный; всю автономку за пьяницами охотится: ходит по каютам и нюхает.

Придумал всё Ленчик. Он сказал:

– Мужики! Есть предложение устроить заму большое шоу. Пусть понюхает. Сделаем так...

И он изложил нам, что надо делать.

Взяли мы ножницы, в каждой простыне посередине аккуратно дырочку вырезали, легли на спину и накрылись ими, а перед тем как накрыться, младших братишек настроили должным образом и сунули их в дырочку. И получилось, что, при хорошей организации, мы накрыты простынями с головой и на всех простынях только одни братики наблюдаются в боевой стойке.

Стали мы зама заманивать: пели, орали пьяными голосами – минут десять длилась вся эта канитель. Наконец зам клюнул: слышим – дверь у меха лязгнула – идёт!

Мы мгновенно с головой накрылись – и всё: одни братики торчат.

Открывается дверь, и входит к нам зам. А со света в нашей темноте он только одни белые простыни видит и ничего, но в середине каждой простыни что-то такое торчит.

Зам смотрел, смотрел – ничего не понимает, наклонился к Ленчику, а у Ленчика, между прочим, есть на что посмотреть. Приблизил зам лицо вплотную, смотрел, смотрел – и тут до него дошло: чуть не стошнило его.

– Фу! – говорит. – Какая гадость! – и вышел.

А мы от смеха чуть простынями не подавились, так они в глотку втянулись, что чуть дышалку не перекрыли, честное слово!

Сучок

(читай быстро)

Только с моря пришли, не успели пришвартоваться, а зам уже – прыг! – в люк центрального и полез наверх докладывать о выполнении плана политико-воспитательной работы. Крикнул в центральном командире: «Я доложить!» – и полез. Мы все решили, что о плане политико-воспитательной работы, а о чём ещё можно заму доложить? Он этим планом всех нас задолбал, изнасиловал, всем уши просверлил. Наверное, о нём и полез докладывать, о чём же ещё? Да так быстро полез. Любят наши замы докладывать. Даже если ничего нет, он подбежит и доложит, что ничего нет. Чудная у них жизнь. Как только он полез докладывать, за ним крыса прыгнула. Её, правда, никто не заметил. Крыса тоже торопилась; может, ей

тоже нужно было доложить. И попала она заму в штанину и с испугу полезла ему по ноге вверх. Зам у нас брезгливый – ужас! Он моряка брезгует, не то что крысу. Он как ощутил её в себе – его как стошнило! Мы глядим – льется какая-то гадость из люка, в который зам полез доложить о плане, потом шум какой-то – там-тарарам-там-там! – ничего не понятно, а это зам оборвался и загремел вниз. Крыса успела из штанов выскочить, пока он летел, а он – так и впечатался задом в палубу, и копыта отвалились, в смысле башмаки отмаркированные, и лбом ударился – аж зрачки сверкнули. Так и не доложил. Сучок.

На торце

(читай медленно)

Федя пошёл на торец пирса. Зачем подводнику ходить на торец пирса, когда вокруг весна, утки и солнце, вот такое, разлитое по воде? А затем, чтобы, нетерпеливо путая своё верхнее с нижним, разворотить и то и другое, как бутон, достать на виду у штаба и остальной живой природы из этого бутона свой пестик и, соединив себя струей с заливом, испытать одну из самых доступных подводнику радостей.

На флоте часто шутят. Разные бывают шутки: весёлые и грустные, но все флотские шутки отличает одно: они никогда потом без смеха не вспоминаются...

Не успела наступить гармония. Не успел Феденька как следует соединиться с заливом, как кто-то сзади схватил его за плечи и дёрнул сначала вперёд, а потом сразу назад!

У подводника в такие секунды всегда вылезают оба глазика. С чмоканьем. Один за другим: чмок-чмок!...

Танцуя всем телом и чудом сохраняя равновесие, Федя начал оголтело запихивать струю в штаны, как змею в мешок. Пестик заводило взбесившимся шлангом... и Федя... не сохранив равновесия... с криком упал обреченно вперёд, не переставая соединяться с заливом. Казалось, его стянули за струю. Он так и не увидел того, кто ему всё это организовал, – не-ко-гда было: Федя размашисто спасал свою жизнь. Его никто не доставал...

Знаете, о чём я всегда думаю на торце, лицом к морю, когда рядом весна, и утки, и солнце, вот такое, разлитое по воде? Я думаю всегда: как бы не стянули за струю, и мне всегда кажется, что кто-то за спиной уже готов толкнуть меня, сначала вперёд, а потом – сразу назад.

Щель

(вообще не читай)

Стояли мы в заводе. Ветер прижимной, а наше фанерное корыто, скрипя уключинами, должно было, как на грех, перешвартоваться и встать в щель между «Михаилом Сомовым» (он ещё потом так удачно замёрз во льдах, что просто загляденье) и этой дурой-Октябриной – крейсером «Октябрьская революция». Там нам должны были кран-балку вмяндячить. А командир у нас молодой, только прибыл на борт, только осчастливил собой наш корабль. Он говорит помощнику:

– Григорий Гаврилович, я корабль ещё не чувствую и могу не попасть при таком ветре в эту половую щель. Так что вы уж швартуйтесь, а я пока поучусь.

У нашего помощника было чему поучиться. Было. Корабль он чувствовал. Он его так чувствовал, что разогнал и со скоростью двенадцать узлов, задом, полез в щель.

Командира, стоявшего при этом на правом крыле мостика, посетило удивление; коснулось его, как говорят поэты, одним крылом. Особенно тогда, когда за несколько метров до щели выяснилось, что мы задом летим на нос «Мише Сомову».

Помощник высунулся с белым лицом и сказал:

– Товарищ командир, по-моему, мы не вписываемся в пейзаж. Всё, товарищ командир, по-моему...

И тут командир почувствовал корабль.

– И-и-я!!! – крикнул он в прыжке, а потом заорал. – ВРШ – четыре с половиной!

И наша фанерная контора, после этих ВРШ, пронеслась мимо «Товарища Сомова» с радостным ржаньем.

Нам снесло все леерные стойки с правого борта, крыло мостика как корова языком слизнула, а потом уже екнуло об стенку. А ВРШ – это винт регулируемого шага, если интересуетесь; без него не впишешься в щель.

Когда мы стукнулись, помощник выскочил на причальную стенку и побежал по ней, закинув рога на спину. Командир бежал за ним, махал схваченной по дороге гантелью и орал:

– Гав-но-о!!! Лучше не приходи! Я тебе эту гантель на голове расплющу! Расшибу-у! Ты у меня почувствуешь! У-блю-док!!!

Не бегите за бегущим

Если человек бежит, не надо его останавливать. Чёрт с ним, пусть бежит. И не надо кричать ему: «Стой! Назад! Стоять, орлик! Па-дай-ди-те сю-да!». Не надо кричать, бросаться наперерез или чем-нибудь вслед. Всё это чревато. Сейчас объясню чем.

Кто по первому снегу, абсолютно голым, пробежит через плац? Только курсант военно-морского училища, «будущий офицер». Почему голым? А спор такой. Почему по снегу? А чтоб остались следы, поражающие воображение тех, кто не видел это зрелище лично. Бег начинается в 17.00, когда дежурный по училищу, древний капитан первого ранга, готовится к смене с вахты (безмятежный) и юные леди изо всяких училищных контор, щебеча, направляются к выходу. И тут их настигает «танец ягодиц», обычно скрытый под «кимоно». То, что у бегуна спереди, конечно, тоже танцует во все стороны, но воображение свидетелей почему-то навсегда поражает именно «танец ягодиц». Бесплезно потом вызывать и строить подозрительные роты. Бесплезно проверять у них ноги на тот предмет, у кого они краснее. Найти этого гуся лапчатого, этого гадёныша мелкого невозможно. И начальник училища, до которого докатится народная молва, всё равно вычислит и пригласит того дежурного, у которого конец вахты украсился «танцем ягодиц», и скажет ему: «Ну, что ж вы так, Иван Никитич...» – и на боевую, умудренную, босоногую голову Иван Никитича

последовательно выльется и нахлобучится несколько ночных горшков.

Дежурный по училищу, капитан первого ранга, седой, шаркающий, в заслуженных рубцах (на шее, на щеках и в остальных местах), шёл задумчивый через плац.

Старые капитаны первого ранга задумчивы, как водовозные лошади, когда, понутив голову, идут они себе еле-еле и смотрят перед собой, поводя ушами и отгоняя мух (лошади, конечно); хотел бы я знать, о чём они думают (капитаны первого ранга, конечно).

И вдруг мимо что-то проскочило. Таким быстрым скоком-полускоком. Дежурный поднял свою дремучую голову и... увидел «танец ягодиц».

Военнослужащий в основном состоит из рефлексов, и потому дежурный рефлекторно бросился вперёд исполнять свой воинский долг. С гамом, что-то улюлюкая, заливаясь, раньше чем сообразил; то есть он бросился вслед за бегущим с криком: «Стой! Назад! Я кому сказал! Па-дай-ди-те сю-да!». Вы никогда не видели, как бежит капитан первого ранга, исполняющий свой воинский долг? Это ошеломляющее зрелище: у него всё дёргается на бегу, как если б он сидел на заборе, а забор тот под ним скакал, – и в лице у него при этом что-то судорожное-судорожное.

Не везде на территории училищной встречается асфальт, иногда встречается плитка. Дежурный на бегу вступил на плитку, поскользнулся и сопаткой вперёд, теряя с лица что-то ответственное, упал, ударился оземь. Во все стороны. Рухнул, короче, и рассыпался, как хрустальный стакан: кобура, пистолет, фуражка, пенсне и сам дежурный. Его подняли потом, конечно, оторопелого, вызвали, естественно, куда надо и объяснили, когда он окончательно пришёл в себя, что бежать за бегущим всё-таки не следует...

Эту историю я вспомнил тогда, когда стоял дежурным по дивизии атомных ракетноносцев. (Всего один месяц заступал, а сколько потом впечатлений). Было полярное лето, и ракетноносцев на дивизии почти не наблюдалось. Я был старшим в экипаже – сидел и сторожил матросиков, – и меня на это дежурство отловили. Отловили так: бегу я по ПКЗ, где в то время гнезвился наш штаб, и тут вдруг открывается какая-то дверь, и из неё вылетает старший помощник начальника штаба.

– Стой! – говорит старший помощник. – Вы кто?

– Я? Химик...

– Никуда не уходите, сейчас заступите дежурным по дивизии.

– Так... я же химик, а там вроде командиры заступают...

– Ну и что, что химик. Не медик же.

Точно. Химик – это не медик. Медик – последняя степень офицерского падения. Так что заступил я. На целый месяц. Стояли мы на пару с одним орлом. (Нашли ещё одного недоношенного). Через день – на ремень. Встречались мы с ним при смене с вахты; встречались при смене, показывали друг на друга издали пальцами и кричали:

– Ой! Кто это у нас там стоит! Дежурным по Советскому Союзу?!

Снять нас с вахты было невозможно. Просто нечем было заменить. Но, конечно, мечты относительно этого у начальства имелись. Начштаба как увидел меня впервые заступившим, так от жгучего желанья тут же меня куда-нибудь убрать даже заскулил. Закончив скулить, он проорал:

– Что это за кортик? На вас?! Только не надо прятать его за бедро. Где набалдашник?! А? Что? Что вы там бормочете? Доложите внятно. А? Что?

Потеряли? Когда потеряли? Десять лет назад? Потеряли – слепите из пластилина! А? Что? Нет пластилина? Из говна слепите! Из дерева вырежьте! Считайте себя снятым, если через пять минут... А? Что?...

Конечно, он меня не снял бы – стоять-то всё равно некому, но через пять минут я уже достал новый кортик и скребся под его дверь, чтоб доложить об устранении замечания; но доложить я не смог – начштаба к тому времени уже унёс куда-то в сторону вихрь, поднятый очередной комиссией.

Мы – дежурные по дивизии – старались не попадать под комиссию: прятались по углам и за шкафы.

Но ночью, когда наше начальство попадает, наконец, к себе в койку, дежурный по дивизии сам становится начальством и сам ходит и спрашивает со всех подряд по всей строгости.

Вышел я в своё первое дежурство ночью на территорию, чтобы проверить несение дежурно-вахтенной службы (всё это сдуру, конечно, потому что в обычной жизни я нормальный человек), и увидел я, что по военному городку в два часа ночи шляется целая стая матросов, непуганых, как тараканы на камбузе. Они меня почти не замечали, но каким-то образом всё время держали дистанцию.

Первым желанием было, конечно, броситься за ними с криком: «Стой! Назад! Ко мне!», – и всех переловить, а потом я подумал: а может, так оно и надо? Может, я сейчас нарушу своим вмешательством природную гармонию, чудесное природное равновесие? Я был так поражен этой мыслью, что совершенно потерял координацию движения, повернулся на одном месте и пошёл спокойно спать.

А утром нам дали третьего дежурного. (Наверное, для того, чтоб безболезненно можно было с вахты снимать). Третий был молодой, цветущий, сильный, только из отпуска, старпом Вася.

– Вася! Заступил! Дежурным! По Советскому! Союзу! – заорал он, заступив, и засмеялся, счастливый. Так ему было хорошо после отпуска.

На следующий день я его не узнал: какой-то хмурый, расплзающийся по шву рыдван.

– Что стряслось, – спросил я его, – в королевстве датском?

– А-а-й! – махнул он рукой так, что фуражка съехала на висок. Он хромал на одну ногу, а другую (ногу) приставлял к первой по дуге окружности.

– Ка-ко-й я коз-зёл! – припадая к собственным коленям, говорил он и, закрыв глаза, быстро-быстро бил себя ладонью в лоб.

– А что такое? – интересовался я.

– Ну пройди ты мимо! – продолжал он бить себя в лоб. – Ну пройди! Во! Гавайский дуб! – и он рассказал, как ночью он вышел сдуру проверить территорию и увидел стаю матросов. Рефлексы при этом у него сработали. «Стой на месте! Подойди сюда! – заорал он. – Товарищ матрос!» Ближайший, метров за сто, «товарищ матрос», услышав его, не спеша повернулся, посмотрел, «кто у нас там», а потом, подхватив одной рукой другую, показал ему условный знак «на, подавись!» – до плеча: после этого «товарищ матрос» побежал.

«А-а!» – заорал от оскорбления старпом Вася, дежурный по Советскому Союзу, и бросился вперёд так быстро, что у него вышли смест коленные чашечки. Он упал и ударился чашечками и локтями, и потом, когда он

поднялся, у него ещё и нога подвернулась в ботинке. А военно-морская нога подворачивается в ботинке и в ту, и в другую сторону. Еле дополз. Одно колено он за ночь привёл в чувство, а второе нет.

– Ну какой я козёл! – всё сокрушался и сокрушался старпом Вася, а я тогда подумал: «Не бегите за бегущим!» – и ещё подумал: «Так тебе и надо. Не нарушай гармонию».

Не для дам

Вернемся к вопросу о том, с кем мы, офицеры флота, делим свои лучшие интимные минуты, интимно размножаясь, а проще говоря, плодясь со страшной силой.

Просыпаешься утром, можно сказать даже – на подушке, а рядом с тобой громоздится чей-то тройной подбородок из отряда беспозвоночных. Внимательно его обнюхиваешь, пытаешься восстановить, в какой подворотне ты его наблюдал. Фрагменты, куски какие-то. Нет, не восстанавливается. Видимо, ты снял эту Лох-Несси, эту бабушку русского флота, это чудище северных скал одноглазое в период полного поражения центральной нервной системы, когда испытываешь половое влечение даже к сусликовым норкам.

Иногда какой-нибудь лейтенант до пяти утра уламывает у замочной скважины какую-нибудь Дульцинею Монгольскую и, уломав и измучась в бельё, спит потом, горемыка, в автобусе, примёрзнув исполнительной чёлкой к стеклу.

Таким образом, к тяготам и лишениям воинской службы, организуемым самой службой, добавляется ещё одна тягота, разрешение от которой на нашем флоте издавна волнует все иностранные разведки.

Проиллюстрируем тяготу, снабдив её лишениями.

Начнем прямо с ритуала.

Подъём военно-морского флага – это такое же ритуальное отправление, как бразильская самба, испанская коррида, африканский танец масок и индийское заклинание змей. На подъём флага, как и на всякий ритуал, если ты используешься в качестве ритуального материала, рекомендуется не опаздывать, иначе ты услышишь в свой адрес такую чечёточку, что у тебя навсегда отложится: этот ритуал на флоте – главнейший.

Уже раздалась команда: «На флаг и гюйс...» – когда на сцене появился один из упомянутых лейтенантов. На его виноватое сюсюканье: «Прошу разрешения встать в строй...» – последовало презрительное молчание, а затем раздалась команда: «Смир-на!!!». Лейтенант шмыгнул в строй и замер.

Вчера они сошли вдвоём и направились в кабак на спуск паров, а сегодня вернулся почему-то только один. Где же ещё один наш лейтенант? Старпом, крёстный отец офицерской мафии, скосил глаза на командира. Тот был невозмутим. Значит, разбор после построения.

Не успел строй распуститься, не успел он одеться шелестом различных команд, как на палубе появился ещё один, тот самый недостающий лейтенантский экземпляр. Голова залеплена огромным куском ваты, оставлены только три дырки для глаз и рта. Вот он, голубь.

– Разберитесь, – сказал командир старпому, – и накажите.

Старпом собрал всех в кают-компани.

– Ну, – сказал он забинтованному, – сын мой, а теперь доложите, где это вас ушибло двухтавровой балкой?

И лейтенант доложил.

Пошли в кабак, сняли двух женщин и, набрав полную сетку «Алазанской долины», отправились к ним. Квартира однокомнатная. То есть пока одна пара пьёт на кухне этот конский возбудитель, другая, проявляя максимум изобретательности, существенно раздвигает горизонты камы-сутры, задыхаясь в ломоте.

Окосевшее утро вылило, в конце концов, за окошко свою серую акварель, а серое вещество у лейтенантов от возвратно-поступательного и колебательно-вращательного раскаталось, в конце концов, в плоский блин идиотов.

Уже было всё выпито, и напарник, фальшиво повизгивая, за стенкой доскребывал по сусечкам, а наш лейтенант в состоянии слабой рефлексии сидел и мечтал, привалившись к спинке стула, о политинформации, где можно, прислонившись к пиллерсу, целый час бредить об освобождении арабского народа Палестины.

И тут на кухню явилась его Пенелопа.

– Не могу, – сказала Пенелопа суровая, – хочу и всё!

Офицер не может отказать даме. Он должен исполнить свой гражданский долг. Лейтенант встал. Лейтенант сказал:

– Хорошо! Становись в позу бегущего египтянина!

Пенелопа как подрубленная встала в позу бегущего египтянина, держась за газовые конфорки и заранее исходя стоном египетским. Она ждала, и грудь её рвалась из построшков, а лейтенант всё никак не мог выйти из фазы рефлексии, чтоб перейти в состояние разгара. Ничего не получалось. Лейтенант провёл краткую, но выразительную индивидуально-воспитательную работу с младшим братом, но получил отказ наотрез. Не захотел члентано стачиваться на карандаш – и всё. Ни суровая встряска, ни угроза «порубить на пятаки» к существенным сдвигам не привели.

Девушка стынет и ждёт, подвывая, а тут... И тут он заметил на столе вполне приличный кусок колбасы. Лейтенант глупо улыбнулся и взял его в руки.

Целых десять минут, в тесном содружестве с колбасой, лейтенант мощно и с подсосом имитировал движения тутового шелкопряда по тутовому стволу.

Девушка (дитя Валдайской возвышенности), от страсти стиснув зубы, крутила газовые выключатели, и обсуждаемый вопрос переходил уже в стадию судорог, когда на кухню сунулась буйная голова напарника.

– Чего это вы здесь делаете? – сказала голова и добавила: – Ух ты...

Голова исчезла, а дверь осталась открытой.

– Закрой, – просквозила сквозь зубы «Валдайская возвышенность», и он, совершенно увлекшись, не прекращая движения, переложил колбасу в другую руку, сделал два шага в сторону двери и закрыл её ногой.

Пенелопа, чувствуя чешуей, что движения продолжаются, а он закрывает дверь вроде бы даже ногой, оглянулась и посмотрела, чем это нас там. Выяснив для себя, что не тем совершенно, о чём думалось и страдалось, она схватила с плиты сковороду и в ту же секунду снесла лейтенанту башку.

Башка отлетела и по дороге взорвалась.

Через какое-то время лейтенант очнулся в бинтах и вате и, шатаясь, волоча рывками на прицепе натруженные гонады, как беременная тараканиха, – он явился на борт.

– Уйди, лейтенант, – сказал старпом среди гомерического хохота масс, – на сегодня прощаю за доставленное удовольствие.

Нэнси

Нэнси – это баба. Американская. Баба-генерал. И не просто генерал, а ещё и советник президента. Говорят, что она отжимается от пола ровно столько, сколько и положено отжиматься американскому генералу и советнику президента.

И приехала она к нам на Север только потому, что в стране нашей в тот период наблюдалась перестройка, и приехала она исключительно ради того, чтоб отследить, так ли мы лихо перестраиваемся, как это мерещится мировому сообществу.

Непосредственно перед её приездом все наши подышающие на ходу боевые корабли, чтоб избежать несмываемого позора разоблачения, выгнали в море, а те, что в ходе реализации наших мирных инициатив были искалечены так, что без посторонней помощи передвигаться не могли, замаскировали у пирса – завесили зелёными занавесками – маскировочными сетями. В посёлке навели порядок: покрасили, помыли, подмели, а в казарменном городке построили ещё один забор и отгородили им это наше сползающее самостоятельно в залив ублюдище – единственную в мире одноэтажную хлебопекарню барачного типа, выпекающую единственный в мире кислый хлеб. В зоне тоже всё прибрали и стали ожидать.

И вдруг до кого-то дошло, что Нэнси всё-таки баба (не то чтобы это не было ясно сразу, но специфическое устройство женского мочевыводящего канала как-то не сразу приложилось к понятию «генерал»), а вдруг ей приспичит? и вдруг это произойдёт на пирсе, а на пирсе у нас гальюнов нет. Вот разве что на торце пирса, но там не гальюн, там просто «место», там просто открытое море, где подводники всех рангов, давно привыкшие ко всему, запросто мочатся в воду в любой мороз.

И если Нэнси вдруг приспичит, то нельзя же ей предложить сходить на торец, где все наши ножку задирают!

Было принято решение срочно выстроить для неё на одном из пирсов гальюн. И выстроили. С опережением графика. И тут кому-то пришло в голову, что нужно поставить в него биде.

– Че-го?! – спросил наш Вася-адмирал, дипло-омат херов.

– Биде.

– А это как, что?

– А это, товарищ адмирал, как сосуд для подмывания.

– Для подмывания?! – и тут Вася-адмирал в нескольких незатейливых выражениях очень вкусно описал и способ подмывания как таковой, и предмет обмывки, и Нэнси, счастливую обладательницу этого предмета, и всех её родственников, и группу московских товарищей, которые устроили ему и Нэнси с предметом, и всю эту жизнь с биде.

За биде послали одного очень расторопного старшего лейтенанта. Он

обшарил весь Кольский полуостров и нашёл биде только в одном месте – в гостинице «Арктика». Там и взял, и привёз, и его в ту же ночь установили.

Но скоро выяснилось, что из этого предмета туалета вверх должна бить не ледяная струя, а тёплая. Предложение подвести пар, чтоб где-то там по дороге нагреть им воду до нужной температуры, отпало сразу, потому что сразу стало ясно, что в самый ответственный момент все всё перепутают и подадут пар напрямую и сварят Нэнси, бабу-генерала, вкрутую. Поэтому решили так: решили надеть на биде шланг и на другом конце шланга поставить матроса с кружкой горячей воды, и, только Нэнси заходит в гальюн, матрос – тут как тут – льет из кружки воду через воронку в шланг, и она пошла-пошла по шлангу и, в конце концов, подмыла генерала. И, поскольку матросы у нас все недоумки, то, чтоб он действительно налил и не промазал, а то потом с кружкой далеко бежать, поставили руководить всей этой процедурой мичмана. И тренировку провели. По подмыванию. Один мичман, изображающий Нэнси, заходит в гальюн, другой делает матросу-недоумку отмашку – «Лей!»; недоумок льет, а мичман из гальюна кричит: «Есть вода!»

И вот приехала Нэнси. Вся база, затаив дыхание, ждала, когда её из шланга подмывать начнут. Все ходили за ней, и глаза у них блестели от ожидания, и этот блеск их как-то всех объединял. Но Нэнси не интересовалась ни гальюнами, выстроенными в её честь, ни биде. Она интересовалась нашими лодками. Фотографировать ей не разрешили, но с ней были два рисовальщика, которые во мгновение ока зарисовали базу, подходы к ней, высоты, острова, скалы, пирсы, а когда ветром приподняло сети, то и подводные лодки.

И ещё Нэнси очень хотела увидеть какого-нибудь нашего командира, который за шестьдесят долларов в месяц вместе с подоходным налогом, а может быть и без него, противостоит их командиру, который получает двенадцать тысяч чистыми на руки. Ей его так и не показали. Зато её накормили, напоили, и даже наш адмирал Вася, дипломат херов, речь произнёс.

Нэнси пробыла в базе девять часов. За это время она ни разу не попросилась в гальюн.

Хайло

Это нашего старпома так звали. Обычно после неудачной сдачи задачи он выходил перед нашим огромным строем, снимал фуражку и низко кланялся во все стороны:

– Спасибо, (ещё ниже) спасибо... спасибо... обкакали. Два часа на разборе мне дерьмо в голову закачивали, пока из ушей не хлынуло. Спасибо! Работаешь, как негр на плантации, с утра до ночи в перевернутом состоянии, звёзды смотрят прямо в очко, а тут... спасибо... ну, теперь хрен кто с корабля сойдёт на свободу. По-хорошему не понимаете. Объявляю оргпериод на всю оставшуюся жизнь. Так и передайте своим мамочкам.

Потом он надевал фуражку набекрень, осаживался и добавлял: «Риф-лё-ны-е па-пу-а-сы! Перья распушу, вставлю вам всем в задницу и по ветру пущу! Короче, фейсом об тейбол теперь будет эври дей!»

Старпом у нас был нервный и нетерпеливый. Особенно его раздражало,

если кто-нибудь в люк центрального опускается слишком медленно, наступая на каждую ступеньку, чтоб не загреметь, а старпом в это время стоит под люком и ему срочно нужно наверх. В таких случаях он задирает голову в шахту люка и начинал вполне прилично:

– Чья это там фантастическая задница, развевающаяся на ветру, на нас неукротимо надвигается?

После чего он сразу же терял терпение: «А ну скорей! Скорей, говорю! Швыдче там, швыдче! Давай, ляжкой, ляжкой подрабатывай! Вращай, говорю, суставом, грызло конское, вращай!».

Потеряв терпение, он вопил: «Жертва аборта! Я вам! Вам говорю! И нечего останавливаться и смотреть вдумчиво между ног! Что вы ползёте, как удивленная беременная каракатица по тонкому льду?!».

«Удивленная беременная каракатица» сползала и чаще всего оказывалась женщиной, гражданским специалистом.

И вообще, наш старпом любил быстрые, волевые решения. Однажды его чуть крысы не съели. Злые языки рассказывали эту историю так.

Торжественный и грозный старпом стоял в среднем проходе во втором отсеке и в цветных выражениях драл кого-то со страшной силой:

– ...Вы хотите, чтоб нам с хрустом раскрыли ягодицы?... а потом длительно и с наслаждением насильовали?... треснувшим черенком совковой лопаты... вы этого добиваетесь?...

И тут на него прыгнула крыса. Не то чтобы ей нужен был именно старпом. Просто он стоял очень удобно. Она плюхнулась к нему на плечо, пробежала через впуклую грудь на другое плечо (причём голый крысиный хвост мазанул старпома по роже) и в прыжке исчезла.

Старпом, храня ощущение крысиного хвоста, вытащил глаза из амбразур и как болт проглотил. Обретя заново речь, он добрался на окосевших ногах до «каштана» и завопил в него:

– Ме-ди-ка-сю-да! Этого хмыря болотного! Лейтенанта Жупикова! Где эта помятая падла?! Я его приведу в соответствие с фамилией! Что «кто это»? Это старпом, куриные яйца, старпом! Кто там потеет в «каштан»?! Кирпич вам на всю рожу! Выплюньте всё изо рта и слушайте сюда! Жупикова, пулей чтоб был, теряя кал на асфальт! Я ему пенсне-то вошью!...

Корабельные крысы находятся в заведовании у медика.

– Лейтенанту Жупикову, – передали по кораблю, – прибыть во второй отсек к старпому.

Лейтенант Жупиков двадцать минут метался между амбулаторией и отсечными аптечками. На амбулатории висел амбарный замок, у лейтенанта не было ключа (химик-санитар, старый козёл, закрыл и ушёл в госпиталь за анализами). Лейтенанту нужен был йод, а в отсечных аптечках ни черта нет (раскурочили, сволочи). На его испуганное: «Что там случилось?», ему передали, что старпома укусила крыса за палец и теперь он мечтает увидеть медика живьём, чтобы взвесить его сырым.

Наконец ему нашли йод, и он помчался во второй отсек, а по отсекам уже разнеслось:

– Старпома крысы сожрали почти полностью.

– Иди ты...

– Он стоит, а она на него шась – и палец отхватила, а он её журналом хрясь! и насмерть.

- Старпом крысу?
- Нет, крыса старпома. Слушаешь не тем местом.
- Иди ты...
- Точно...

Лейтенант прилетел как ошпаренный, издали осматривая пальцы старпома. От волнения он никак не мог их сосчитать: то ли девять, то ли десять.

– Подойдите сюда! – сказал старпом грозно, но всё же со временем сильно поостыв. – Куда вас поцеловать? Покажите, куда вас поцеловать, цветок в проруби? Сколько вас можно ждать? Где вы всё время ходите с лунным видом, яйца жуёте? Когда этот бардак прекратится? Да вы посмотрите на себя! У вас уже рожа на блюде не помещается! Глаз не видно! Вы знаете, что у вас крысы пешком по старпому ходят? Они же у меня скоро выгрызут что-нибудь – между прочим, между ног! Пока я ЖБП писать буду в тапочках! Только не юродствуйте здесь! Не надо этих телодвижений! Значит так, чтоб завтра на корабле не было ни одной крысы, хоть стреляйте их, хоть целуйте каждую! Как хотите! Не знаю! Всё! Идите!

И тут старпом заметил йод, и лицо его подобрело.

– Вот Жу-упиков, – сказал он, старательно вытягивая «у», – молодец! Где ж ты йод-то достал? На корабле же ни в одной аптечке йода нет. Вот, кстати, почему все аптечки разукомплектованы? Выдра вы заморская, а? Я, что ли, за этим дерьмом следить должен? Вот вы мне завтра попадётся вместе с крысами! Я вам очко-то проверну! Оно у вас станет размером с чашку петри и будет непрерывно чесаться, как у пьяного гамадрила с верховьев Нила!

Слышали, наверное, выражение: «Вот выйдешь, бывало, раззявишь хлебало, а мухи летать и летать»? Именно такое выражение сошло с лица бедного лейтенанта после общения со старпомом.

Но должен вам поведать, что на следующий день на корабле не было ни одной крысы. Я уж не знаю, как Жу-упикову это удалось? Целовал он их, что ли, каждую?

Парад

Праздничный парад. Офицерскую «коробку» – восемь на шестнадцать – привезли на площадь заранее. Начинается отстой. Морозно. Холод залезает в рукава, в брюки и кусается за офицерские ляжки.

Шинель – тропическая форма одежды. От тропиков до полюса офицер флота российского носит шинель. Различаемся только нижним бельём. Б-р-р! Холодрыга. Не очень-то и постоишь. Чёрт побори!

По случаю холода строй гудит. К строю подходит старший офицерской «коробки» капитан первого ранга в «шапке с ручкой».

Вопрос: «Зачем капитанам первого ранга «шапка с ручкой»?

Ответ: «Чтоб бакланы не гадили на рожу!» – «А у кого нет шапки?» – «Пускай гадят».

– Прекратить болтовню в строю!

Из строя:

– Не кисло! А чего потом-то?

– А он и сам не знает.

- Прекратить разговоры!
- Гул слабеет и переносится в середину строя.
- Рав-няй-сь!... Сми-р-но-о!... Воль-но!...
- «Старший», потоптавшись, отходит. Холод и бесцельное ожидание надоели и ему. У нас всегда так: выгонят «народ» заранее, и – полдня стоишь.
- Середина начинает гудеть – как улей, потерявший матку. Слышны только те фразы, что громче общего фона.
- А если в строю не болтать непрерывно, то чем же в строю непрерывно заниматься?
- Непрерывно равняться.
- Чего стоим-то?
- Ефрейторский зазор.
- А то б походили б, поорали б что-нибудь... героическое...
- Ну и глупый же я...
- Чего ж так поздно?
- Ну не-ет, войну мы выиграем... мы её начнем... заранее...
- Чтобы встретить ядерный взрыв в строю и при всеоружии, надо сделать что?
- Что?
- Надо всех построить и не распускать строя...
- Ну и праздник! Хуже субботы!
- У военных не бывает праздников. У них есть только мероприятия по подготовке к празднованию и план устранения замечаний...
- Вадик, а Вадик, я никак не пойму, чем мне нравится твоя кургузая шинель? Ты что, в ней купаешься, что ли? Или бетон месишь?
- Я в ней плавал по заливу...
- Ботиночки-то на тонкой подошве...
- Это не ботиночки, а слёзы скорохода...
- А завтра ещё и строевая прогулка...
- Кто сказал?
- Не «кто сказал», а по плану...
- Это в выходной-то! Ну, собаки...
- Интересно, кто её придумал?
- Тот, кто её придумал, давно умер и не успел сообщить, для чего же он это сделал.
- Прогулка нужна для устрашения...
- Ага, гражданского населения. «Пиджаки» совсем охамели...
- Прогулка нужна для укрепления боеготовности.
- Да для её укрепления я даже сейчас готов снять штаны и повернуться ко всем голой...
- Во холодрыга! Насквозь пробирает! У меня уже писька втянулась вместе с ребятами, и остались три дырки...
- Офонарели они, что ли?! Я же с каждой минутой теряю политическую бдительность!...
- Сейчас чаю бы...
- Лучше водки...
- Размечтался...
- И ба-бу бы...

– Ну, началось...

– А ты знаешь здешнюю формулу любви?

– Ну-ка?

– Стол накрыт, женщины ждут, и никто не узнает.

– Надо попрыгать, а то застудят мне братана, чем я потом размножаться-то буду? У меня ж редкий генетический код!

– Да ну-у!

– Не «да-ну-у», а ну да!

Строй колыхнется, подпрыгивает, в середине уже толкаются, чтоб согреться. «Старший» подаёт команду:

– Курить! С мест не сходить! Окурки – в карман!

– Чего он сказал?

– Курить, говорит, на месте, а окурки – в карман соседу.

Строй доволен. Строй закуривает. Клубы дыма, сквозь которые видны головы.

– Давно бы так...

– Вадя, а ты уже дымишь из кармана.

– Какая собака подложила?! Ты, что ли?!

– С-мир-на!!!

– Курение прекратить!

Прибыл самый главный морской начальник. Строевым шагом «старший» – к нему. Аж трясется от напряжения, бедненький. Главный начальник идёт вразвалочку. Вот этим отличается флот от армии: младший рубит строевым, старший – вразвалочку. В армии рубят одинаково.

– З-з-дра-в-с-твуй-те, то-ва-ри-щи!

– Здрав-жела-това-щ-капитан пер-ранга!!!

– Па-аз-драв-ля-ю ва-с!...

Короткое гавкающее троекратное «ура».

– К тор-жест-вен-но-му маршу!... В-оз-на-ме-но-вание!... По-рот-но!... На од-но-го ли-ней-но-го дис-тан-ции!... Первая ро-та пря-мо!... Ос-таль-ны-е на-пра-во!... Рав-нение на-пра-во!... Ша-го-м!... Ма-р-ш!...

Офицерская «коробка» поворачивает и идёт на исходную позицию. «Старший» суетится, забегает, что-то вспоминает – перебежками к последней шеренге, где собрана вся мелкота.

– Последняя шеренга, последняя шеренга, – шипит он с придыханием, – равнение, не отставать! По вам будут судить о всем нашем прохождении! Вы – наше заднее лицо! Так что не уроните! Ясно?!

– На-ле-во!... Пря-ма-а!!!

Одеревеневшие ноги бьют в землю. Шеренги... шеренги... студеные лица...

– ...подтянулись!... Ногу... ногу взяли! Равнение направо!...

Огромными прыжками, непрестанно матерясь, догоняет остальных последняя шеренга... наше заднее лицо... Она не уронит...

Ой, мама!

Отрабатывалась торпедная стрельба. Подводный ракетно-ядерный крейсер метался в окружении сейнеров. Сейнеры были начеку: гигант мог и придавить; а когда гиганту пришла пора сделать залп, он его сделал, спутав

сейнер с кораблями охранения.

Вдруг всем стало не до рыбы. Торпеды выбрали самый жирный сейнер и помчались за ним. Сейнер, задрав нос, удирал от них во все лопатки.

– Мама, мамочка, мама!!! – передавал радист вместо криков «SOS».

– Он что там, очумел, что ли? – интересовались в центре и упрямо вызывали сейнер на связь.

– Самый полный вперёд, сети долой!!! – кричал сразу осевшим голосом капитан. Его крик далеко разносился над морской гладью, и казалось, это кричит сам сейнер, удиравший грациозными прыжками газели Томпсона. За ним гнались две учебные торпеды, отмечавшие свой славный путь маленькими ракетками.

– Иду на «вы»! – означало это на торпедном языке. На мостике это понимали и так, а когда до винтов оставалось метра полтора, обитатели мостика, исключая капитана, вяло обмочились.

Капитан давно уже стоял, крепко упёршись в палубу широко разбросанными ногами. Капитан ждал.

Только мотористы, скрытые в грохочущем чреве, были спокойны. Лошадям всё равно, кто там сверху и как там сверху; и чего орать – добавить так добавить, был бы приказ, а там хоть всё развалилось.

– А что потом? – вероятно, всё же спросите вы.

– А ничего, – отвечаем вам, – сейнер убежал от торпед.

Собака Баскервилей

Перед отбоем мы с Серёгой вышли подышать отрицательными ионами.

Боже! Какая чудная ночь! Воздух хрустальный; природа – как крылышки стрекозы: до того замерла, до того, зараза, хрупка и прозрачна. Чёрт поberi! Так, чего доброго, и поэтом станешь!

– Серёга, дыши!

– Я дышу.

Тральщики ошвартованы к стенке, можно сказать, задней своей частью. Это наше с Серёгой место службы – тральщики бригады ОВРа.

ОВР – это охрана водного района. Как засунут в какой-нибудь «водный район», чтоб их, сука, всех из шкурки повытряхивало, – так месяцами берега не видим. Но теперь, слава Богу, мы у пирса. Теперь и залить в себя чего-нибудь не грех.

– Серёга, дыши.

– Я дышу.

Кстати о бабочках: мы с Серёгой пьем ещё очень умеренно. И после этого мы всегда следим за здоровьем. Мы вам не Малиновский, который однажды зимой так накушался, что всю ночь проспал в сугробе, а утром встал как ни в чём ни бывало – и на службу. И хоть бы что! Даже насморк не подхватил. О чём это говорит? О качестве сукна. Шинель у него из старого отцовского сукна. Лет десять носит. Малину теперь, наверное, в запас уволят. Ещё бы! Он же первого секретаря райкома в унитазе утопил: пришёл в доф пьяненький, а там возня с избирателями, – и захотел тут Малина. По дороге в галюн встретил он какого-то мужика в гражданке – тот ему дверь загораживал. Взял Малина мужика за грудь одной рукой и молча окунул его в толчок. Оказался первый секретарь. Теперь уволят точно.

– Серёга, ты дышишь?

– Дышу.

Господи, какой воздух! Вот так бы и простоял всю жизнь. Если б вы знали, как хорошо дышится после боевого траления! Часов восемь походишь с тралом, и совсем по-другому жизнь кушается. Особенно если тралишь боевые мины: идёшь и каждую секунду ждешь, что она под тобой рванет. Пальцы потом стакан не держат.

– Серёга, мы себя как чувствуем?

– Отлично!...

– Ах, ночь, ночь...

– Ва-а-а!!!

Господи, что это?!

– Серёга, что это?

– А чёрт его знает...

– Ва-а-а!!!

Крик. Потрясающий крик. И даже не крик, а вой какой-то!

Воют справа по борту. Это точно. Звук сначала печальный, грудной, но заканчивается он таким звериным ревом, что просто мороз по коже. Лично я протрезвел в момент. Серёга тоже.

– Может это сирену включили где-нибудь? – спросил я у Серёги шёпотом.

– Нет, – говорит мне Серёга, и я чувствую, что дрожь его пробирает, – нет. Так воет только живое существо. Я знаю, кто это.

– Кто?...

– Так воет собака Баскервилей, когда идёт по следу своей жертвы...

– Иди ты.

В ту ночь мы спали плохо. Вой повторялся ещё раз десять, и с каждым разом он становился всё ужасней. Шёл он от воды, пробирал до костей, и вахтенные в ту ночь теряли сознание.

Утром всё выяснилось. Выл доктор у соседей. Он нажрался до чертиков, а потом высунулся в иллюминатор и завыл с тоски.

Личность в запасе

Если ваш глаз чем-нибудь раздражен, положите его на капитана первого ранга Платонова. На нём глаз отдыхает. Маленький, смиренный старичок в очках; выражение лица детское, шаловливое, с лукавинкой, особенно если он сидит в садике и читает центральные газеты. Ни за что не скажешь, что это легендарный подводник, командир, известный всему свету своими лихими маневрами, нестандартными решениями и ошеломительными выходками на берегу.

Как-то на курорте он подумал-подумал, напился крепенько и начал купаться Аполлоном, раздевшись до него, до Аполлона, прямо на пляже. Его тогда схватили, скрутили, ручонки за спину, дали по затылку и отвезли прямо в комендатуру, из которой он бежал, выломав доску в туалете. Но так он пил, конечно, очень редко.

Однажды на учении его лодка всплыла в крейсерское положение, и над её ракетной палубой тут же завис вертолёт непонятной национальности. Не так уж часто над подводниками зависают вертолёты, чтоб в них что-то

понимать.

– Штатники, наверное, – решил Платонов, – а может, англичане. Это их «си-кинг», скорее всего.

Потом он уснул всех вниз, а сам залез на рубку, снял штаны и, нагнувшись, показал мировому империализму свой голубой зад. Обхватив ягодицы, он там ещё несколько раз наклонился, энергично, на разрыв, чтоб познакомить заокеанских коллег со своими уникальными внутренностями.

Пока он так старался, с вертолётá донеслось усталым голосом командующего Северным флотом:

– Пла-то-нов! Пла-то-нов! Наденьте штаны! А за незнание отечественной военной техники ставлю два балла. Сдадите зачёт по тактике лично мне.

– Товарищ командующий, – спросила как-то эта легендарная личность на инструктаже перед автономкой, – а как вести себя при получении сигнала бедствия от иностранного судна?

– Пошлешь их подальше, ясно? – сказал командующий.

– Ясно, есть! – сказал Платонов. Он как в воду глядел. В конце автономки, на переходе в базу, при всплытии на сеанс связи поймали «SOS»; норвежский сухогруз тонет, на судне пожар, поступает вода.

Лодка всплыла, подошла к сухогрузу, с неё прыгнула аварийная партия. Потушили пожар, запустили машину, заткнули им дырки, снабдили топливом – и привет.

По приходе в базу он доложил по команде.

– А-а-а!!! – заорало начальство. – Боевая задача! Скрытность плавания! Два балла! – и подготовило документы об увольнении его в запас.

А норвежские моряки, зная, что у нас к чему, по своим каналам обратились и попросили наградить командира «К-420» капитана первого ранга Платонова за оказанную помощь.

– А мы его уже наградили, – ответили наши официальные органы.

– Награждён, награждён, – успокоили атташе.

– Ну, тогда пришлите нам письменное подтверждение, что вы его наградили, а мы у него потом возьмём интервью, – не унимались норвежцы.

Дело принимало международный оборот. Пришлось оставить его в рядах: вклеили ему выговор и тут же наградили каким-то орденом.

Норвежцы не успокоились до тех пор, пока и из своего правительства не выколотили для него ещё и норвежский орден.

Отдыхая после этого в Хосте и принимая первую в своей жизни сероводородную ванну, Платонов вдруг с удивлением приятно обнаружил, что его здоровьем интересуются: подошёл мужик в халате, пощупал пульс и спросил о самочувствии.

После ухода медперсонала Платонов встал, выбрался из ванны, надел на себя белый халат, висевший тут же на гвоздике, и в таком виде (халат до пола) с серьёзной рожой обошёл все кабины и у всех женщин проверил пульс и спросил о самочувствии. Тётки были удивлены и растроганы такой частой посещаемостью медперсонала.

Жена командующего очнулась первой: где-то она уже видела этого гномика; а когда они встретились в столовой, то Платонова уже ничто не могло спасти от увольнения в запас.

Без опозданий

Жена от Серёги Кремова ушла тогда, когда обнаружила в нём склонность к алкоголизму.

С этой минуты он напивался после службы каждый день. А чтоб на службу не опаздывать, он приходил в состоянии «насосавшись» в тот дом, где жил командир его боевой части Толик Толстых, поднимался на третий этаж и ложился перед дверью своего командира на половичок. Прямо в шинели, застегнутой на все пуговицы, и в шапке, натянутой на уши.

Каждое утро командир боевой части капитан второго ранга незабвенный Толик Толстых выходил из дверей и спотыкался о своего подчиненного: тот принципиально спал на пороге, лежа на спине строго горизонтально.

Толик спотыкался, обнаруживал Серёгу и раздражался речью следующего содержания:

– Ах ты кукла бесхозная, муфлон драный, титька кислая, гниль подкильная! Ах ты!...

Потом Толик Толстых очень долго желал Серёге, чтоб его схватило, скрутило и чтоб так трахнуло, так трахнуло обо что-нибудь краеугольное, чтоб он, Толик, сразу же отмучился. Заканчивал он всегда так:

– Ну ничего, ничего! Я тебе сейчас клизму сделаю. Профилактическую. Ведро глицерина с патефонными иголками. Ты у меня послужишь... Отчеству!...

Потом он всегда поднимал Серёгу, взваливал его на плечо и тащил на лодку.

Так что за десять лет их совместного проживания Серёга так ни разу на службу и не опоздал.

Служба

Чем занимается помощник оперативного бригады ОВРа Кронштадского водного района, если он уже два года как лейтенант, в меру нагл и зовут его Шура Бурденко? Конечно же, он занимается службой.

У Шуры рожа нахальная и любую фразу он начинает так: «Вот когда мы управляли тральщиком...»; а если требуется на ком-нибудь окончательно поставить точку, то следует: «Ну-ка, перестрой-ка мне строй уступа вправо в строй обратного клина». По телефону он представляется: «Оперативный!». А где при этом сам оперативный? При Шуре, который, стоя помощником, по молодости не спит вообще, оперативному дежурному делать нечего. Он либо смотрит телевизор, либо «харю давит», либо жрёт, либо гадит с упоением.

Всем в этом мире правит помощник. Всё на нём. Тайн в службе для Шуры не существует. Семёна романтики в душе его уже взошли чирьяками, а зад с определённых пор стремительно обрастает ракушками.

Звонок. Звонит оперативный базы. Шура берёт трубку и представляется:

- Оперативный!
- Так! Какой у вас дежурный тральщик?
- МТ-785.
- А поменьше есть?

- Есть, рейдовый, «Корунд».
- Значит так, со стенда кабельного размагничивания буй сорвало, отнесло его к Кроншлоту и бьёт о стенку. Разбудил полгорода. Пошлите туда это корыто, пусть его назад отволокут.
- Тык, товарищ капитан второго ранга, двадцать два часа уже, они там пьяные наверняка, может, утром?
- Что?! С кем я разговариваю? Что такое?! Кто пьяный? Вы пьяный?
- Никак нет!
- Тогда в чём дело?! Вы получили приказание? Что за идиотизм?
- Есть!
- Что «есть»?!
- Есть, послать корыто оттащить буй.
- И доложите потом.
- Есть.
- И приведите себя в порядок!
- Есть.
- Всё.
- Есть.

Коз-зёл! Шура устало поправил очки и аккуратно опустил на место трубку. Наберут на флот козлов трахомных! Этот оперативный – связист, а связисты – они вообще святые. «Они приказа-али», а ты бегай, как меченый зайчик. Невтерпеж им, видите ли! Шура взялся за трубку телефона:

- «Корунд», едрёна вошь!
- Есть.
- Кто «есть», бугель вам на всё рыло?!
- Мичман Орлов!
- Представляться надо, мочёная тётя, пьян небось?!
- Никак нет! В рабочем состоянии.
- Знаем мы ваши «состояния». Значит так, Орлуха, заводи свой керогаз и струячь к Кроншлоту. Там буй сорвало со стенда кабельного размагничивания. Прибило его к стенке и мочалит его об неё. Со страшной силой. Уши у населения вянут. За ноздрю его и назад к маме! Понял?
- Так точно!
- Давай, пошёл. Ноги в руки и доложите потом.
- Есть!

Конечно, Орлуха был в «рабочем состоянии», то бишь – пьян в сиську. Иначе он бы ничего не перепутал. К Кроншлоту он так и не дошёл. Он увидел по дороге какой-то беспризорный, как ему померещилось, буй («этот, что ли?»), заарканил его и начал корчевать.

Буй сидит на мёртвом якоре. Там ещё и бетонная нашлёпка имеется, но Орлухе было плевать. При-ка-за-ли.

Тральщик потужился-потужился – никак. Ах ты! Орлуха врубился на полную мощность. Его керогаз гору своротит, если потребуется.

И своротил. Буй сопротивлялся секунду-другую, а потом Орлуха его выдернул и проволоком его якорем по новым кабелям стенда кабельного размагничивания. Якорь пахал так, что вода кипела от коротких замыканий. Десять лет стенд ремонтировали и теперь одним махом всё свернули в трубочку.

Утром зазвенел телефон. Шура взял трубку:

– Оперативный.

Трубка накалилась и ахнула:

– Суки!!! – и дальше вой крокодила. – Сраная ОВРа (ав-ав)! Стая идиотов!... Распушенные кашалоты!... Задницы вместо голов!... Геморрой вместо мозга!... Давить вас в зародыше!... Да я вас... Да я вам! (Ав-ав-ав!)

Шура выставил трубку в иллюминатор, чтоб случайно в уши не попало.

А тот буй, что об Кроншлот ночью било, так и разбило, и он тихо булькнул.

Гарькуша

Гарькуша у нас командир тральщика и в то же время великолепный гонщик.

Переднее колесо у него на мотоцикле огромное, а заднее – маленькое. Гарькуша сидит на своём аппарате, как на пьедестале.

После каждого выхода в море он катается по посёлку, а за ним ВАИ гоняется. Вы бы видели эти гонки! Куда там американским каскадерам. Гарькуша несётся как птица, пьяненький, конечно, а сзади у него баба сидит, и юбка у бабы белая с синим, и развевается она, как военно-морской флаг, а на хвосте у них – ВАИ. Чтоб у них слюна непрерывно текла и глаза чтоб горели, он держит их от себя в пяти сантиметрах и смывается прямо из-под носа.

Сколько они на Гарькушу комбригу жаловались – не перечить. И всё без толку. А вчера он на мотоцикле на корабль въехал. На подъём флага они опаздывали. Только запикало – 8.00. – как с первым пиком он въехал на трап, по ступенькам вниз, потом промчался на ют, развернулся там на пяти квадратных сантиметрах, слез и, с последним пиком, скомандовал:

– Флаг поднять!

Комбриг будто шпагу проглотил: глаза выкатил, а изо рта – ма-ма! Потом он сделал несколько глотательных упражнений и сказал сифилитическим голосом:

– Гарь-ку-шу... ко мне...

Я говорю всем...

Я говорю всем: прихожу домой, надеваю вечерний костюм – «тройку», рубашка с заколкой, тёмные сдержанные тона; жена – вечернее платье, умелое сочетание драгоценностей и косметики, ребёнок – как игрушка; свечи... где-то там, в конце гостиной, в полутонах, классическая музыка... второй половины... соединение душ, ужин, литература, графика, живопись, архитектура... второй половины... утонченность желаний... и вообще...

Никто не верит!

Своими руками

Зам любил говорить с народом. Он рассказывал массу хороших, поучительных историй, но перед каждой историей в небольшой предисторической справке он всегда рассказывал о своей долгой и трудной жизни, а в конце концов добавлял: «всё сам, своими руками». Зам каждый

раз находил для неё новую интонацию, украшал её тысячью различных оттенков, которые придавали фразе всегда утреннюю свежесть. Однажды в автономке вдали от родных берегов зам, рот которого практически никогда не закрывался, вдруг замолчал суток на пять. При этом он почти не появлялся из каюты, лишь иногда его огромное, скорбное тело бесшумной тенью скользило в галльон. На шестые сутки вахтенные заметили, что зам отправился туда с каким-то ужасным, баррикадным выражением. Он зашёл в галльон, задраил дверь и принялся там ворочаться ночной неустроенной птицей.

– Чего это он? – спросил один вахтенный у другого.

– А... эта... жизнь была такая долгая и такая мотыжная...

– А, – сказал вахтенный, – ну да...

Отсек погрузился в тишину, лишь изредка оживал и ворочался галльон. Дверь галльона наконец лязгнула, и зам, с лицом искажённым за всё человечество, появился из него. Надо заметить, что он по-старости и в результате тяжёлого детства, забывал поднимать за собой стульчак.

– Пойду подниму, – привычно сказал вахтенный. Вскоре он вернулся и молча поволок своего напарника за рукав.

– Ты чего?

– Смотри!

– Вот это да-а!...

– Это вам не мелочь по карманам тырить!

Внутри унитаза лежало, исключительно правильной формы, нечеловеческих размеров, человеческое... м-да. Если б оно было одето в скорлупу, никто бы не сомневался, что это яйцо сказочной птицы Рух! Первый вахтенный закатил глаза, растопырил руки, пожал плечами и сказал заунывным голосом заместителя:

– Ну всё, всё своими руками! По-другому было не вытащить!

– Слушай! Давай замовское говно Серёге покажем!...

– Так он же спит.

– Ничего, разбудим...

...Вахтенный офицер наклонился к инженер-механику.

– Не может быть! – повеселел мех.

– Может.

– Товарищ вахтенный офицер, – официально привстал механик, – разрешите навестить галльон первого отсека. Только туда и сразу же взад.

– Идите. Только без лирики там. Туда и сразу же взад...

Целых три часа весь корабль ходил и изучал сей предмет. Последним узнал, как всегда, командир.

– Не может быть! – придвинулся он к старпому.

– Может, – сказал старпом и развёл при этом руками на целый метр, – вот такое!

– Помощника сюда, – потребовал командир.

– Сергей Васильич! – обратился он к помощнику, когда тот появился в центральном, – что у нас происходит в первом отсеке?

– В первом без замечаний, – улыбнулся помощник.

– Сочувствую вашей игривости, следуйте за мной. Я – в первом, – повернулся он к старпому.

Помощник, сопровождая командира, всё старался забежать вперёд.

– Вот, товарищ командир! – сказал он, открывая дверь гальюна, – вот!
– Так! – сказал командир, досконально изучив предмет общей заботы. – Хорошо! Это разрубите и уничтожьте по частям. Надеюсь, уже все насладились?

– Так точно! Есть, товарищ командир, сделаем!

– Да уж, постарайтесь. А где у нас медик?

– Спит, наверное, товарищ командир.

– Ах, спят они...

Командир вызвал к себе медика.

– Вы спите и не знаете...

– Я – в курсе, товарищ командир!...

– Ну и что, что вы в курсе?

– Это может быть!

– Я сам видел, что это может быть. И вы – медик, а не трюмный. Не следует об этом забывать. Вы заместителя осмотрели или нет? Может он нуждается в вашей помощи? Ну как, осмотрели, или ещё нет?

– Нет... ещё...

– Ах, ещё нет?! Значит, дерьмо – успели, а зама – нет? Я пока не нахожу что вам сказать...

– Товарищ командир, так ведь... – мялся медик.

– Не знаю я. Найдите способ.

– Есть... найти способ...

...В тот же день вечером, увидев входящего в кают-компанию расцветающего зама, командир улыбнулся в сторону и кротко вздохнул. Под замом жалобно пискнуло кресло.

– Вы знаете, товарищ командир, – сразу же заговорил он, – в бытность мою на шестьсот тринадцатом проекте, в море, сложилась следующая интересная ситуация...

Командир слушал зама в пол-уха. Кают-компания ждала. У всех на тарелках лежало по пол-котлеты.

– ...и всё сам, своими руками! – передохнул зам, закончив очередную повесть из жизни.

– Тяжело вам наверное было... одному, Иван Фомич, – безразлично вставил командир в притихшей кают-компании.

– Не то слово! – бодро отреагировал зам и быстро и умело намазал себе очередную булку.

Yellow submarine

Биографию составляют впечатления. Впечатления нам готовит судьба. Как она это делает – неизвестно; никогда не знаешь, что она выкинет. Вот если б мне в отрочестве кто-нибудь сказал, что я буду служить на подводных лодках, я бы очень хохотал, но так захотелось судьбе, и судьба взяла меня за тонкошкурное образование в районе холки и повела меня на подводную лодку путем крутым и извилистым.

Чтоб впечатления от дороги оказались наиболее полными, судьба привела меня сначала в военно-морское училище, где она и оставила меня на пять лет набираться впечатлений на химическом факультете.

На химическом факультете нас учили, как стать военными химиками. И

всё-таки самые яркие впечатления этого периода моей биографии я вынес не из химии – я вынес их с камбуза, из этого царства тележек, мисок, тарелок, лагунов, котлов, поварих, поваров, кладовых, душевых, официанток, раздевалок, с непременным подглядыванием в поисках пищи неокрепшему воображению; с бесчисленных столов кормильных рядов с алюминиевыми бачками – один бачок на четверых.

Когда сидели за столами, кто-то всегда бачковал, то есть разливал по тарелкам варево, а остальные в этот момент следили за ним, сделав себе равнодушные взоры, чтоб он случайно мясо себе из бачка не выловил.

Мясо делилось по справедливости. Все помнили, кто его ел в последний раз.

Неважно, что то мясо напоминало разваренную мыльную ветошь, – это никого не интересовало, интересовало другое, интересовал сам факт: есть мясо или его нет.

Мясо на камбуз попадало из морозных закров Родины, а по синей отметке на ляжке мы, стоя в камбузном наряде, узнавали год закладки и, если он совпадал с годом нашего рождения, говорили, что едим ровесника.

И ели мы его с удовольствием, потому что очень есть хотели.

Когда мы обедали, в зале играла музыка. Она помогала вырабатывать желудочный сок.

Шли мы на камбуз строями, молодежато, чеканили ножку, и всё говорило о том, что мы служим и эти годы зачтутся нам в пенсию.

Перед камбузом на табуретках – по-морскому, на баночках – стояли лагуны с хлоркой, куда мы на ходу ныряли руками вперёд.

И потом очень долгое время запах хлорки не позволял разделить впечатления от пребывания на камбузе и в туалете.

А ещё я вынес впечатление, как мы ели сгущёнку. В государстве тогда было много сгущёнки, и мы её ели: покупали банку, делали в крышке две дырки и, припаявшись к одной из них непорочными дрожащими губами, запрокидываясь, делали могучий всос, и сгущёнка в один миг наполняла рот сладкой мукой. И хотелось в тот миг, чтоб она никогда не кончалась.

Общение со сгущёнкой требует известного интима; если же интима не получалось, то хорошим тоном считалось оставить другу последний глоток.

Только один раз в месяц – в день курсантской получки – мы ели до отвала; мы ели сгущёнку банками, колбасу – метрами, а пиво пили пожарными ведрами, для чего носили его тайком через забор; на младших курсах мы носили его тайком ночью, а на старших – тайком днём, и во время экзаменационных сессий мы носили его тайком в класс через плац.

Однажды один наш, идущий через плац с двумя ведрами, попался дежурному по училищу. Военно-пожарное ведро отличается тем, что его нельзя поставить: оно сделано конусом.

Когда дежурный по училищу увидел, как тот, несущий, с превеликими муками пытается поставить конусное ведро на плац, чтоб отдать воинскую честь ему, дежурному по училищу, он милостиво кивнул, даже не полюбопытствовав, что за пенообразующий огнегаситель тот волочет изгибаясь.

Во время экзаменов пиво наливалось только демократичным преподавателям, и они его выпивали, удивляясь, торопливо.

Недемократичных преподавателей пытались выводить из строя,

подсовывая им лимонад в запотевшем графине, с предварительно растворенным в нём химическим веществом – пургеном.

А Барону, преподавателю вычислительной техники, кроме заветного графина в карман тужурки удалось впрыснуть органическую кислоту, запах которой по своей сложности мог бы соперничать только с её названием.

Вообще-то кислота была аварийным средством. Барон должен был опоздать к началу экзамена: специально посланная группа должна была ещё ночью заклеить эпоксидкой замок бароновского гаража, чтоб он утром не вывел из него свою машину.

Группа заклеила, перепутав, замок соседу, Барон появился вовремя, и пришлось обратиться к кислоте.

Пахло сильно и хорошо. Барон не знал, куда деваться, от смущения он непрестанно пил настойку пургена в лимонаде, говорил, что в аудитории спертый воздух, и бледнел. Вскоре он надолго вышел, и мы одним махом сдали экзамен.

А ещё я лежал в санчасти. Я любил лежать в санчасти: там можно было выспаться. Я не высыпаюсь с семнадцати лет, с тех самых пор, когда нежный слух мой впервые поразила команда: «Рота, подъём!».

В санчасти кормили теми же органическими веществами, что и на камбузе. Положительное зерно состояло в том, что здесь давали добавку. Бигус не ели даже легкораненые.

Бигус! Это блюдо сделано врагами человеческих желудков из картошки, тушеной с кислой капустой, заправленной комбигиром и жалкими кусками жёлтого пороссячьего сала. Боже, какая это была отравка!

Поковыряв вилкой бигус, я выходил в коридор между палатами, припадал к стенке и звал утробно:

- Сестра... сест-ра... сест-ра...
- Что тебе, милый? – вылетала сестра.
- Спасибо, сестра, – говорил я томно и шёл в палату.

Артистизм! Вот что должны преподавать будущим офицерам. Как же без него стоять перед строем подчиненных, ведь они смотрят на тебя и жаждут получить с тебя твой артистизм. Им же важно получить команду, им же важно, как ты её подаёшь. Им важно, какое у тебя при этом лицо, как ты держишь руки и в каком состоянии у тебя ноги; им важно, сколько души ты вкладываешь в команду: «Равняйся!», и какая капля интеллекта капает с тебя во время команды: «Смирно!».

Почему-то считается, что если ты ничего не можешь, то ты можешь воспитывать людей.

Сколько раз меня воспитывали в строю, и сколько раз я убеждался: оказывается, достаточно сильно крикнуть идущим людям: «Четче шаг! Отмашку рук! Выше ногу! Не слышу ногу! Петров! Едрёна корень!» – и ты уже воспитатель.

И тут появляется он, твой новый командир роты. На лице у него, как это ни странно, написан ум, а в глазах написано то, что он только что с флота, что он ни черта не боится, и ещё там написано, что у него есть выслуга лет и что он не будет хвататься за службу, как нищий за подол прихожанки.

– Я утомлён высшим образованием, – говорит он, и с этой минуты ты начинаешь изучать его речь, его лицо, его походку, его манеру держаться и соблюдать себя.

Он учил нас тому, что не прочтешь ни в одном учебнике, что не получишь в руки при выпуске, тому, что можно набрать, только пропустив через себя; он учил нас тому, что называется – жизнь.

Выпуск!

Сегодняшний, ты ли это, вчерашний! Сколько блеска в глазах и в белье! А сверху на белье надет кортик, а из-под каркаса фуражки капает, а брюки черные, шерстяные, всепогодки, а под ними взопревшее тело, а в подмышках жмёт, а в ботинках трёт – столько сразу всего.

Но ты всего этого барахла не замечаешь. Ситец на улицах – май в душе! Сегодня твой день, сегодняшний. Счастлив ли ты? Ты счастлив! Благослови тебя небо!

Север

Отпуск промелькнул, как чужое лицо в окошке, и через месяц, всё ещё окрыленный, просветлённый, ненормально радостный, я улетел на север за назначением.

*...Север, Север, Северный флот...
Сопки, сопки, ртутная вода...
Неужели та вода навсегда?
Север, Север, Северный флот...*

Гуси потянулись на север, бабы потянулись на юг – лето наступило... Появились молодые лейтенанты – лето кончилось. Лейтенанты, лейтенанты, вы роняете в душу лепестки вечности. После вас в душе наступает сентябрь...

Интересно, почему только на Северном флоте бакланы летают над мусорными кучами, а вороны над морем? Потому что Страна Наоборот.

Жила-была Страна Наоборот. Утром ложилась, вечером вставала. Удивительная это была страна – Страна Наоборот...

– Куда вы хотите? – спрашивают лейтенанта в отделе кадров Северного флота. – В поселок Роста или в порт Владимир?

Не знакомый с современной северной географией лейтенант выбирает себе порт Владимир и уезжает туда, где три покосившихся деревянных строения, обнявшись, хором предохраняют цивилизацию от сдува.

Обманули дурака на четыре кулака...

Места для меня сразу не нашлось. Лейтенанта ждут, конечно, на Северном флоте, но не так интенсивно, как он себе это представляет.

После двухнедельных мытарств печаль моя нашла своё временное пристанище в отдельном дивизионе химической защиты, именуемом в простонародье «химдымом».

Если матрос на флоте не попадает в тюрьму, то он попадает в химдым. Так, во всяком случае, было. Больные, косые, хромые, глухонемые; хулиганы и пьяницы, потомственные негодяи и столбовые мерзавцы, носители редких генетических слепков.

– Не бойсь, лейтенант, – говорили они мне, – мы детей не бьём.

И я не боялся, слово они держали. Но сына замполита они вешали на забор. За лямки штанишек. Как Буратино. Шестилетний малыш висел и плакал...

...Пятнадцать нарядов в месяц. Через день – на ремень!

– Что, товарищ лейтенант, в сторожа записались? Терпите, все через это прошли...

Кубрик, койки, осклизлый галюн...

Через месяц после того, как я – хрупкий цветок Курдистана – был высажен суперфосфатом почвы этой страны слез – химического дивизиона, мне захотелось выть болотной выпью.

Эта славная птичка несколько напоминает военнослужащего: чуть чего – она замирает по стойке «смирно» в жалких складках местности, а если достали – орёт, как раненый бык.

Я орал. Вернее, орала моя дивная душа отличника боевой и политической подготовки. Она орала днём и ночью. Она орала до тех пор, пока мысль об атомных лодках не сформировалась полностью.

Я поделился ею с начальством. Начальство было удивлено стойкостью моего отвращения к текущему моменту. Оно назвало мое состояние «играми романтизма» и высказалось относительно места проведения этих игр со всей определенностью. Потом оно сказала, что для того чтобы стать подводником («а это не так всё просто, юноша, не так всё просто»), мне нужно как можно чаще «рыть рогами и копытами» («и носом... главное, носом»).

С этого дня я не служил – я рыл, я рыл рогами, копытами и носом... главное, носом; и глаза мои – с этого дня – на полгода сошлись к переносице. Не лейтенант, а хавронобык!

Надо сказать, что в химдивизионе было где рыть, было! Поразительные вокруг были просторы. Справедливость требует отметить, что кое-что было вырыто и до меня.

В те дни, когда я не рыл, я возил бетон и заливал его в ямы.

По утрам со мной любил разговаривать замполит. Он брал в руки газету, поднимал палец вверх и в таком положении читал мне речитативом передовицу. Каждый день. Это у нас с ним называлось: «индивидуально-воспитательная работа».

Я смотрел ему в рот. Вернее, не совсем в рот: я смотрел на те два передних зуба, которые торчали у него изо рта и были расположены строго параллельно друг другу и матушке земле. Я называл их «народным достоянием».

Он говорил мне былинно: «Народохозяйственные планы...» – а я думал при этом: «Кто ж вам зубы отогнул?».

А жил я здесь же, в части: в учебном классе поставили коечку...

31 Декабря

31 декабря я стоял в наряде – дежурным по части. 31 декабря в части был абсолютно трезвый человек – это был я. Остальные перепились и передрались, и в те минуты, когда из телевизора неслись поздравления советскому народу, у меня в кубрике то и дело в воздух бесшумно взмывали табуретки. Они взмывали и неторопливо крошили народ.

А я разнимал дерущихся. Вернее, пытался это делать.

Зазвонил телефон. Я добрался до него через груды тел и машущих рук. Я снял трубку и представился. Звонил замполит.

– Ну, как там?

– Нормально, – сказал я, – идёт массовая драка!

– Ну, они там не слишком себя уродуют?

– Нет, что вы...

– Когда устанут и свалятся, постройте всех и передайте им мои поздравления...

Я так и сделал: когда свалились, я их поднял, построил и передал поздравления...

31 декабря 1975 года. Именно в этот день был подписан приказ о моём назначении на атомоходы.

Лодки... Лодки...

Не прошло и месяца со дня подписания приказа, как я уже стоял в коридоре штаба дивизии атомоходов.

Штаб помещался на ПКЗ (плавказарма). Я стоял целый час и ни у кого не мог спросить, как же мне пройти к начальнику отдела кадров.

Я просто не успевал спросить: так быстро вокруг мелькали, порхали, прыгали и проносились. Но одного я всё-таки отловил. Это был лейтенант. Я придавил его и гаркнул:

– Как пройти к начальнику отдела кадров!

– А чёрт его знает! – заорал он мне в ухо с сумасшедшим весельем, и, пока я соображал, как это он не знает, он уже вырвался и убежал.

– Ком-диввв!!! – раздался по коридору влажный крик. Этот крик послужил сигналом: захлопали двери, и все пропали; абсолютно все пропали, и остался один я. В коридоре слышались шаги. Я не успел подумать и увидел генерала; то есть я хотел сказать, адмирала; но вид у него был генеральский. Адмирал подошёл ко мне и задержался. Когда так задерживаются рядом со мной, я не могу, я начинаю отдавать честь. Я её отдал. Он смотрел на меня и чего-то ждал. Я не могу, когда на меня так смотрят. Я начинаю говорить. И говорю я всё подряд.

Я назвал себя, сказал, кто я и что я, откуда я и зачем, а напоследок спросил: что ж это такое, если приходится столько стоять и ждать.

Наверное, я спросил что-то не то, потому что у адмирала выпучились глаза и он, откинувшись, сказал громко и чётко:

– Сут-ка-ми бу-де-шь сто-ять! Сутками! Если понадобится.

Я не мог не ответить адмиралу; я ответил, что готов стоять сутками, но не выстаивать.

Что-то с ним после этого произошло, что-то случилось: он дёрнулся как-то особенно, а потом наклонился к моему лицу и сказал отдельно и тихо: «Следуйте за мной...».

И я пошёл за адмиралом. Через секунду нашёлся начальник отдела кадров, потом – флагманский химик и командир ПКЗ. Все они меня окружили, и было такое впечатление, что все они мои родственники и пляшут вокруг только затем, чтоб меня обнять.

Ещё через пять минут я уже знал, где находится моя каюта, а через десять минут я уже был подстрижен. И стал я жить на ПКЗ.

О ПКЗ стоит сказать несколько слов. На первой палубе этого корабля с винтом размещался штаб, на второй, третьей и четвёртой – жили экипажи, ниже размещался трюм, где с потолка капала вечность, торчали кабельные трассы и жили крысы, огромные, как пантеры.

Жили они в трюме, а бродили везде. Если крыса шла по коридору мимо моряков, моряки цепенели. На крыс кидались только самые отважные.

Однажды утром на камбузе кок обнаружил в пустом котле целый выводок этих тварей: он открыл крышку котла, и они посмотрели на него снизу вверх. Кок захлопнул крышку и помчался на свалку. Там он в один миг отловил большущего бродячего кота и в тот же миг доставил его на камбуз.

Кок бросил кота к крысам и загерметизировал котёл. Кот отчаянно выл. Когда через пару минут вскрыли котёл, кот вылетел пулей. В котле лежали трупы. Кот задушил всех. Его можно было понять, он дрался за свою жизнь.

Кок выкинул крыс, вымыл котёл и сварил обед. ПКЗ у нас финской постройки. Финны строили такие ПКЗ для наших лесорубов. Подводники – вот они те самые лесорубы, ради которых в Финляндии приобретались такие плавучие казармы.

ПКЗ шли из Финляндии на Север своим ходом. На них были: хрусталь, светильники, ковры, посуда, смесители в умывальниках, краники, различные шильдики, ручки и даже туалетная бумага в туалетах.

Как только они ошвартовались, с них украли всё, даже бумагу в туалетах. Последними украли из кают цветные занавески. Занавески были из стекловолокна. Матросики сшили из них плавки. С чудовищно распухшей, мохнатой промежностью они вскоре заполнили госпиталь.

Кстати, на нашем флоте на плавказармах иногда годами живут не только подводники, но и их семьи: жёны, дети и коляски.

Однажды стратегический атомоход перегоняли с Севера на Восток в новую базу. Жёны, побросав всё, примчались туда путем Семёна Дежнева. Ну, и как это бывает, база уже есть, то есть сопки вокруг есть, а домов ещё нет... пока.

Лейтенантам отвели нижние кубрики. Двухъярусные койки. Она сверху, он снизу, и наоборот. Отделились простынями. Белыми. И поехало. Сначала стеснялись, а потом повсюду стоял чудесный скрип...

Север... Север... Северный флот...

Экипаж

Мой экипаж появился на ПКЗ через месяц. Он приехал после учебы. Экипажи в те времена делились на – экипажи, которые всё время учились, экипажи, которые всё время ремонтировались, и экипажи, которые всё время выполняли боевые задачи.

Это было очень удобно: нужно послать экипаж на учебу – пожалуйста; нужно сгонять корабль в ремонт – ради Бога; в автономку нужно послать кого-нибудь – пошли, родимые.

Но иногда экипажи мучительно переходили из одного состояния в другое. Например, наш экипаж приехал в базу затем, чтоб мучительно перейти и стать боевым экипажем.

Разместился он на том же ПКЗ, где я квартировал, и однажды я обнаружил, что живу в одной каюте с замполитом корабля. Семьи у него

рядом не было, и он сказал мне:

– Ну что ж! Годковщину на флоте никто ещё не отменял, а посему полезай на верхнюю полку.

С тех пор я жил на верхней полке двухъярусной койки, а подо мной жил Иван Трофимович.

Иван Трофимович – это единственный замполит, которого я бы приветствовал стоя, остальных – я бы приветствовал сидя, а некоторых – даже лежа.

Сказать, что все остальные замполиты у меня были ублюдками, – значит погрешить против правды. Нет, ублюдками они не были, но и говорить о них как-то не хочется.

Зима и весна

Зимой и весной все подводники, мечтающие перейти в боевое состояние, от мала до велика берут в руки лом, лопату и скребок и яростно кидаются на снег и лёд. Они скалывают его и отбрасывают в сторону. Так постоянно растёт их боевое мастерство, и так они, совершенствуясь, совершенно безболезненно переходят в боевое состояние.

«Три матроса и лопата заменяют экскаватор», – это не я сказал, это народ, а народ, как известно, всегда прав.

Однако не надо думать, что только матросы у нас ежедневно баловались со снежком; и седые капитаны третьего ранга, плача от ветра, как малые дети, я бы сказал, остервенело хватались за скребок и – ы-ы-ы-ть! – сдвигали дорогу в сторону.

При такой работе организм от неуклонного перегрева спасает только разрез на шинели сзади – он обеспечивает вентилирование в атмосферу и необходимый теплосъём. Это очень мудрый разрез. Сложился он так же исторически, как и вся наша военно-морская шинель. Шинель – это живая история: спереди два ряда пуговиц, сзади на спине складка, хлястик и ниже спины, я бы сказал, ещё одна складка, переходящая в разрез.

Разрез исторически был необходим для того, чтоб прикрывать бока лошади и гадить в поле. Для чего нужно на шинели всё остальное, я не знаю. Знаю я только одно: шинель – это то, в чём нам предстоит воевать.

Конечно, можно было попросить у Родины бульдозер. (Я всё ещё имею в виду очистку дороги от снега. Когда я слышу слово «воевать», помимо моей воли перед моим внутренним взором возникает лом – этот флотский карандаш, а потом возникают снежные заносы, и я начинаю мечтать о бульдозере).

Конечно, можно было попросить у Родины бульдозер, но ведь Родина может же спросить: «При чём здесь бульдозер? Зачем вам, подводникам, бульдозер?» – и Родина будет права.

Значит, тогда так, тогда молча берём в руки лом и молча долбаем. Без бульдозера.

Бульдозер доставали на стороне. Просто ходили и доставали. Был у нас на дивизии секретчик, матрос Неперечитайло. Это было чудо из чудес. Он мог запросто затерять секреты, уронить целый чемодан с ними за борт, а потом мог запросто их списать, потому что у него везде и всюду были свои люди – знакомые и земляки, такие же матросы.

Правда, чемодан потом всплывал, и его выбрасывало в районе Кильдина на побережье, но всё это происходило потом, когда Неперечитайло уже находился в запасе.

У него были голубые невинные глаза. Комдива просто трясло, когда он видел этого урода. Он останавливал машину, подзывал его и начинал его драть. Драл он его за всё прошлое, настоящее и будущее. Драл он его так, что перья летели. Драл на виду у всей зоны режима радиационной безопасности, где стояли наши корабли, где была дорога и где были мы с ломами.

Неперечитайло стоял по стойке «смирно» и слушал весь этот вой, а когда он утомлялся слушать, он говорил комдиву:

– Товарищ комдив! Разрешите, я бульдозер достану?!

– Бульдозер?! – переставал его драть комдив, – Какой бульдозер?!

– Ну, чтоб зону чистить...

– Что тебе для этого нужно? – говорил комдив быстро, так как он у нас быстро соображал.

– Нужно банку тушёнки и вашу машину...

Комдив у нас понимал всё с полуслова, потому-то он у нас и был комдивом. Он вылезал из машины, брал у Неперечитайло чемодан с секретами и оставался ждать.

Неперечитайло садился на место комдива и уезжал за бульдозером. По дороге он заезжал на камбуз за тушёнкой.

Через тридцать минут он снова появлялся на машине, а за машиной следовал бульдозер, нанятый за банку тушёнки.

Дуст!

Наконец пришло для вас время узнать, что всех химиков на флоте называют «дустами». За что, позвольте спросить? Извольте: за то, что они травят народ! Сидя на ПКЗ, я проводил с личным составом тренировку по включению в ПДУ – в портативно-дыхательное устройство, предназначенное для экстренной изоляции органов дыхания от отвратительного влияния внешней среды.

Первые ПДУ на флоте называли «противно-дышащим устройством» – за то, что кислота пускового устройства ПДУ, которая должна была по идее стимулировать регенеративное вещество этого средства спасения на выдачу кислорода, иногда поступала сразу в глотку ожидающему этот кислород.

Я видел только одного человека, который продержался при этом более двух секунд. Это был наш старший лейтенант Уточкин, оперуполномоченный особого отдела.

Я его честно предупредил о том, что возможны сразу же после включения некоторые осложнения и что проявления терпеливости в этом конкретном случае с большим сомнением можно отнести к признакам воинской доблести.

– Жить захочешь – потерпишь! – сказал он мне.

Против этого я не нашёлся чем возразить; он включился и показал мне знаком, что всё идёт как по маслу. Когда всё идёт как по маслу, я обычно запускаю секундомер и, вперясь в него, снимаю норматив.

Через пять минут я оторвался от секундомера, посмотрел на

испытуемого и заметил, что глаза у опера Уточкина чего-то лишились.

Прошло ещё десять секунд, и Уточкин, чмокнув, откупорил рот. Из рта у него повалил белый дым.

– Ну его на хер, – сказал опер Уточкин, взяв завершением фразы верхнее «си», – не могу больше!...

Лето

Наступило лето; жены уехали, и поселок опустел; период весенне-летнего кобелирования окончательно вступил в свои права, и по посёлку светлыми ночами уже шлялись неприкаянные...

Ну кто на подлинном флоте работает летом? Летом никто не работает. Ну, разве что в посёлке подобрать окурки и плевки, а так сидишь на пирсе с восточным безразличием: расслабление и вялость в членах; тупорылость и оскуднение в желаниях, в мыслях и в генах; апробация и культивирование поз...

И вдруг! Комиссия Министра обороны! Вместе с главкомом!

Все вскочили, побежали, как со сна; озеро вычистили, дёрн выложили, деревья там воткнули, бордюры и траву покрасили; лозунги, призывы, плакаты – повесили; и на дома со стороны комиссии обратили особое внимание.

Комиссия на флоте – это время, когда все живые, не калеки, мечтают уйти в море.

– Когда и на чём они будут?!

– На вертолёте через два часа.

– А вертолётную площадку довели до ума?!

– Довели...

– А люди там расставлены?!

– Так точно!

– Ну, тогда ждём сигнала...

Через два часа, не дождавись сигнала:

– Ну?!

– Пока не ясно...

Ясно стало через десять минут:

– Всё отставить, они будут катером!

– А-а-а-а!!!

И потом уже в диком вальсе:

– Фалрепные!... Нужны фалрепные на фалы... От метр восемьдесят и выше!

– Что? Фалы?

– Что?!

– Фалы, говорю, от метр восемьдесят?!

– Нет, фалрепные!

И ещё нужен трап с ковром.

– Слышь! И ещё нужен трап с ковром!

– И где он обитает?!

– А чёрт его знает, на ПКЗ где-то...

– И эту... как её... тумбу под главкома не забудьте...

И тумбу под главкома. Чтоб он не спрыгнул с трапа, перебив ноги, а

сошёл, как подобает, сначала на тумбу, потом на пирс...

Всё оказалось закрыто на замок: и трап, тумба, и ковры... и ключ вместе с заведующим утерян...

– Давайте ломайте!!! Давайте ломайте!!!

– Всё ломайте!!!

Сломали всё. Перевернули и нашли в самом дальнем углу.

Фу! Ну, теперь всё!!!

Нет, не всё: ещё нужен оркестр, офицер в золоте и машина.

Секунда – и всё это есть! Всё есть, кроме фалрепных.

– Они ж только что были?!

Да, были. И их даже послали куда надо, но там старшим был молодой мичман, и их перехватили и отправили на свалку: там тоже надо было срочно убрать.

– А-а-а!!!...

Это кричит начальник штаба, затем он мечется по коридору и лично собирает где попало новых фалрепных. Он выстраивает штабную команду. На худой конец, и эти сойдут. Конец действительно худой. Самый мощный из них тянет на метр шестьдесят шесть сантиметров. Начштаба нервничает – одного не хватает. Последним влетает в строй гном-самописец – полтора вершка! Начштаба не выдерживает – доконали: он хватается самописца за грудки так, что тот повисает безжизненно ножками, и орёт ему:

– Па-че-му!!! Па-че-му та-кой ма-ле-нь-кий!!!

Всё! Встретили!

Встретили, подхватили, потащили на руках,
И лизали, и лизали в двадцати местах...
Нагрузили, проводили стройною гурьбой,
Дали, дали, дали им, дали им с собой...

...И снова лето настало. Снова благодать разлилась. Солнце снова, и опять красота; расслабление, расслоение, растягивание членов и тупорылость поз...

Сопки, сопки, ртутная вода...

Корабль

Получили мы корабль – надругались над собой...

Корабль получили осенью. Наш прекрасный корабль...

Плавтюрьма!

Кто это сказал?! – Это никто не сказал. Это не у нас. Это у них. У англичан. В английском языке слово «confine» с одинаковым успехом обозначает и замкнутый объем подводной лодки, и тюрьму. И поэтому, когда по телевизору показывают, что колония малолетних преступников ходит теми же строями, в тех же ватниках и поёт те же песни, я не верю своим собственным глазам и всё время думаю, что тут чьё-то недоразумение.

Конечно, есть отдельные неразумные, потерявшие терпение и кое-что из морали подводники, которые пытаются назвать плавтюрьмой наши славные подводные корабли за то, что они стоят в дежурстве по полгода, а дома бывают только раз в месяц, пешком и после 23 часов, но я считаю, что

это неправильно. Я считаю, что Родина о них заботится и что эта забота выражается так часто, так часто, что не увидеть её может только слепой.

Но вернемся к кораблю.

Это просто чудо какое-то! Я тут же, как только мы его получили, спустился вниз и прошёл с носа в корму. Слов нет. Просто чудо. Неужели всё это сразу плавает? Неужели оно погружается и всплывает больше, чем полтора раза? – Да, представьте себе! – А по-моему, оно должно утонуть тут же, прямо у пирса, вместе с нашей профессиональной подготовкой! – Нет, представьте себе. – Это грандиозно!...

Открываешь французский прибор и – японо мама: одна плата из Японии, другая – из Швеции, третья – ФРГ, четвёртая – США, пятая – Франция, весь мир на ладони...

Открываешь наш прибор, а там – Узбекистан, Киргизстан, Ленкорань, Ленинанкан, Уфа, Ухта, Кзыл-Орда! Весь Союз с тобой. И Господь тоже. Иди в море. Родимый.

И идут. И плавают. Годами. На чём они плавают? – Они плавают на сплаве. Высокого мастерства и высокой идейности.

И вдруг одна утонула, потом – вторая и сразу третья... Ай-яй-яй! Как же так?! Неужели?! Вот это да! А мы и не ожидали. – А вот вы ожидали? – Нет, мы тоже не ожидали. – А вы? – Мы не ожидали, потому что у них пройден весь курс боевой и политической подготовки. – А-а-а... ну, тогда шапки долой...

Шапки долой – венки по воде; звучит траурная музыка...

Прозвучала – хватит, а теперь остальных выгнать в море, чтоб покрыть недостачу.

– А знаете, у оставшихся в живых мы интересовались, и они все как один хотят служить на подводных лодках...

– Это грандиозно!

Флот, флот...

Что такое флот? – Флот – это люди. – А ещё что? – Флот – это «железо». – А ещё? – Флот – это люди, вросшие в «железо».

– Что бы им такое пожелать?

– Пожелайте им здравствовать...

Автономка

Автономка – как женщина: если она у тебя первая, то запомнится надолго.

Отдых перед автономкой ворован, как кусок хлеба со стола – помоечным пасюком. Погрузки, проверки, ракеты, торпеды...

– Кровь из носа, товарищи, это нужно сделать! Кровь из носа...

И кровь идёт из носа...

Перед автономкой бывает контрольный выход для проверки готовности. Лодку выгоняют в море, и она десять суток ходит там туда-сюда, а внутри у неё сидят люди, преимущественно по тревоге. И тревоги через каждые два часа, и часто бывает, что одна тревога целуется с другой...

Там я научился спать стоя. Стоишь, стоя и спишь. Просыпаешься тогда, когда грудью падаешь в прибор, а под глазами такие синяки вырастают, будто в глаза пустой стакан ввинчивали. После этого так хочется в море,

просто не описать. Без удержу хочется...

Только пришли, и опять – разгрузки, выгрузки, погрузки...

– Большой сбор! Построение на пирсе...

– Внимание, товарищи! Экипаж будет отпущен только тогда, когда на пирсе не останется ни одной коробки!!!

Будет отпущен, будет, кто же спорит. А за сутки до отхода всех посадят на корабль, а на корне пирса выставят вооруженного вахтенного, чтоб никто не сбежал, а то ведь чёрт их знает, шалопаи, прости Господи...

Отметим коротко!

Отметим коротко, лирически отступив, что в те времена флот пил, и пил он спирт, и пил он его неторопливо и помногу. Это сейчас всем запретили, а тогда – о-го-го...

В общем, были отдельные личности, которые, несмотря на сторожей и проделанную работу, ускользали с корабля в ночь перед самым отходом, и потом за ними гонялись по всему посёлку.

Обессилев, они сдавались, их сажали на детские саночки и привозили на пирс. По дороге они засыпали, и их грузили на корабль на таях. Приходили они в себя на третьи сутки вдали от родных берегов.

Но были и такие, которых не находили, и тогда в последний момент брали кого попало прямо из патруля. Так взяли одного молодого лейтенанта, и его жена потом его искала, но искала она не там, где надо искать, поэтому она искала его несколько дней.

Ах, море, море...

Вышли в море и пошли, отошли подальше, встрепенулись и взялись за изучение материальной части.

Только наши подводники могут выйти в море, отойти подальше, а потом начать изучать то, на чём они вышли в море: всем выдаются зачётные листы, и все одновременно начинают учить устройство корабля – ходят по отсекам, как в Лувре, и ищут клапана. Лодка плывёт, а они учат. А что делать?

Матчасть на нашем родном флоте можно изучить только вдали от Родины. Вблизи Родина тебе просто не даст её изучить. Родина, она вблизи что-нибудь да придумает: снег придумает, астрономическое число нарядов или рытьё канав.

Если лодка утонет, то тут Родина поделится на две большие части: та часть, которая придумала снег, наряды и канаву, будет молчать, а та, другая часть Родины – та срочно пододвинется поближе и спросит у оставшихся в живых со всей строгостью.

И это навсегда. Это не изменить. Некоторые пытались, но это навсегда.

Да и мы уже привыкли так учиться своему военному делу. Мы до того привыкли, что, разреши нам на берегу не рыть, а учить, мы сядем и будем сидеть, уставясь в точку, отсылая всех к матери Ядвиге; будем сидеть и ждать выхода в море, чтоб там приступить однозначно.

Когда мы вышли в море, я тоже получил зачётный лист по устройству корабля и тоже учил до тех пор, пока с глаз моих не спала пелена и пока все эти трубы, свитые в узлы, не стали мне родны и понятны.

После того как я сдал все зачёты, я долгое время не мог отделаться от мысли, что ткни нашу лодочку в бок – и она тихо утонет.

Нет, конечно мы будем бороться за живучесть, будем бегать по отсекам, загерметизируемся, дадим внутрь сжатый воздух, всплывём и – тыр-пыр-Мойдодыр, но всё равно она утонет; не сразу – так потом.

Не знаю почему, но после сдачи экзаменов по устройству корабля эти мысли преследуют тебя особенно сильно. Правда, со временем впечатление от устройства слабеет, но сначала от полученных знаний просто кожа пузырится. Я не буду больше говорить о том, что подводная лодка может утонуть. Я тут несколько раз уже сказал об этом, но сказал я об этом только для того, чтобы больше не говорить.

Тем более что не так уж часто мы и тонем, как могли бы.

Ну, как там?

Меня часто спрашивают:

– Ну, а всё-таки, как там?

– Где? – спрашиваю я.

– Ну, в автономке, под водой...

– Да нормально вроде: вахта – сон, вахта – сон, а в промежутках – командир и зам; если им некогда, то – старпом и пом. Так и плывёшь, окружённый постоянной заботой. Пришли в район – устроили митинг и заступили в дежурство и при этом шли по отсекам с чем-то заменяющим вечный огонь.

Женщин обычно интересует, видно ли в иллюминаторы рыбок. Они очень удивляются, когда узнают, что на подводной лодке нет иллюминаторов.

– А как же вы плывёте без иллюминаторов, не видно же?!

– А так и плывём, зажмурясь, периодически вытаскиваются специальные выдвижные устройства, с помощью которых лодка себя ощущает в пространстве. Ощутили – спрятали; и поехали дальше.

– Да-а?... – говорят женщины задумчиво, и со стороны заметно, что они полностью находятся во власти внезапно возникших ассоциаций. Немного подумав, они многозначительно замолкают. Только самые коварные из них интересуются:

– А как же вы справляетесь там со своим естеством... так долго? – при этом они делают себе такие глаза, что невозможно не догадаться, какое из всех наших естеств они имеют в виду.

– Видите ли, – говорю им я, – чтоб однозначно дать выход естеству, для подводника регулярно устраиваются политинформации, тематические вечера, диспуты, утренники, лекции, лирические шарады, прослушивание голосов классиков, наконец, первоисточники можно конспектировать.

Обычно после этого от меня отстают, и я, оставленный, всегда вспоминаю своего старпома. На двадцать третьи сутки похода он всегда входил в кают-компанию и говорил медлительно:

– Женщина... женщина... женщина... она же – баба... – после чего он садился в кресло и требовал, чтоб ему показали фильм с бабой.

Старпом относится к самым любимым моим литературным героям. Когда я смотрю на старпома пристально, я всегда вспоминаю, что и у стада

павианов есть свой отдельный вождь.

Своего старпома в этой автономке я периодически сажал на газоанализатор. У меня газоанализатор напротив двери, а дверь моего боевого поста такой величины, что ею мамонта уложишь и не заметишь, не то что старпома.

Стоит развод, зам его инструктирует, а мимо в центральный протискивается старпом, и тут я дверь зачем-то открываю, и она как щитом, безо всяких усилий, трахает старпома. Старпом улетает бездымно в газоанализатор и там садится на специальный штырь солнечным сплетением и замирает там, как жук на булавке. Висит старпом, булькает, воздуха у него нет, слёзы из глаз.

Потом зам командовал разводу: «На защиту интересов Родины заступить!», а старпом, сползая добавлял тонко: «Ой, бля!...»

Ну и влетало мне!

Кстати, некоторые считают, что старпом – это заповедный корабельный хам; хам в законе; хам по должности, по природе и по вдохновению.

Я с этим не согласен. Просто хамство экономит время: через хамство лежит самый краткий путь к человеческой душе. А когда у тебя этих душ целых сто и общаться с ними надо ежедневно по три раза на построениях, где приходится доводить до каждого решение вышестоящего командования, то тут, простите, без хамства никак не обойтись.

На корабле старпом отвечает за то, чего нам постоянно не хватает: он отвечает за организацию. Старпом – это страж организации. Исчез старпом с корабля – через секунду вслед за ним пропадает организация. Организация без старпома долго на корабле не задерживается.

Так они и живут: старпом и его организация; сидят, уставясь, и караулят друг друга. Ну, как тут не озвереть!

Но всему бывает конец. Я имею в виду не старпома с его организацией, я имею в виду автономку: автономка кончается, как всё в этом мире.

Время – великий пешеход. Подводное время – это тоже пешеход. Только сначала оно тянется медленно, а потом уже несётся не разбирая дороги.

Так вот, чтоб этот пешеход с самого начала легче перебирал лапками, для подводника кроме служебных чудес придумывают всякие развлечения.

Ну, отработку по борьбе за живучесть (когда ты, подтянув адамовы яблоки к глазницам, как нашатыренный носишься по отсекам с этим ярмом пудовым на шее – с изолирующим дыхательным аппаратом 1959 года рождения) очень условно можно отнести к развлечениям, а вот концерты художественной самодеятельности, викторины, стенгазеты, вечера вопросов и ответов, загадок и разгадок, дни специалиста, праздники Нептуна и пение песни «Варяг» на разводах, а также прочую дребедень, превращающую боевой корабль в плавдом кочующих балбесов, – можно отнести к развлечениям с лёгким сердцем.

И придумывает всё это зам. Наш весёлый. Массовик с затейником. Мальчик с пальчиком. Это он веселит один народ руками другого народа.

Мой стародавний приятель, большой специалист по стенгазетам, стихам и дням Нептуна, отзывался обо всем этом так:

– Боже! Сохрани нас от инициативных замов! Огради нас, Господи, от этих мучеников великой идеи! Дай нам, Господи, зама ленивого, сонного дуралея, но и его лиши, Господи, активных вспышек разума, а лучше сделай

так, чтоб он впал в летаргический сон или подцепил какую другую заразу!

Вы бы видели при этом его лицо.

– Саня, – говорил он мне, слегка успокоенный, – отгадай загадку: какая наука изучает поведение зама на корабле?

Я отвечал, что не знаю.

– Паразитология! Господи, – причитал он, – и чего я пошёл в механики. Вот дурак. Пошёл бы в замы и сидел бы сейчас где-нибудь... мебелью...

Знаете, я не стал его осуждать. Просто устал человек от веселья.

К этому времени Иван Трофимович, самый наш светлый, уже ушёл от нас в страну вечного солнца – перевёлся служить в большой город, на большую землю, чуть ли не в районный центр, – а нам на автономку дали нового зама. Это был такой тритон, от общения с которым молоко скисает даже в семенниках.

Этот родственник царя Гороха обожал развлечения, и мы его развлекали как могли: пели, плясали, отгадывали загадки – так время и летело.

Наконец!

Наконец наступил конец. Я имею в виду конец автономки. Я уже один раз имел это в виду несколько выше, но теперь, как говорил наш зам, я имею в виду это непосредственно.

Домой!

Только повернули к дому – и сразу же расхотелось идти домой. Странное это чувство, но объяснимое. В море, несмотря на обязательный кретинизм боевой подготовки и развлечения, всё-таки день налажен, и ты в принципе знаешь, что будет сегодня, завтра и послезавтра, а в базе ты не знаешь, что ты будешь делать вечером и куда ты побежишь через минуту. Отсюда уныние, примешивающееся к радости прихода.

Но радость побеждает, и особенно последние метры ею полны.

– По местам стоять к всплытию! – подаются команда, и вот уже по отсекам загулял горький морской воздух.

К пирсу лодка швартуется с помощью буксиров. Они волокут её под локотки, как внуки – нагулявшуюся слепую старушку. А на пирсе – оркестр, начальство, а за забором – жены, целой толпой.

Мы ещё не ошвартовались, а оркестр уже отыграл и ушёл, повернувшись к нам задом, и создается такое ощущение, что он играл лодке в целом, а не людям в отдельности. На пирсе осталось начальство.

– Ну-у, – сказала начальство нам, когда мы вышли и построились, – пока вы там отдыхали, мы здесь служили, а теперь вам предстоит... – и дальше мы узнали, что нам предстоит: погрузка запасов до полных норм, перегрузка ракет и выход в море на торпедную стрельбу, так что сегодня не выводимся, а становимся к стацпирсу, грузим ракеты и далее, далее, далее... и прочая, прочая, прочая куча удовольствий.

Самые глупые спросили: «А домой?» – на что им хамски расхохотались, но жён поцеловать у забора разрешили.

Жена

Ежедневные постоянные общения с собственной женой можно сравнить только с морозящим дождичком, который капает тебе за воротник. Ты приходишь домой ежедневно, а оно капает: в 20 часов – капает, в 22 – капает, и в 24 – тоже капает; ложишься в постель – капает в постели.

Можно, конечно, научиться и не слышать, как оно капает. Но пока ты научишься, сколько придётся себя истерзать.

Другое дело, если тебя не бывает дома. Другое дело, если ты ходишь в море. Женщины море не выдерживают. Ты приходишь, а тебя встречает любовь; реки любви; потоки любви огромных размеров; и глаза газели, а в них – слёзы; а голос ласковый, нежный, как полевой колокольчик; а руки теплые, и уже припала к груди, положила головку, затихла, как мышка, и молчит, молчит...

За это можно отдать жизнь... А как они бегут навстречу...

Я стоял и смотрел, как они бегут. В тот период я мог только стоять и смотреть, потому что в тот период я был холостой; а когда ты холостой, ты стоишь на ветру на пирсе, как собака; обдуваем и бездомен, бездомен, бездомен...

Но, слава Богу, есть друзья, и, слава Богу, друзей много.

Когда наши мучения получили временную передышку и мы всё-таки ощутили под ногами земную твердь, мои друзья сказали мне:

– Бери, Саня, свои манатки и иди к нам жить.

И я забрал то, что не успели ещё украсть из моей каюты на ПКЗ, и пошёл к друзьям, несмотря на то что у них были жены и дети. И ночевал я «по друзьям» в течение многих и многих лет. Положишь ночью чемоданчик свой на саночки и переезжаешь от друга к другу.

В те времена можно было получить ключ от чьей-нибудь квартиры, хозяева которой находились в отпуске, и жить там месяц-другой, несмотря на то что хозяева эти тебе совершенно неизвестны. Так было принято, и я, когда получил квартиру, я тоже устраивал к себе жить порой совсем незнакомых людей.

– Чего загрустил, лейтенант? – спрашивал я, когда видел лейтенанта с женой и ребёнком, сидящих часами на чемоданах в ДОФе.

Отзовёшь его в сторону, и лейтенант говорит, говорит, а потом ты ведёшь к себе это семейство и не знаешь, куда себя девать от благодарных глаз.

Свою квартиру я получил лет через шесть. Как ни странно – холостяком. Одиннадцать квадратных метров.

– Слушай! Пусты пожить, – говорили мне, – ты же всё равно в море, – и я отдавал ключи.

– Слушай! – говорили мне потом, когда я приходил с автономки. – Не гони. Ты же сейчас в отпуск, так? А я... куда я по морозу с дитём, поживи где-нибудь ещё, а? – и я шёл жить ещё где-нибудь.

Офицерское братство, такое ли ты сейчас, как в дни моей юности?

Эта квартира была у меня полтора года, и я не жил в ней ни одного дня; а когда мне намекнули, что я холостяк и в то же время имею жильё, а это несправедливо, и что надо иметь совесть, когда в экипаже есть бесквартирные женатые люди, я почувствовал угрызения совести и отдал её

женатым людям.

Отпуск!

Отпуск для подводника – это не то, что Родина ему смогла дать, отпуск – это то, что он сумел у неё взять и уйти невредимым. И когда ты получишь с Родины всё, что тебе причитается, ты изойдёшь мелким длительным смешком, результатом которого может явиться кома. Только не надо среди отпуска вспоминать о возвращении на службу, от этого тоже можно внезапно неизлечимо заболеть. Дали тебе – беги и не думай! В первый отпуск я ещё съездил как все люди, а в последующие как-то было принято оставлять меня с личным составом: офицеры и мичманы экипажа едут в отпуск, а ты остаешься на это время с матросами. Чудесное времяпрепровождение. А потом, когда все приезжают, тебе дают догулять. Не совсем, правда, всё, но кое-что; а потом досрочно втягивается твоё тело на веревке, а ты сопротивляешься, не хочешь, дёргаешься, заарканенный, но тебя уже волокут по земле, и ставят тебя вертикально, и спрашивают с тебя по всей форме.

– Да вы что?! – спрашивают с тебя, и ты понимаешь, что виноват, и, как всякий нормальный офицер в таких случаях, говоришь; «Больше не буду!» – и делаешь себе придурковатость.

Вообще-то придурковатость на флоте поощряется и как-то хорошо смотрится. Прилично как-то, со стороны. Нехорошо смотрится собственное достоинство, ум, тонкость духовной организации и её девичья ломкая хрупкость. Отвратительно смотрится честность, если только она не задняя часть всё той же придурковатости.

После отпуска

Получили корабль и бодренько так взяли его, японский городовой, и отремонтировали!

А корабли у нас разовые. Это значит: один раз сделали корабль – и всё. У нас, может, чего другого разового нет, а корабли есть! И зип (зап. части) есть – годами возим. Возим годами, но не то, и то, что мы возим, можно сразу же выбросить и никому больше не показывать, а то, что нам надо, – это днём с огнём не сыщешь и не достанешь ни за какие деньги, вот разве что за спирт, но в огромных количествах. А вы там, наверное, думали, что мы сами всё пьём, – как бы не так! И всё это годами, годами, годами...

У меня двенадцать автономок. Чаще всего по две в году. Чаще всего через «бегом – стоять!», когда в «сжатые сроки», «любой ценой»; когда на ветру и грузишь сначала на себя, потом – на собственном горбе, потом с себя и на санях и голыми руками – и в мороз; когда не спишь вовсе; когда злоба трясет, душит и пена изо рта; когда можешь упасть и не встать или можешь молотить по твёрдому безо всякого для себя вреда и когда успокаиваешься только в море и далеко, и далеко не сразу...

Взгрустнулось вам?

Ну, ничего. Сейчас я вас развеселю. Сейчас я вам расскажу, как я

переводился с лодок. Это весело.

Помните, когда я захотел попасть в подводники, мне сказали, что нужно рыть носом и остальными частями тела, и я рыл?

Ну так вот, а теперь, через восемь с половиной лет, когда я впервые захотел уйти с корабля на большую землю, мне сказали, что мне нужно снова рыть носом и теперь они будут наблюдать и оценивать, как я рою, и в случае, если я буду рыть хорошо, тогда они будут ходатайствовать перед вышестоящим командованием...

Так что флот у нас перерыт. Народ наш роет с флота и днём и ночью с диким визгом без стыда. А такие чудачки, как я, роют дважды: сначала на флот, а потом – с флота.

Решение навсегда урыть с флота пришло ко мне как-то сразу. На параде по случаю Дня Победы. Как сейчас помню: стоим в строю, готовимся к торжественному маршу, а на трибуне стоят вожди нашего посёлка. Посмотрел я на них, подумал про себя: «Саня, чистое ты существо, с кем ты служишь!» – и решил переводиться.

Кстати о празднике: в праздник нас легче всего пересчитать. Это я о военных. наших же сусликов никто ещё не считал по-серьёзному. А в праздник у нас все в строю. Посмотришь на страну сверху – и все в строю. Вся страна. Вот и считай. – А зачем это? – Ты сначала посчитай, а там поймёшь зачем.

На следующий день после праздника было воскресенье, и командир, прямо в праздничном строю, объявил нам на завтра рабочий день, а тут как раз Зимбабве, по-моему, на днях освобождалось, ну, мы и сказали командиру:

– Товарищ командир! Да что ж это такое? В это воскресенье даже негры в Зимбабве не работают.

– Это почему?

– Освободили их... от белых колонизаторов...

– Вот чёрт! – сказал командир и объявил на завтра выходной.

К начальнику отдела кадров я пошёл в понедельник. Я пошёл и сказал ему, что со вчерашнего дня мечтаю перевестись.

– Неужели?! – обрадовался он. – И куда же это?

Я сказал, что знать «куда» я не должен. Это он должен знать «куда», а меня он должен встретить на пороге, извиниться за то, что я до сих пор капитан третьего ранга и, с благоговением, предложить мне то место, где я, приняв грушевидную форму, целых десять лет буду думать о своём воинском долге с девяти до пяти, с перерывом на обед. Целых пять дней в неделю.

– Это безумно интересно! – сказал он. – Жаль только, что вы до сих пор не знаете, как у нас переводят офицера.

– Знаю, – сказал я, – его никак не переводят.

– Верно, – сказал он, – всё-то вы правильно понимаете. Неизвестно только, откуда у вас берутся такие дикие мысли: «с благоговением», «должны»... Восемь тысяч офицеров Северного флота выслужили установленные сроки службы. И все они подлежат переводу. Восемь тысяч! А вы будете восемь тысяч первым...

И тут я снова начал говорить, поскольку чуть-чуть вышел из себя; я сказал этой древесной лягушке, что в его «восемь тысяч» я охотно верю и что если переводить офицеров так, как их сейчас переводят, – по одному

офицеру в год, – то это восемь тысяч лет, а если переводить по одному в день – то это двадцать лет... Расстались мы холодно. Шлёпнув дверь... Конечно, лучше иметь в стране не двадцать лодок, а двести, а ещё лучше – две тысячи. И чтоб они плавали, плавали, плавали в мировом океане, как клецки в бульоне. И ничего, что они по старости еле ходят. И ничего, что они режут на весь белый свет, как раненые; их у нас столько... и мы как выйдем все, как заревём! – и америкосы оглохнут; уши у них отвалятся, у америкосов... обомлеют они... и в этом акустическом бардаке нас никто не отыщет, а мы подберёмся к ним да как ахнем в нужный момент – и снесём всё до Скалистых гор...

А кстати, а чего это они у нас режут как раненые, эти наши лодки? – А они не могут не реветь! Должны реветь, кстати потому, что их раненые делали.

У нас все раненые. У нас же нормальных нет. И различаемся только степенью ранения: легкораненые и тяжело-... Чем выше, тем тяжелее...

И боятся нас только потому, что мы раненые. Сильны мы своей раненой непредсказуемостью. Непосредственностью своей. Походкой пьяного исполина...

А чтоб это подводное дерьмо ещё и плавало, в нём ещё и подводник внутри должен сидеть. А чем дольше он сидит, тем лучше. Так приковать его там на десять календарных лет – и пусть сидит.

И сидим... И мы же это дерьмо спасать будем голыми руками, когда оно тонуть начнет. Единственный флот, который спасает дерьмо...

Заканчивая этот этюд о дерьме, я бы вернулся к дерьму изначальному – начальнику отдела кадров. Эта тыловая, деревянная жаба перед моим его покиданием объяснила мне, что для того чтобы перевестись с флота, нужно иметь как минимум десять подводных календарных лет («а у вас только восемь с копейками»). Только после этого с тобой как-то разговаривают. Только после этого ты подаёшь рапорт по команде о включении тебя в списки для перемещения. Приказ о включении в списки появляется на свет только раз в год, в декабре, а это значит, что ты служишь уже одиннадцать лет, но можно в первый же год подачи рапорта по разным причинам (улыбнулся, гад) не попасть в приказ – значит, уже двенадцать лет... и потом ты здоров, а это не основание для перевода; вот если ты болен, тогда... тогда существует специальный перечень болезней, например болезнь мозга, но чтоб получить подтверждение на такую болезнь, нужно взять пункцию спинного мозга («а это не просто, больно это») в клинических условиях города Североморска. Да, кстати, а вы знаете, что офицер место службы не выбирает и по переводу вас могут засандалить в Магадан?...

Мне захотелось его удавить, но я ещё не спросил его об академии.

В академию? Можно и в академию. Но на этот год вы уже пролетели, а на следующий придёте в следующем году. Вот так!

Я посмотрел на его горло и вспомнил, что я ещё не поинтересовался про адъюнктуру. Я поинтересовался.

В адъюнктуру? Редко, но бывает. Так что не стоит обольщаться.

В общем, я сказал: «Живи, жаба», – и шлёпнул дверь...

Три года я переводился с Северного флота. Я пытался уйти в академию, в адъюнктуру, в командиры роты и в учёные; я звонил и бегал, проходил медкомиссии и подписывал характеристики; я отправлял свои личные дела и

встречал их; я переделывал представления, я печатал списки родственников, я звонил и уточнял их девичьи фамилии...

А ушёл я в Северодвинск вместе с кораблем. На вечное захоронение. В Северодвинске явился в политотдел, когда наступила осень и сквозь вскрытый лодочный корпус стало прохладно жить, и спросил:

– Где мой угол, в котором буду я и моя семья?

К этому времени биологическое чудо свершилось: я женился. Год мы мыкались, а потом в нашем Клондайк-Сити мне дали квартиру: построена суровыми руками рудокопа-шлаковщика-воина-строителя – по стенам течёт, батареи перемерзают и взрываются, как бутылки на морозе.

Но всё же это была квартира. Хоть плохенькая, но своя. Конура конурой, постоянно согретая батареей в одно женское тело.

– Ну и где же мое жильё? – спросил я у зам начальника этого полит-пардон-отдела бригады кораблей.

– Видите ли, – начал этот полномочный представитель нашего светлого будущего на земле и в воздухе, – жилфонд нашей бригады рассчитан на пять, ну на семь, максимум – на десять экипажей, а вас тут – двадцать четыре, и потом... – и потом, – сказал он мне, – сдайте сначала там квартиру, и тогда мы начнем с вами разговаривать.

Я поехал и сдал, приехал и стал с ними разговаривать. Говорили мы год, но так и не договорились, и квартиру мне не дали; мне даже справку не дали о том, что не дали квартиру.

В последней беседе этот первый полномочный у корыта даже заявил:

– Слушайте, ну, в конце-то концов, мужчина вы или нет! Что вы всё время ходите: «Хочу жену, хочу жену»? Зачем вам в Северодвинске жена? Кто сюда свою жену привозит? Ну кто? Не страдайте вы. Выйдите на улицу. У нас так все делают...

Действительно, что может быть проще: выйди ты на улицу... А на улице прямо на столбе висело объявление: «Сдаётся комната одинокому молодому человеку», – и кое-что от этого объявления было уже оторвано.

Семьсот офицеров и мичманов, холостых постоянно и временно, сходило вечером с кораблей нашей бригады, и город впитывал их, как губка. Ни один не валялся под забором; все где-то тихо лежали и не на открытом воздухе...

Но наступило эпохальное время. Наступило время эпохального 27-го съезда, и в это время я оказался в отпуске. И, находясь в отпуске в столь историческое время, я вдруг вспомнил (просто озарение какое-то), что лучше всех на этой земле обетованной живут склочники. Я пошёл и голосом своей мамы подал телеграмму съезду. Я не стал его поздравлять, я просто спросил у форума коммунистов: почему мой сын до сих пор не переведен никуда, в чём его вина, и, если вина есть, то почему на подводных лодках служат только виноватые.

И форум коммунистов ответил маме, что её сын – этот редкий природный экземпляр подводника, этот бутон благоуханный военно-морской, – скоро будет переведен в город-герой Ленинград, где постоянно оседают все герои.

– Начним! А у вас есть справка о жилье в Ленинграде?

Так теперь в строю с удручающей периодичностью обращался ко мне мой старпом.

И я ему, с той же периодичностью, очень терпеливо и толково объяснял,

что я дитя своего времени, что у меня мое только то, что на мне и с собой, и что ни один город Советского Союза, а тем более такая колыбель, как Ленинград, не может похвастаться тем, что я его почетный гражданин.

– А-а... – говорил старпом и отходил.

К тому времени все были уже извещены, что я редкая сволочь, «писатель», и что пишу я во все концы, а особенно обожаю периоды съездов, и что я перевожусь, видимо, и, видимо, навсегда. И я опять строчил на себя характеристики, представления, вставлял в них, как я отношусь к пьянству, к политике партии, как я изучаю последнее текущее наследие, как я провожу их в жизнь; потом я бежал и отправлял всё это, потом оно возвращалось и снова уходило, и снова я носился с ним, носился, носился...

– Начхим! – говорил старпом время от времени. – А справку о прописке в Ленинграде ты уже достал?

Прописка – основное деловое качество офицера, его кошмар и надежда, его пробковый пояс, его бревно, его соломинка... есть у тебя прописка – и ты человек; нет? – извини...

В двадцатый раз я не выдержал и прямо в строю диалектически переложил учение Дарвина о происхождении птичьих видов с английского сразу же на монголо-татарский; я переложил его несколько раз, и каждый раз был по-своему интересен, поскольку сопровождал я его рядом оригинальных манипуляций и артикуляций.

Наступила тишина. Строй слушал как замороженный. Затем раздался голос старпома:

– Ну, а орать-то зачем? Что, уже и спросить нельзя?

Потом начался хохот, и хохотали все: и офицеры, и мичманы, и матросы – весь мой экипаж. Ну, и я в том числе. После этого стало легче, и я поверил, что я действительно ухожу...

Приказ был в июле. Выписка из него шла от Москвы до Северодвинска три месяца, что на десять суток длиннее знаменитого путешествия вокруг света во времена Жюль Верна...

– Капитан третьего ранга Михайлов!

– Я!

– Выйти из строя!

– Есть!

– Внимание, товарищи! Сегодня от нас уходит капитан третьего ранга Михайлов. Наш начальник химической службы. Он прослужил на лодках более десяти лет. У него двенадцать автономок...

«От нас уходит» – как о покойнике. А впрочем, верно, ушёл – что умер.

– ...А теперь... по традиции... он с нами попрощается...

Я обходил строй, жал руки и улыбался. Меня обнимали, пихали в плечо и говорили: «Держись, Саня...» – и я держался...

А дальше?

А дальше – Ленинград, проспекты-светофоры, и на службу на автобусе, и двенадцать нарядов в год, и «с девяти до пяти», и два выходных в неделю, и по выходным – семья, семья, семья...